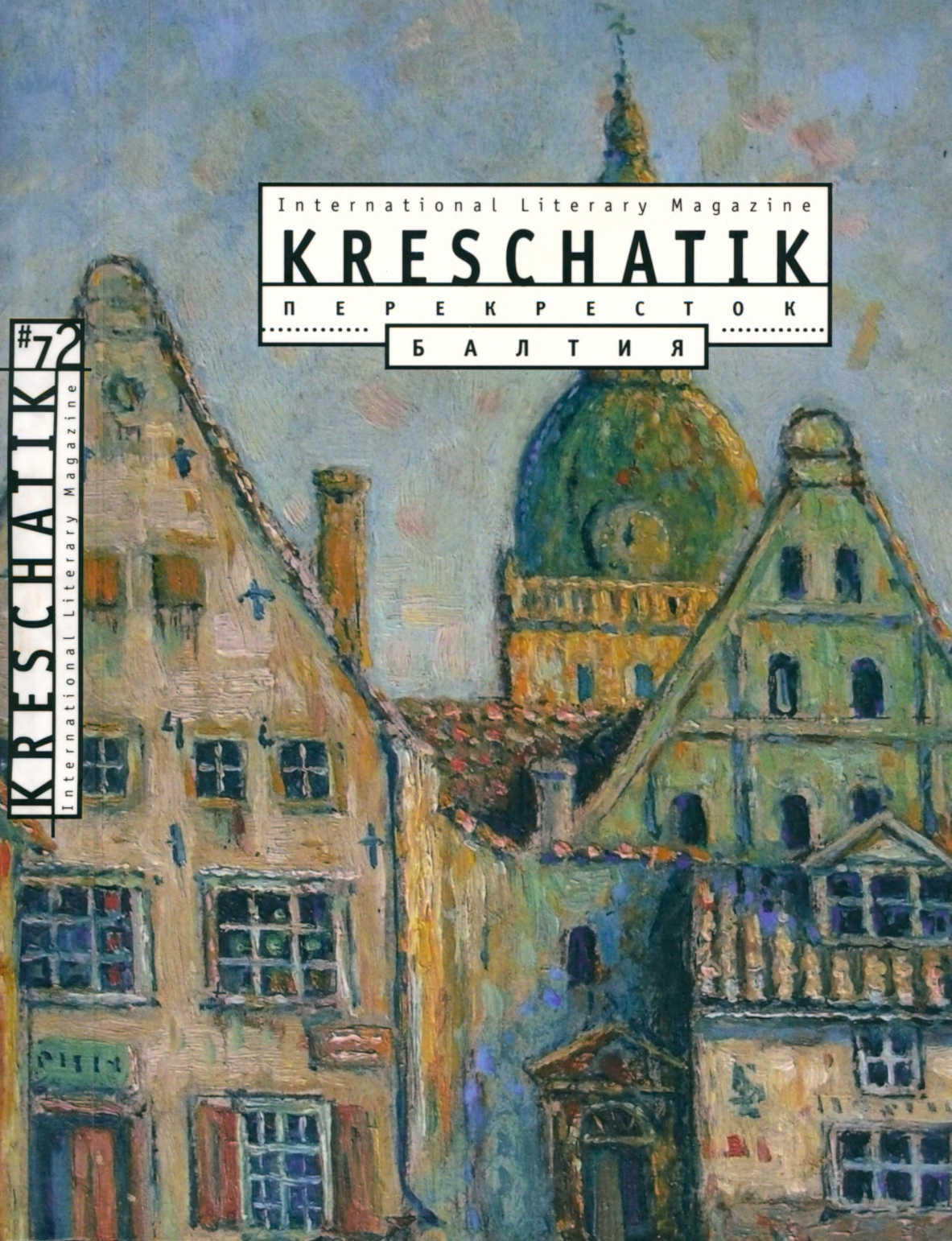


International Literary Magazine

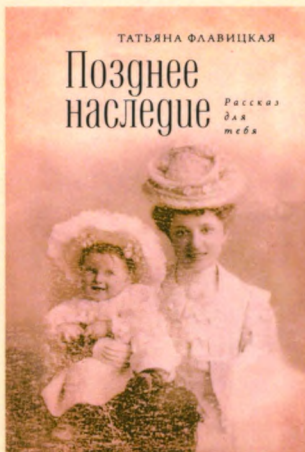
KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

Б А Л Т И Я



В издательстве
«Алетейя» вышли
в свет книги:



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва),

Виталий Амурский (Париж),

Борис Херсонский (Одесса),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Владимир Алейников (Коктебель),

Вальдемар Вебер (Аугсбург),

Сергей Шаталов (Донецк),

Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник

Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания девятнадцатый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16

34497 Korbach, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2016 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Людмила Азарова-Вацiete	«Чары латышских названий...»	5
Виталий Асовский / Вильнюс /	«Дует ветер безумия...»	31
Юрий Касянич / Рига /	Звук тишины	38
Ева Ахтаева / Вильнюс /	Не отыскать родней	52
Милена Макарова / Рига /	«Жизнь уходит на дно...»	56
Анна Тураносова / Висагинас /	«Мы всё о мертвых плачем...»	66
Николай Гуданец / Рига /	Баллада о воде	71
Юрий Кобрин / Вильнюс /	Из цикла «Ангел в сирени»	82
Николай Романенко / Рига /	Римские письма	88
Фаина Осина / Даугавпилс /	Метрика мысли	99
Евгения Ошуркова / Рига /	Post scriptum	110
Илана Эссе / Вильнюс /	«Уедем далеко...»	123
Александра Бандурина / Рига /	Солнечный ветер	127
Михаил Москаленко / Инчукалнс /	В дух и прах	136
Сергей Пичугин / Рига /	Апостолы	139
Ирина Мастерман / Вильнюс /	К Плутарху	156
Георгий Георгиевский / Йыхви /	Русские псалмы	161
Сергей Смирнов / Вильнюс /	Циклон	171
Евгений Голубев / Даугавпилс /	«Что отболело — всё в костёр...»	175
Елена Шеремет / Вильнюс /	«Ревность. Тоска. Одиночество...»	185
Владимир Соляр / Даугавпилс /	Вялотекущий Армагеддон	187
Наталья Бельская / Рига /	«Предвещающая близость ливня...»	207
Василий Сазонов / Таллин /	«Как голос встречи и разлуки...»	211
Михаил Гофайзен / Таллин /	Родом из прошлого	237
Юрий Строганов / Вильнюс /	Про динозавров	241
Алексей Соловьёв / Даугавпилс /	Парковый фонтан	255
Людмила Семёнова / Таллин /	Молчание стены	260
Эльвира Поздня / Вильнюс /	Вильнюс	275
Александр Блытушкин / Клайпеда /	Кресты	280
Владлен Дозорцев / Рига /	Ритм	293
Ирина Зиновчик / Рига /	Когда...	302
Галина Орлова / Вильнюс /	Осень	306
Геннадий Верещагин / Парну /	«Раскинулось небо бесстыдно...»	309

Проза

Сергей Воробьёв / Рига /	Боб & Кэтти	13
Инара Озерская / Рига /	Забытый язык	47
Маргарита Девятъярова / Вильнюс /	День длиной в год	61
Валентина Егорова / Вильнюс /	Ночь прозрения	76
Алексей Гречук / Вильнюс /	Онучи для немца	95
Сергей Евтухов / Вильнюс /	Зеленые яблоки	119
Николай Котов / Рига /	Шёпот	129
Юрий Лавриненко / Даугавпилс /	Желтый снег	142
Наталия Ломаченкова / Вильнюс /	Зачем ты пришёл?	168
Татьяна Надальяк / Рига /	Жили-были	178
Мария Розенблит / Таллин /	«Мальчишку жалко...»	191
Александр Урис / Нарва /	Персонажи	212

Переводы

Витаутас Брянциус / Клайпеда /		
Перевод с литовского В. Алейникова	Защитное слово ветрам. Стихи	221

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Борис Хазанов / Мюнхен /		
Владимир Порудоминский / Кёльн /	В сумерках будущего	225
О. Майер, В. Илляшевич / Таллин /	Русская литература Эстонии сегодня	246
Евгений Костин / Вильнюс /	«Не то чтоб я Тютчева так уж не любил...»	263
Владимир Илляшевич / Таллин /	24 апреля — 81 год	
	«весеннему балу полнолуния»	285
Татьяна Грауз / Москва /	Медленное чтение	311



Людмила АЗАРОВА-ВАЦИЕТЕ¹

/ 1935–2012 /

Русский поэт, переводчик латышской и французской литературы, журналист и редактор. Автор семи оригинальных и десяти переводных поэтических сборников. Кавалер ордена Трех Звезд (1995). Почетный член Академии наук Латвийской республики (1998). Жена латышского поэта — Народного поэта Латвии Ояра Вацietиса (1933–1983).

* * *

Чары латышских названий.
Чудо серебряных слов.
Словно фрагмент заклинаний,
с памяти снятый засов.
Иноязычная сладость.
Вязь звукового герба.
Вымолвить: *Сабиле, Салдус* —
сахар и соль на губах.

Вправду ли жили счастливей
языкотворцы тех мест
в *Селии, Силаве, Спилве*?
так же был тяжек их крест.

Но посещала удача,
изобретали слова.
Божия искра в придачу
и тиражами — молва.

Тяжесть начального слова —
чернь на седом серебре.

¹ Стихи к публикации подготовил Юрий Касянич.

А окончанье не строго —
свист снегиря на заре.

Как старина написала,
мы повторяем — и пусть:
Сигулда, Смилтене, Сала,
словно стихи наизусть.

* * *

Жизнь в краю подзола и песка —
на запястье тоненькая вена.
Сумрачно, серебряно, смиренно
северное солнце у виска.

Не грущу, судьба, благодарю,
будь твоя благословенна скупость,
мне ли скудость принимать насупясь,
ни сгорю, ни душу затворю.

Только голос рвется. И рука —
в волосы и спутывает паклю.
Не глотком, не пригоршней — по капле
мед и яд родного языка.

ГАНЗА. БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Но выдохлись и воск и сера,
давно забылись времена,
где трубадурам и труверам
служили слово и струна.

Где шут гороховый с предместья
и деревенский скоморох
дудели врозь, играли вместе,
и шуток сыпался горох.

Ах, эти песни — мед и зелье,
и риск не свидеться в раю.
И грусть и дерзость. И веселье
у самой бездны на краю.

Где гистрионы и ваганты
восторги сеяли и страх.

Ушли безвестные таланты
в своих дырявых башмаках...

О, сколько выцвело закатов
и сколько разыгралось драм.
Да мало ль шлялось музыкантов
по всем ганзейским городам!

Но я не верю, что бесследно
исчезли с рижских мостовых
и бесшабашность денег медных,
и безрассудство струн живых.

Пора разгадывать загадки,
торопит время и велит —
все, что осталось в древней кладке
и что впечаталось в гранит,

и что вместилось в нашу память,
и что в прапамяти звучит.
Лишь тайный ритм — в крови и камне,
в душе и совести — стучит.

ТЫКВА

Не пора ли раздувать огонь,
помолчать — и брови к переносью.
Тыквенное семечко в ладонь,
Словно письмоце, вложила осень.

Любопытство мучает меня —
может, тайна жизни или смерти,
может, знак воды или огня,
в легком запечатанном конверте.

С той поры и поневоле я —
письмоносец, понятый превратно,
что в небытие из бытия
отправляет письма — и обратно.

Дотерпеть, дожить, разжать ладонь,
защитить от хвори и от хмури,
заклинать землю и водой...
Не поверить и глаза зажмурить:

Снова потешает огород
тыква, кваква, желтая толстуха,
доброе чудовище. И рот
у нее от уха и до уха.

Тыква — колдовское существо.
На прощанье на исходе лета —
чернокнижье, буйство, озорство
бедной почвы и скупого света.

* * *

Окраина тихо шуршит, как забытый кофейник.
Бочком, как щеглиха, гляжу на осот и на вейник.
Поверив приметам, во тьму уползают корни.
Прощание с летом — пора обостренного зренья.

В свободное время — ах, что мне иная забота —
репейное семя и терпкие ядра осота
ищу, примечаю и на зиму впрок оставляю,
и к зимнему чаю ручей городской утепляю.

А если крылатый пожалует с севера странник,
вот всё, чем богаты — гречиха, перловник и манник.
О лихо, мне, лихо, повинной паду головою,
ведь птичью гречиху бранила я сорной травой.

Стучится к нам в сени синица, как вестник осенний.
Пора опасений, пора пересмотренных мнений.
Отныне занает душа в постоянной тревоге
за птиц, что со мною зимуют, и тех, кто в дороге.

В резном оперенье мой сон городскими ночами.
Печально прозренье. И поздно. И только печали —
крапива крапивнику, чтобы росла на полянке,
рябина рябиннику и конопля коноплянке.

* * *

В дождь — и с непокрытой головой,
босиком — и в сумрачную лужу.
Только прутья клетки дождевой
отогнуть и вырваться наружу.

Что дождю — смывать и умыть,
щекотать в траве щенячье ухо.

Не спеши в слова заколдовать,
что невнятно до поры и глухо.

Обернется злом — не мудрено,
отольется — и сама не рада,
не спеши виниться, все равно
ложь правдоподобнее, чем правда.

Стерпим, перемелем, переждем.
А пока до дрожи непривычна
жизнь струи, свобода под дождем,
светлая, лягушечья и птичья.

В туче отворяется окно,
меркнет почва в ожиданье чуда,
в воду превращается вино,
и освобождается посуда,

и пустые бочки в небесах
катятся, трещат и громяхают.
А в глазах домов волшебный страх,
как ребячьи слезы, высыхает.

* * *

От слов, колес и лиц осатанев
и на тебя обидевшись навеки,
сбегу и нору вырою себе
и брошу притворяться человеком.

Пройдут дожди.
Стекут под землю дни.
Моя былая нежность темным зверем
придет к тебе, не чуя западни,
тихонько поцарапавшись у двери.

* * *

Ручей зеленого вина,
над ним травы девичья дикость,
изысканные имена —
валериана, вероника.

И простотой поражена
я от волнения бледнею,

люблю линнею, ведь она
была избранницей Линнея.

Исток тех драм, вздохнете вы,
забыт, как страсти по Матфею,
что ж, Тимофея в честь травы,
или траву в честь Тимофея?

Бродить лугами просто так,
в гербарий — альфа и омега,
найти растение пастернак.
И задохнуться, как от бега.

* * *

Там, где шла над водою,
над бедой без опаски,
кто-то жесткой ладонью
стер мгновенно все краски.

Это было. И с нами.
Облака с островами.
Острова с облаками —
на замок и под камень.

Столько жриц и весталок,
что откуда берется.
Но мне знать не пристало,
чем мой день обернется —

пусть суровой холстиной,
пусть шагреновой кожей,
пусть свиною щетиной —
принимаю. Но боже!

Но как больно и остро.
Но как страшно и просто.
Мой таинственный остров,
мой единственный образ...

У огня, но морозно.
Слово тверже железа.
О, как прямо и грозно
в душу глянула бездна.

* * *

Поэзия. Тетрадь.
Как труд в каменоломне.
Не станем уверять,
что ничего не помним.

Да не утратим стыд.
Не притупим печали.
Не будем делать вид,
что ничего не знали.

Пройдем за пядью пядь —
и все, что было с нами,
попробуем назвать
своими именами.

Не вздумаем вещать,
почесывая темя.
Не станем упрощать
судьбу свою и время.

Все видно с той горы.
Чтоб были те, кто живы,
и только-то — добры,
всего-то — справедливы.

* * *

И в памяти берег возник,
когда я, не ведая броду,
входила в латышский язык
на ощупь, робея, как в воду,
в осенний ледок босиком.
Потом за латышскою речью,
как в сказке, пошла за клубком
в легенды, в глаза человечьи,
в озера, в березы... В конце...
Конец получился веселый —
вдруг сильный латышский акцент
возник на губах, как бесенок,
и принялся звуки стеречь,
друзьям и врагам на забаву
славянскую терпкую речь
в латышскую править оправу.

Курьез ли, всерьез — не беда,
я вновь говорю без опаски,
сказали мне гласные: да!
Согласные были согласны...

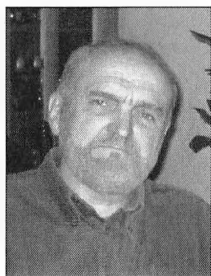
* * *

И оттого не рухнул мир пока —
мир держится, мой друг, на честном слове.
Мудры не все пословицы. Рука
по локоть тонет в зернах. И в полове.

Слюною птичьей намертво скреплен,
мир связан хрупкою нетленной глиной,
с землею взглядом связан небосклон,
и судьбы сшиты тонкою травинкой.

Всего лишь память — смертная игла.
Не клятва жизнью, не расписка кровью.
Мир оттого не тлен и не зола,
что вопреки дурацкому присловью

читаю — и теперь как никогда
в прищуре глаз и в незаметном жесте —
все держится на честном слове? Да!
Все держится на слове. И на чести.



Сергей ВОРОБЬЁВ

/ Рига /

Воробьёв Сергей Павлович, родился в Ленинграде в 1947 году. Литературной работой стал заниматься с 2000 года. Выпустил семь авторских книг, одна из которых «Форс-мажорные обстоятельства» вошла в шорт-лист Бунинской премии за 2012 год. Публиковался в журналах и периодических изданиях Санкт-Петербурга и Риги. Награждён дипломом литературно-общественной премии с вручением ордена «В.В. Маяковский», а также медалью Московской городской организации Союза писателей РФ. Сопредседатель литературного общества «Светоч». Состоит в Союзе писателей России. Живёт в Риге.

БОБ & КЭТТИ

В начале семидесятых частенько заходили мы в Абердин — шотландский порт на берегу Северного моря. После месяца шатаний по зыбучим водам Атлантики город этот давал нам недолгий приют, где можно было посидеть в припортовом пабе с большой тиснёной кружкой «Гиннеса», эля или тёмного пива «Спешл». А потом походить по магазинам, отovarить свои небольшие деньги, купив себе или своим близким какую-нибудь заграничную вещичку.

Эта, на первый взгляд, незначительная история в упомянутом мной городе, которую я хочу здесь поведать, вряд ли произошла бы, окажись в нашем экипаже первый помощник капитана, он же — помполит. Должность помполита входила в штатные расписания всех советских судов с визированными командами численностью двадцать и более человек. Наш небольшой научный пароход, бывший рыболовный траулер водоизмещением всего-то 450 тонн, слава Богу, не входил в эту категорию, и мы были избавлены от докучливой политической опеки, из-за которой каждый твой шаг оценивался с точки зрения морального кодекса строителя коммунизма. Обязанности помполита нёс парторг нашего судна — старший гидролог Никанорыч, но он слыл своим человеком — сора из избы не выносил.

Боб, зачисленный в штат нашего судна вторым коком, совершал свой первый в жизни рейс. Ещё до захода в Абердин он показал себя с лучшей стороны — быстро привык к качке, готовил при любом крене, причём, готовил добротно и вкусно, всегда вовремя подавал на столы и даже в штормовую погоду умудрялся варить первые блюда. А это не всегда под силу и опытным поварам. Для этого нужно отмерить строго определённое количество воды, зафиксировать кастрюлю на плите специальными бортиками и вовремя прижимать крышку, когда судно резко подкидывало на волне. Иначе супец в один момент может выплеснуться на палубу или, того хуже, ошпарить стряпающего.

Боб оказался самым молодым членом экипажа. Перед рейсом он получил повестку в военкомат, но неожиданный выход в море временно спас его от неминуемой службы. Его предстоящий рейс был всего-навсего трёхмесячной отсрочкой. Он прекрасно понимал, что отсрочка эта — подарок судьбы, возможность посмотреть мир. А мир, как говаривал наш парторг Никанорыч, — это открытая книга, пролистать которую дано не каждому. И Боб переворачивал только первую её страницу.

Все отметили в нём человека лёгкого, я бы даже сказал, весёлого нрава. В руках у нашего нового кока всё спорилось. Камбуз освоил быстро. Уголь для топки плиты с картошкой не путал. Технологию приготовления блюд знал назубок. Не зря с отличием закончил поварское отделение ШМО¹. Был он художав, но скроен ладно. Рост имел средний. Голова ровная, коротко подстриженная, глаза несколько округлой формы и в то же время ироничные, нос прямой, не выделяющийся, губы пухлые и над ними — чёрные, редкие кадетские усики.

В экипаже его приняли, а старпом по-отечески благоволил к нему: часто хвалил за вкусную еду, подбадривал в трудных ситуациях, любил поговорить с ним «за жизнь». Старпом был уже в годах. По отношению к молодым членам экипажа нередко обращался «сын-нок», а к Бобу так и подавно.

— Сын-нок, — говаривал он, придя на обед, — чего ты нам сварганил сегодня?

— Суп «рататуй» и макароны по-скотски, — отвечал Боб гормональным баритоном, — а на третье, как всегда, компот из сухофруктов с бромом.

Боб быстро перенял морские фразеологизмы и к месту ими пользовался.

— Палец в рот ему не клади, — радовался старпом, — первый раз в море, а будто сто лет уже «мариманит». Молодец!

¹ Школа морского обучения

Боб жил в самой привилегированной каюте рядового состава — каюте мотористов. Она располагалась в кормовой части под главной надстройкой, где меньше всего качало, — своего рода эпицентр относительной стабильности, вокруг которого происходили мотания в пространстве всех других частей нашего валкового судна. Эта четырёхместная каюта в условиях очень ограниченно-го судового пространства считалась роскошью, поскольку даже некоторые представители из научного отряда жили в носовом шестиместном кубрике. Роскошь состояла ещё и в том, что до места работы — рукой подать. С горшка на работу, как любил говаривать наш «дед».

Единственным недостатком являлась повышенная шумность. Шумность исходила от машинного отделения, находящегося сразу за железной переборкой, где постоянно крутились на полных оборотах два дизеля: главный, приводящий в движение гребной винт, и вспомогательный — для динамо. Один из двухъярусных коечных блоков мотористов как раз прилегал к машинному отделению. А тонкая металлическая перегородка, разделявшая эти смежные помещения, представляла своего рода мембрану, усиливающую грохот дизелей. Спать рядом с этой перегородкой равносильно тому, как если бы по ней, как по наковальне, постоянно и одновременно стучали кувалдой и молотком. Кувалда — это главный двигатель, молоток — вспомогательный. Мне и Бобу (ему уступили место, считавшееся «привилегией» первого рейса) как раз и довелось коротать часы ночного отдыха рядом с этой наковальней. Времена относительного спокойствия наступали лишь в периоды заходов в порты. Тогда отключалась кувалда, и оставался только молоток.

Со временем мы, конечно, привыкли к этой стукотне. А лично я привык настолько, что первые дни на берегу в тишине просто не мог заснуть, и непродолжительный сон накатывал только тогда, когда под окнами проходил тяжёлый МАЗ².

В столицу графства Эбердин мы вошли на полной воде. По-другому в порт войти невозможно, поскольку приливно-отливная зона в тех местах достигает нескольких метров. В дельте реки Ди были устроены специальные доки, отделённые от Северного моря шлюзами, по верхней кромке которых проходили арочные переходные мосты. Наш пароход встал в большом закрытом доке, отделанном по краям серо-синим гранитом.

В город пошли втроём: старпом, Боб и я. Принципа группового увольнения на берег, несмотря на все наши вольности, капитан отменить не мог. Послаблением было только одно — группы подби-

² МАЗ — тяжёлый пятитонный грузовик Московского Автомобильного завода с очень шумным выхлопом.

рались сами, кто с кем хотел, а не принудительно, как требовала партийная инструкция, что для тех времён считалось большой вольностью.

Первым делом мы зашли в портовую таверну «Нью Инн». Там за столиками уже сидела половина нашего экипажа, потягивая из высоких стеклянных кружек эль или ирландский «Гиннес».

У молодой улыбчивой официантки, подошедшей к нам без заминки, мы тоже заказали «Гиннес».

Через пять минут на специальных картонных кружочках появились три кружки из толстого стекла с очень тёмным содержимым. Жареный ячмень, из которого готовят это пиво, делает его почти чёрным, а обязательная густая шапка желтовато-бурой пены создаёт очень respectable контраст с основным продуктом потребления. Тёмный тягучий напиток можно было и пить, и есть одновременно, настолько он был густым и насыщенным.

— Да-а, такого пивка у нас не попьёшь, — слизывая с пухлых славянских губ сугубо шотландскую пену, проговорил довольный и улыбающийся Боб.

— Пиво отменное, — подтвердил я, — но зато у них космических кораблей нет.

— И воблы, — добавил старпом.

— Это точно, — подтвердили с соседнего столика. — А я всё думаю, чего не хватает? — Воблы!

— Воблу будешь дома есть с «Жигулёвским», — наставительно заметил старпом, — а здесь жуй солёный арахис с «Гиннесом». Как, сынок, — повернулся он к Бобу, — нравится здешняя капиталистическая жизнь?

— Скучно здесь, по-моему, — отозвался Боб, — как-то всё очень

размеренно, морду уж точно никто не набьёт.

— Это точно, — прозвучал тот же голос из параллельной компании, — и девки у них никакие — тонкие да мелкие. Не женился бы ни на одной. Вот только «Гиннес» у них и хорош, а остальное так — лабуда.

После таверны мы направились в город. Боб и я решили расширить свой гардероб — купить себе если не шотландскую юбку, которую здесь называют «килт», то хотя бы приличные штаны из синтетической ткани и свитер из местной овцы. Мы остановились у витрины небольшого магазина, в которой были вывешены, наверное, все продаваемые вещи. К каждой вещи прицеплен ценник с ценами в гинеях. Мы долго не могли перевести их на фунты, пока за спиной не услышали голос:

— Гиней есть немножко дороже фунта, но здесь можно торговаться.

Мы повернулись и увидели девушку совсем небольшого роста, с приятным и в то же время совершенно обыкновенным лицом. Короткие волосы, гладко расчёсанные на две половины, только-только прикрывали уши. На ней было, застёгнутое на все пуговики, коротенькое пальтишко тёмно-серого, почти чёрного, цвета. Её миндалевидные глаза, по-детски удивленные, внимательно разглядывали нашего молодого кока.

— Сынок, к тебе обращаются, — подсказал старпом.

— А Вы кто? — неожиданно спросил Боб.

— Я Кэтти, — ответила девушка, — живу в этом городе, русский учу давно. Вы из России? Моряки? Я вам могу чем-то помочь?

— Катя?! — удивился Боб, — да ещё в Абердине! Это здорово! Конечно, мы русские моряки, и нам нужна помощь. Мы ничего не петрим в ваших ценах.

— Петрим? — переспросила Кэтти.

— Ну, да! Не понимаем, дорого это или наоборот. Помогите нам, Катя.

— А как вас зовут?

— Меня — Боб. Это — Палыч, — указал он на меня, — а это наш старпом Валентин Сидорыч.

— Я так и думала...

— Что думала? — не понял наш молодой кок.

— Что тебя зовут Боб. А это твой отец? — кивнула она на старпома.

— Почему отец? — зычно захохотал названный сын.

— Это потому, что тебя «сынком» обозвал, — догадался старпом.

Мы все засмеялись.

— Ну, сынок, похоже, приглянулся ты этой англичанке. Глаз с тебя не сводит.

— Да и Боб, гляди, зацвёл, — сказал я на ухо старпому.

Боб с подачи Кэтти приобрёл себе плотный, рябой шотландский свитер, а я белые териленовые штаны, которые, как уверяла хозяйка магазина, никогда не мнутся. Она с остервенением мяла их в руках, но они всё равно принимали безупречную гладкую структуру.

— Штаны явно не для нашего климата, — сделал заключение старпом, — а в Рио-де-Жанейро у нас заходы не планируются.

— Зато практические, и летом хорошо, — заметила наша новая знакомая.

— Практичные, — поправил её Боб.

— Я русский знаю не идеально, — смутилась Кэтти.

— Нет-нет, — запротестовал наш повар, — что Вы! Если бы я знал так английский... Вы же говорите почти без акцента.

Мы всей компанией пошли по узкой, идущей вверх улице, и маленькая Кэтти стала объяснять нам то, о чём мы даже не догадывались:

— Английский язык в Шотландии вам не поможет, хотя он официальный. Здесь говорят на шотландском. Это такая разновидность английского, с добавкой древнего кельтского. А ещё севернее говорят на гаэльском — языке кельтских шотландцев. И вообще вы неправильно произносите слово Шотландия. Истинный шотландец может обидеться. Никогда не говорите Шотлэнд. Это означает — земля низкорослых людей. Правильно будет Скотлэнд — Скотландия. Земля скоттов. Они пришли сюда из Ирландии ещё в пятом веке. Это очень воинственные и упрямые люди. Мы унаследовали их черты. Не хотим чужого влияния, даже английского. У нас и фунт свой, и флаг, и церковь, и одежда, и кухня...

— Кухня? — оживился Боб, — это по моей части.

— Ты кук?!

— Нет, я боб, — пошутил Боб. — Но мне интересно, что в вашей кухне особенного?

— Шотландцы любят баранину и пареную репу.

— А чего тут особенного? Проще пареной репы ничего не бывает.

— А я всё-таки советую попробовать наш «хаггис». Это блюдо из бараньих потрохов с большим количеством овощей. Очень вкусно.

— И запивать его надо обязательно пивом, — добавил я, — тогда будешь толстый и красивый.

— Этого я не говорила, — заметила Кэтти, рассмеявшись.

— А чай с молоком тоже шотландское изобретение? — поинтересовался Боб.

— Это придумали ленивые англичане. Они добавляют в чай молоко не из-за вкуса, а по другой причине.

— Интересно, интересно! Что же это за причина?

— Причина очень банальная. Чай с молоком не пачкает кружку, поэтому её проще и легче потом мыть.

— Гениально! — восхитился Боб.

Кэтти неотвязно шла за нами, вернее, рядом, и рядом именно с Бобом. Они как бы привыкали друг к другу, изредка касаясь плечами, и так же изредка поглядывая друг на друга.

— Если пойти по этой улице, — маленькая шотландка показала рукой вправо, — можно выйти к университету оф Абердин — Абердинский университет. Он очень знаменитый. Построен ещё в пятнадцатом веке. В нём почётными ректорами были Черчилль и Карнеги.

— Черчилля мы знаем, — проявил эрудицию Боб, — Карнеги не знаем.

— Карнеги — известный миллионер-филантроп. Но я знаю, вы не очень любите миллионеров.

— Это точно, — подтвердил наш молодой эрудит. — А за что их любить?

— Любить надо всех людей, — глубокомысленно ответила Кэти, — и, главное, жалеть.

По радиусной улице, поднимавшейся плавно вверх, мы вышли в район старого Абердина, где нас встретила сплошная гранитная готика. Длинному зданию университета, казалось, не было конца.

— Университет принимает каждый год около тысячи студентов из разных стран, — стал объяснять наш добровольный гид, — но русских здесь точно нет. Я тоже учусь в университете. Моя специальность молекулярная биология.

— Это что-то очень сложное? — предположил Боб.

— Зато очень интересное.

— Здесь всё интересно, — согласился Боб, — и уже не так скучно, как показалось вначале.

— Вам очень повезло, что вы зашли именно в Абердин. Это очень старый и красивый город. Называют его гранитной столицей Шотландии. В своё время здесь была резиденция шотландских королей. Сейчас я их всех не помню.

— А почему «гранитная столица»? — поинтересовались мы.

— Рядом с городом есть гранитные карьеры. Из них берут гранит для постройки зданий. Все дворцы, церкви, университет и многие дома построены из этого гранита. Даже улицы им укладывали. В портовых районах можете это увидеть. Этот камень на солнце становится светло-синим.

В старом городе мы набрали на магазин забавных вещей и предметов для всякого рода проказ. Пожилой хозяин с удовольствием демонстрировал нам разные фокусы и подначки. Бобу приглянулась пластмассовая яичница-глазунья, по виду совершенно не отличавшаяся от только что приготовленной.

— Завтра же подложу её на завтрак Никанорычу, — обрадовался он, — то-то будет смеху. Он её солью посолит обязательно, перчиком поперчит и начнёт, бедолага, ножом резать. А она не режется... А желудочный-то сок выделяется, слюна течёт...

— Боб, ты настоящий садист, — заметил я незлобиво.

— Но согласишься, хохма отменная.

— Ты ему вместо пластмассовой яичницы, — предложил старпом, — купи лучше вот эту резиновую гадюку, свернувшуюся кольцом, и подложи в тарелку на завтрак. — Смешнее будет...

— Ну, тогда он меня точно убьёт, — заключил Боб.

Хозяин, заметив наш неподдельный интерес к его товару, открыл разноцветную коробочку и, с видом доброго волшебника, произнёс:

— Абсолютли нью гудс!

— Катя, что он сказал? — обратился Боб к нашей новой знакомой, стоящей рядом с ним.

— Он сказал, что это совершенно новый товар.

Продавец вытащил обычную матовую лампочку и с видом факира, расточающего чудеса, ввернул её в настольный светильник у старинного кассового аппарата. Лампа не загорелась.

— Что, он хочет всучить нам перегоревшую электрическую лампочку? — удивился я.

— На этом, видно, фокус не кончается, — предположил Боб. — Катя, как ты думаешь, что за этим последует?

Кэтти недоумённо подняла тонкие брови и пожала плечами. Это вышло так наивно и по-детски, что Боб рассмеялся и тут же констатировал:

— Катя, мне кажется, что тебя очень легко разыграть.

Она кивнула головой, а тем временем продавец-факир выкрутил лампочку и с силой кинул её на пол. Наша молодая шотландка зажмурилась, но лампочка не разбилась.

— Ит из бэд балб, — произнёс он, поднял её с пола, и через какое-то мгновение лампочка загорелась у него в руках.

Нас это очень удивило. Мы зааплодировали. «Факир» был вне себя от восторга. Лицо Кэтти сияло от удовольствия.

— Олл сикрит ин зис ринг, — сообщил ещё не отошедший от успеха продавец. Он снял со своего мизинца маленькое металлическое колечко, протянул его Бобу и стал что-то долго объяснять.

— Катя, я ничего не понимаю, что он хочет?

— Я поняла так, что внутри лампочки спрятана батарейка, через кольцо идёт ток и зажигает внутри маленькую лампочку.

— Хочешь попробовать? — предложил Боб. — Давай руку, я одену колечко.

Кэтти выставила руку с растопыренными пальцами, и Боб под звуки туша, который мы все исполнили на губах, надел металлическое колечко на безымянный пальчик Кэтти. Продавец показал, куда нужно приложить это колечко на цоколе лампы, чтобы она загорелась. Кэтти была счастлива. У неё в руках горела электрическая лампочка, она подняла её над головой, и мы все ещё раз дружно и громко захлопали в ладоши.

— Катя, это тебе, — категорически заявил Боб и расплатился с довольным продавцом за яичницу и лампочку.

Мы вышли из старой части города, пересекли главную улицу Юнион-стрит, миновали большой магазин Марк энд Спенсер, и Кэтти повела нас в пригородную часть, где расположены парки и ботанические сады. Навстречу нам попался настоящий «скотт» в зелёном добротном пиджаке с замысловатой эмблемой на нагрудном кармане и небольшой меховой сумкой, перекинутой через плечо. Вместо ожидаемых брюк, на нём мерно покачивалась клетчатая шотландская юбка. Он шёл очень гордо и независимо, глядя далеко вперёд тем отстранённым холодным взглядом, каким обычно смотрят львы или тигры. Свой чеканный профиль шотландец в юбке пронёс мимо

нас так, будто он шёл по Великой Пустыне одиночества. Поскольку Кэтти почувствовала, что шотландец заинтересовал нас, она стала пояснять:

— Это очень дорогая одежда и одевается редко. Может быть, сегодня у него день рождения или другой праздник. Килт, или юбка делается из специальной ткани «тартана». Их тысячи видов. Цвет ткани, ширина и окраска клетки — всё неповторимо. Не изменяется только крой: тридцать две складки ровно по пять инчей в ширину.

— Инчей? — переспросил Боб.

— Да-да — ровно пять инчей.

— Дюймов, — пояснил старпом.

— Если растянуть её в длину, будет семь-восемь ярдов. Такая юбка может стоять около тысячи гиней.

— А зачем столько складок? — спросил я в полном недоумении.

— Килт должен быть тяжёлым. Если подует ветер с Северного моря, килт не должен задираться вверх или развеиваться, как флаг.

— Достоинство стоит денег, — сделал заключение старпом, — особенно, если забыл надеть трусы.

Боб не на шутку рассмеялся, стал приседать и хлопать себя по коленям:

— Представляю себе шотландца с поднятой от ветра юбкой!

— Это совершенно исключено, — совершенно серьёзно заметила Кэтти.

Она так органично вписалась в нашу группу, что мысленно мы уже считали её членом экипажа. Без неё наши знания об Абердине не простёрлись бы дальше магазина Си энд Эй или таверны Нью Инн, заходи мы сюда хоть сто раз.

Старинные готические соборы с прилегающими к ним такими же старинными кладбищами очень часто попадались на нашем пути. На этих кладбищах можно было наблюдать отдыхающих шотландцев обоего пола. Причём отдыхающих именно на каменных плитах старинных надгробий. Я обратил внимание на женщину, сидевшую, как в шезлонге. Она вытянула ноги, оперлась спиной на слегка покосившийся мрамор плиты надгробного памятника и, закрыв глаза, возможно, возносила молитвы к Всевышнему о похороненном здесь дальнем родственнике. Конечно, это оригинальный способ чтить отошедших в мир иной, но, возможно, местная пресвитерианская церковь допускает такое, и именно таким образом происходит общение с миром духов.

— Это собор четырнадцатого века Сент-Макар, — пояснила Кэтти, — один из самых известных. — А рядом капелла Королевского колледжа.

— Получается Святой Макар, — перевёл старпом. — Святых в школе мы не проходили. Я только святителя Николая и знаю — покровителя моряков и путешественников. И то благодаря бабке.

Мы вышли в район парков с коротко подстриженными газонами. Кэтти тут же объяснила, что по газонам можно ходить и даже лежать на них. После чего Боб зашёл на траву, лёг под колумбарий и пригласил нас со старпомом, чтобы Кэтти сфотографировала «всё это безобразие», — так он выразился.

— Ведь не поверят у нас в Союзе, что на траве в парке можно валяться. Точно? Не поверят! — восхищался и одновременно возмущался он. — А я им фотку в нос — бац! Нате, смотрите! Без вопросов. Всё честно, правдиво и, главное, — доказательно.

— Боб, а можно я тебя одного потом буду фотографировать? — спросила Кэтти.

— Ну, конечно, Катя, — отреагировал Боб, — тебе всё можно.

— А фото ты мне вышлешь?

— С этим будет заминка, — прокомментировал старпом, — у нас переписка с капиталистическими странами возбраняется. Письмо вряд ли дойдёт.

— Это плохо, — опечалилась Кэтти.

— Не грусти, Катя, — улыбнулся Боб, — время летит быстро, как-нибудь зайдём ещё раз в Абердин и я тебя разыщу.

— Правда? — с надеждой в голосе спросила наша абердинка.

— Вот только три года отслужу и опять приду на наше судно. Абердин у нас, считай, второй порт приписки. В летние месяцы только сюда и заходим.

— А первый порт?

— Первый — Ленинград.

— Я слышала — красивый город.

— Очень! Жаль нельзя тебе его показать.

Мы гуляли по паркам, по скверам, по пригородным районам с типичной для Шотландии застройкой для среднего класса, где каждый домик, представляющий как бы маленький замок, лепился вплотную к соседнему домику.

— Эти дома очень небольшие, — поясняла Кэтти, — но обязательно двухэтажные. Шотландцы могут спать только на втором этаже, там у нас обязательно спальня.

— О! — удивился Боб, — и я сплю на втором этаже. У нас койки друг над другом стоят: Палыч на первом, я на втором.

— Тогда считай, что ты уже шотландец, — пошутила Кэтти и чему-то грустно улыбнулась.

— А что, Боб, надень на тебя килт, вязанные гольфы с кисточками, — стал подтрунивать я, — дай в руки волынку — настоящий шотландец будешь.

— А и то верно, — согласился старпом, оценивающе поглядев на своего подопечного.

— Катя, ты согласна? — тоже шутливо спросил Боб.

— Я согласна, — покорно произнесла шотландская девушка.

— Боюсь только, — продолжил старпом, — если мы скинем всю свою валюту, которую здесь получили, на половину килта твоего не хватит.

— Я добавлю, — включилась в нашу импровизированную игру Кэтти.

Ближе к ужину мы «взяли курс» на порт. Близилось время расставания. Боб и Кэтти шли рядом и о чём-то беседовали.

— А не накормить ли нам проголодавшуюся шотландку ужином, — предложил Боб, — я думаю, она это заслужила.

— Очень своевременно, — заметил я. — А она согласна?

— Согласна, — ответил за неё Боб.

— Вопрос, согласится ли капитан, — добавил старпом мне на ухо, — представитель чужой страны на борту, да ещё женщина. Сам знаешь.

Когда капитану объяснили ситуацию, он вышел навстречу и, ступив на трап, подал руку маленькой шотландке.

— Welcome on our corsair's ship³.

— Она прекрасно говорит на русском и уже имеет своего рыцаря, — предупредил старпом.

— И кто же этот рыцарь?

— Боб.

— Достойная кандидатура.

В кают-компании, самом большом помещении на нашем судне, расположенном в закруглённой по радиусу корме — уже стояли накрытые столы. На ужин подавали суп-харчо и абердинские сосиски с картофельным пюре. А сразу после ужина нашей гостье предложили остаться и посмотреть вместе с экипажем художественный фильм «Юность Максима». Импровизированный зал находился в той же кают-компании.

Когда Боб провожал юную шотландку на причал, она молвила:

— Хорошая песня в том фильме: «Крутится-вертится шарф голубой». Так, кажется?

— Крутится-вертится над головой, — продолжил Боб.

— Крутится-вертится, хочет упасть, — уже пропела Кэтти.

— Кавалер барышню хочет украсть.

Чуть помедлив, она решительно произнесла:

— Боб, укради меня. Посади на свой белый корабль и увези куда-нибудь.

— А как же Шотландия, Абердин, университет?

— О Шотландии я буду вспоминать в своих снах.

— Жаль, что ты живёшь так далеко.

— Но у нас впереди ещё два дня? А это — целая вечность.

³ Добро пожаловать на наше пиратское судно (англ.).

— Всего один, — поправил Боб, — а это уже половина вечности.

— А ваш старпом говорил, что у вас три дня стоянки.

— Завтра я работаю на камбузе. Надо отпустить в город старшего кока. Мне и так поблажку дали — два дня увольнения в первом моём иностранном порту.

— Ты завтра работаешь куком? Тогда я приду тебе помогать. Сделаем какое-нибудь шотландское блюдо. Ты согласен?

— Я-то согласен. Разрешит ли капитан?

— Я его уговорю, — весело сказала Кэтти.

Она мимолётно коснулась пальцами щеки своего юного провожатого и быстро пошла, а потом почти побежала, стуча каблучками своих маленьких туфелек по сизому граниту приютившего нас дока. У арочного моста шлюза она обернулась, помахала рукой и крикнула в ночь:

— До завтра, Боб!

На следующий день Боб заступил на камбуз и, как было задумано, на завтрак жарил яичницу. Нашему гидрологу Никанорычу он готовил сюрприз — резиновый муляж. С Никанорычем у него сложились особые отношения: одновременно и дружеские и какие-то ёрнические. Подтрунивания и шутки входили в основной арсенал этих отношений. И Боб решил выкатить совершенно неожиданный шар — гуттаперчевую яичницу, купленную накануне. Об этой шутке знали только мы со старпомом.

Когда к раздаточному окну камбуза подошёл Никанорыч, Боб подsunул ему на тарелке глазунью, очень похожую на настоящую, а сам на всякий случай ретировался подальше от заранее предсказуемой реакции избранной им жертвы. Однако сценарий пошёл по другому руслу. Наш гидролог долго смотрел на свою яичницу, потом сказал:

— Какая-то она не такая. Старая, что ли?

— Никанорыч, сам ты старый, — раздалось с соседнего стола, — очки надень, да посмотри, как следует — яичница, как яичница.

— Нет, что-то здесь не то.

Он потрогал её вилкой, потом пальцем.

— Холодная! Холодную яичницу мне подsunул! Боб! Что же это ты парторгу вчерашние заготовки даёшь? Хочешь, чтоб я тебе характеристику испортил. Бисов сын, где ты есть?!

Никанорыч заглянул на камбуз — пусто.

— Наверное, к вчерашней невесте побежал, — добродушно пошутил он. — Ладно. Сковорода, смотрю, горячая — щас мы яешню эту пропечём с двух сторон. Всё равно глазунью я недолюбиваю.

Никанорыч сбросил свою яичницу в раскалённую сковороду, и она тут же стала скукоживаться, чернеть и чадить. Из камбуза повалил едкий зловонный дым, из которого, как из чистилища, вывалился наш парторг.

— Что же это такое творится? — протирая глаза и откашливаясь, хрипел он. — Чем хотел накормить меня этот бисов сын?

Боб, почувствовав неладное, быстро объявился на месте события. Такой развязки он, конечно, не ожидал и, чтобы как-то себя реабилитировать, геройски бросился в задымленный камбуз, подхватил подолом фартука чадающую сковороду и выволок её на открытую палубу.

— Боб, скажи мне честно, — допытывался Никанорыч, — чем ты хотел меня отравить?

— Сюрприз это, — оправдывался Боб, — сюрприз из Абердина.

— Да, сюрприз не слабый, век буду помнить.

— Не обижайся, Никанорыч, не по тому сценарию всё пошло.

— А какой же тогда настоящий сценарий? Заворот кишок, что ли?

Наш уязвлённый гидролог долго не мог понять, что за эксперимент учинил над ним Боб, и отошёл только тогда, когда неудачный экспериментатор сделал ему его любимый омлет из четырёх настоящих абердинских яиц.

— Больше так не шути, — нравоучительно говорил он, наворачивая за обе щеки омлет. Другой бы обиделся. В каждой шутке должна быть мера. А придумал ты, конечно, здорово. Теперь иди, драй сковороду, герой.

— Непонятно, кто над кем подшутил? — рассуждал Боб, выскребая ножом намертво прилипший к чугуну пластик искусственной яичницы.

Не успели мы отойти от происшествия, как послышался голос вахтенного матроса:

— Боб! К тебе тут пришли. Выходи встречать.

У трапа стояла Кэтти. Завидев Боба, она так ясно улыбнулась, что мир будто озарился солнцем. Хотя над доками висела кисея неразрядившегося тумана. Боб расставил руки, как для вселенского объятия:

— Заходите к нам, миссис Абердин. Мы все рады Вас видеть. А особенно я.

Он помог ей перейти по короткому деревянному трапу и обрадовал новостью:

— Я уже говорил с капитаном. Он даёт тебе добро присутствовать на борту нашего «лайнера». Сегодня я целый день на камбузе. Могу предложить место помощника.

— Тогда будем готовить тэттис. Хорошо, Боб? Это очень просто: нужен картофель, мясо и овощи.

— Это как раз то, что у нас в изобилии.

— А на десерт будет шоколадный пудинг.

На камбузе ещё стоял дух сгоревшей абердинской яичницы. И когда Боб поведал все перипетии неудавшейся шутки, Кэтти залилась смехом, явно не свойственным предкам суровых кельтов.

— Боб, ты, наверное, неудачник. Признайся. Но тебе тогда обязательно повезёт в любви.

— Боюсь, что и здесь мне не повезёт, — признался Боб с ироничной улыбкой на устах.

Он ласково посмотрел на Кэтти, потом, как бы опомнившись, энергично потёр руки и произнёс:

— Ну, что ж, приступим!..

На обед нам подали тушёное с картофелем мясо, обложенное овощами, и манно-шоколадный пудинг. Когда капитан узнал название съеденного блюда, то стал про себя рассуждать:

— Тэтис, тэтис, — что-то мне напоминает. А! — вдруг встрепенулся он, — миллионы лет назад было такое море, от которого и пошли все моря да океаны. Так что, где бы ты ни находился: в Индийском ли, в Тихом, или у себя на Балтике, — всё равно ты находишься в море Тэтис. Наверное, древние шотландцы знали что-то об этом, раз своё блюдо так называли.

— А шоколадный пудинг тоже шотландский? — спросил матросулевой по прозвищу Полковник.

— Какой же по-твоему, — заявил старпом, — сама Кэтти делала.

— Я почему-то думал, что пудинг — это вообще порода собак такая.

— Пу-у-у-динг, — протянул старпом, — пудель, а не пудинг.

Наш второй штурман Акимыч, который стоял ходовую вахту с Полковником, постучал указательным пальцем по столу и строгим голосом произнёс:

— Полковник, ещё один такой прокол, понижу до лейтенанта.

Но как бы ни пикировались между собой наши мужественные моряки, все были благодарны Бобу и Кэтти за обед, приготовленный в духе шотландской национальной кухни.

— А не зачислить ли нам Кэтти в штат помощником повара? — предлагал Никанорыч. — Есть там у нас вакансии, али нет?

Все понимали, что это шутка и что «ковчег», уготовленный нам, не принимал на борт посторонних, и что случайное появление в нашем вынужденном затворничестве маленькой шотландки, являлось для нас своего рода подарком, светлым лучиком в суровых морских буднях. А Боб и Кэтти понимали это особенно, и, когда они накормили команду ужином и освободились от дел, капитан отпустил их вдвоём на берег.

— Пускай погуляют, — сказал он, — группа из двух человек укладывается в данные мне инструкции. Или я ошибаюсь?

— Законно, — подтвердил Никанорыч, — никто возражать не будет.

Вернулся Боб поздно — в первом часу ночи. Город стоял в сонном оцепенении. Тишина обволакивала застывшие, как на картине, доки, в которых скромно притулился наш маленький пароходик. Боб

пришёл молчаливый и задумчивый — с какой-то внутренней подсветкой, которую выдавали глаза и лёгкая полуулыбка. Он рассказал нам, что они с Кэтти ходили в кинотеатр на американский фильм «Грязная дюжина». Фильм был про войну. Зал почти пустой. Они ели мороженое под непрекращающиеся мужские перебранки и автоматные очереди на экране. Других фильмов, к сожалению, в тот вечер не было.

— Чапаева на них нет, — сделал заключение Боб, — он бы их шашечкой всех порубал на котлеты.

— А как твоя Кэтти? — спросил дежуривший у трапа Полковник. — Проводил?

— Сначала я довёл её до дома, потом она меня до дока. И так три раза подряд. В конце концов, настоял, что провожаю я. Она живёт в таком же двухэтажном домике, какие мы видели на окраине города. Прелесть, что за домик.

— Ты хотел, верно, сказать Кэтти, а не домик.

— Катя вообще — мечта. Чего уж тут скрывать.

— Боб, ты сейчас похож на шотландского «лыцаря» — сделал ему комплимент Полковник, — вот честное слово.

— Верю, — отозвался на это Боб, — сейчас бы мне не спать идти, а ринуться на поля ристалищ, чтоб добыть в боях славу и снизить любовь своей избранницы.

— Да она тебя и так полюбит, — махнул рукой Полковник.

— Полюбит, не полюбит — завтра отход и останутся одни воспоминания.

Боб жалостливо и неопределённо вглядывался в мутный силуэт города:

— Полковник, хочешь, я за тебя здесь подежурю?

— Иди спать, «лыцарь». Завтра тебе ещё целый день гулять. Ночуй спокойно. А я охраню твой сон от наглых происков имперьялистов.

На следующее утро Кэтти не пришла. Боб ушёл в увольнение вместе со старпомом, и я не видел его до обеда. В полдень мы с Полковником решили выйти к побережью Северного моря. На пляже в летнем кафе мы увидели их группу: Валентин Сидорыч, Боб и Кэтти. Мы помахали им рукой, сели рядом на гранитный парапет, и я послал Полковника за «Колой». Более крепкие напитки на пляже не продавали. Поэтому Полковник долго плевался, называл фирменный американский напиток чернилами, а я в это же самое время выяснил, что Кэтти появилась не случайно. Они с Бобом договорились ещё вчера о встрече именно здесь — на побережье. В тот день светило скупое солнце, серые волны катились на песчаный пляж, умеряя свой бег на старых свайных волнорезах. Между волнорезами несколько местных серфингистов, облачённых в гидрокостюмы, пытались поймать гребень довольно

жидкой волны, катящейся с дальних просторов Северной Атлантики. Я подбил нашего старпома отпустить погулять нашу молодую парочку по долам и весям.

— Чего им сидеть тут, как привязанным, — сказал я, — пущай погуляют вдвоём напоследок. Сегодня, чай, отход у нас.

— Боб, ты не против? — спросил Сидорыч. — Но только до девятнадцати нуль-нуль. Уходим по полной воде. Потом шлюзы закроем. Так что не опаздывай.

— Всё будет оки-доки, — сказал Боб, — спасибо за доверие.

Он взял Кэтти за руку, и они не спеша пошли вдоль прибрежной полосы, омываемой ленивой волной. Море дышало холодным накатом — отголоском начинающегося прилива. Свежий ветер с северо-востока не студил, но и не согревал. Отпущенные погулять медленно передвигались по укатанному водой, почти безлюдному пляжу. Боб иногда взмахивал руками, как птица крыльями, останавливался, принимал позы, видимо соответствующие тому, о чём он там говорил. Пантомима их шага и телодвижений напоминала некий танец, название которому ещё никто не придумал. Фигурки удалялись, становились всё меньше и меньше, превращаясь в одно целое, растворяясь во вселенной.

— Хотел бы ты, Сидорыч, вернуться в молодость? — спросил я старпома.

— А чего мне туда возвращаться? — старпом высоко поднял свои кустистые брови. — Нужды особой не вижу. Молодость влюбчива, но бестолкова, смотрит вовне. Старость же имеет мужество заглянуть в бездны внутреннего я. А это, доложу я тебе, вещь особая. Это подарок от прожитой жизни. И не каждый его ещё получает. Всё зависит от того, как ты прожил свою жизнь. Другому дай заглянуть в себя — ужаснётся, с ума сойдёт. Правда, Полковник?

— Зачем заглядывать, — отреагировал тут же Полковник, — коли страшно. Живи себе, как знаешь. А Бог потом рассудит.

— Бог-то рассудит, да отвечать нам придётся, — заключил старпом. — Каждое время хорошо, главное — человеком остаться.

К девятнадцати нуль-нуль команда собралась на борту нашего небольшого ковчега, готового к отходу. Не было только Боба. Дед прогрел и прокрутил главный двигатель. На штурманском столе ходового мостика уже лежали развёрнутые навигационные карты с паутинными карандашными нитями прокладок нашего будущего курса. Швартовая команда, состоящая из Полковника и матроса Верёвкина, тоже стояла на «товсь», то есть в полной готовности. Я поднялся на мостик, чтобы обозреть обстановку, и сразу же увидел Боба и нашу маленькую шотландку, которые бежали, держась за руки, к месту их разлуки.

— Молодец Боб, не подвёл, — высказался старпом, который до этого пребывал в некотором напряжении.

Они добежали до ближайшего штабеля из старых потемневших от времени досок, Боб махнул рукой в нашу сторону, мол, всё в порядке, буду с вами сей момент. Через невысокий штабель виделись только их головы: Боб что-то будто бы объяснял, а она часто кивала, как бы соглашаясь.

— Пойми, Катя, жизнь у нас такая — по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Я буду помнить о тебе. И когда-нибудь непременно вернусь.

— Знаешь, у Бернса есть такие стихи, тихо промолвила девушка:

Нынче здесь, завтра там — беспокойный Боб,
Нынче здесь, завтра там, да и след простыл...
Воротись поскорей, мой любимый Боб,
И скажи, что пришёл тем же, что и был.

— Три года пробегут быстро, Катя. Быстрее, чем эти три дня...

Боб хотел договорить, но старпом прервал его коротким, а потом длинным гудком из судового тифона, гулко разнёсшимся по всему доку. Для них он показался последним стоном.

— Пусть ещё пять минут поговорят, — разрядил обстановку капитан. — Жалко их почему-то. Увидеться им вряд ли придётся в этой жизни. Хотя, чем чёрт не шутит, — задумчиво пробубнил он и вывел губами, как на трубе, мелодию из известного всем нам фильма «Дети капитана Гранта».

Боб пришёл на судно, сжимая в руках чёрные кожаные перчатки так, будто это самый дорогой предмет в его жизни.

— Катя подарила, — объяснил он. — На прощанье. Чтоб помнить...

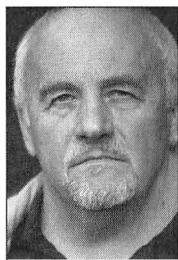
Полковник скинул со швартового кнехта шпринг, который держал наше судно на привязи, запрыгнул через фальшборт на палубу и дал знать на мостик, что всё чисто — ничто нас больше не связывает с шотландским берегом, кроме памяти о нём. Мы вышли через открытые ворота шлюза в разлившуюся от прилива дельту реки Ди. Кэтти сопровождала нас по берегу. Она дробно стучала каблучками своих маленьких туфелек по сизо-серому граниту, которым был выложен сам причал, а далее и длинный-длинный мол, уходящий далеко в море. Мы шли вдоль этого мола сначала вровень с Кэтти, а потом медленно стали её обгонять. Она побежала, несколько раз запнулась на неровностях. Но мы всё равно убыстряли свой ход и неумолимо двигались всё дальше и дальше. Кэтти добежала до края мола с небольшим, торчащим, как столб, маячком. Дальше бежать — некуда. Дальше разливалось необъятное Северное море, в которое совершенно бесстрастно внедрялся наш пароход. Она сорвала с шеи тоненький платочек и долго махала нам, а вернее —

Бобу, пока совсем не скрылся вдали её трепетный силуэт. Он до сих пор маячит в моих воспоминаниях, как символ надежды и ожидания.

Боб долго стоял на крыле мостика, вглядываясь в уходящий берег, в маячок на конце мола, в маленькую точку у маячка, которая была живым существом с не очень характерным для шотландцев именем Кэтти. Боб ещё крепче сжал в руках подарок своей случайной шотландки, уткнулся в него головой, сильно прижал к лицу, чтобы мы не видели слёз, проступивших на его простодушном лице.

— Моя маленькая Катя, — лишь повторял он, — моя маленькая Катя, даст ли мне Бог ещё раз увидеть тебя?

По приходу в порт приписки Боба тут же забрали в армию. В тот же год наш любимый пароход продали в Клайпеду. С тех пор я больше ни разу не видел Боба. И порт Абердин почему-то всегда обходили стороной, хотя мне ещё много раз представлялся случай бороздить моря нашей планеты.



Виталий АСОВСКИЙ

/ Вильнюс /

Поэт, переводчик, драматург. Родился в 1952 в Калининграде. Окончил филологический факультета Вильнюсского университета. Работал в редакциях газет, радио и телевидения, тренером по культуризму, редактором литературного журнала «Вильнюс», заведующим литературной частью Русского драматического театра Литвы. Выпустил книги стихов «Воздушная тропа» (1987), «Вильнюсский дивертисмент» (1991), «Другое пространство» (1998), «Небо и ветер» (2008). Переводит стихи литовских, польских поэтов. Книги переводов «Осенняя бухгалтерия. Стихи литовских поэтов» (2014), «Ars Poetica? Стихи вильнюсских поэтов» (2015). Публикации в журналах «Вильнюс», «Дружба народов», «Континент», «Северная Аврора» и др. С 1959 живет в Вильнюсе.

* * *

Дует ветер безумия, ветер безумный,
он выдувает из тела силу и волю,
путает мысли, их превращая в сумму
единиц информации, ломая единое поле.

Он ослабляет земную тягу, и тело еле
удерживается на тверди, на грани фола.
Он воеет на улицах, над крышами, в атмосфере
и что-то уносит — прямо в межзвездный холод,
где обитание — вечно длящееся одиночество,
беззвучие и непостижимость цели.
Дует спятивший ветер, ему, вероятно, хочется,
чтобы все обесмыслилось больше, чем есть на деле.

Как его возмущенно встречают древесные кроны,
как боятся рыбы в озерах и звери в чаще.

И крепче свою подругу прижимает влюбленный,
ощущая нутром обреченность счастья.

Дует ветер свихнувшийся, тонут рыбацкие лодки,
народы охватывает ненависть к живущим рядом.
И посетители баров пьют больше пива и водки,
и комиссар полиции усиливает наряды.

Старики в постели ложатся, чтобы уже не проснуться,
сердечники с черными веками грешат на погоду.
И даже церковные стены — если не гнутся,
то становятся тоньше. И модницы отступают от моды.

Дует ветер безумия. Это видно по лицам
всех велосипедистов и пеших прохожих.
Президент кричит на советника в центре столицы,
а фермер в коровнике работника лупит по роже.

Дует ветер безумия, и в такие часы, дорогая,
сходят с ума абстиненты, кто — временно, кто — надолго
И страшно переходить улицу, будто тебя настигает
без водителя мчащая мокрая черная «Волг».

* * *

Для бездомных любовников крыша нужнее воды,
огонек зажигалки светлее Полярной звезды.

— Прикури сигарету, подай мне.
Молчанье опять.
Путь сближения тайный не надо уже повторять.

Только ветер июньский, заметный едва ветерок,
и бутылка вина, и конфетных бумажек пяток...

— Дай мне руку, не эту, смотри — поцарапал ладонь...
Уголек сигареты проплывает дугу за дугой.

Привкус губ ощутим на стакане, одном на двоих.
Неслучайны свиданья на холмах городских.

— К нам приехали гости...
— Удача, что нету дождя...
Тихо листья березы прозрачной вверху шелестят.

Загораются в городе окна, в квартирах чужих.
Очень коротко лето, бездомное лето двоих.

* * *

В. Чубарову

Море приснится; над синею чашей
что-то мелькнет невзначай.
Что это, чайка? — Нет, молодость наша.
Что ж, улетай, улетай.

Серым туманом залеплены дали,
сзади леса да река...
Море покой обещает? — Едва ли.
Просто, затишье пока.

Ширь необъятна и путь неизвестен,
и начинается свежеть...
Мы возвратимся? — Нет, прежнее место
занято будет уже.

Время пройдет, нас потянет на сушу,
к берегу, слиться с землей...
— Слиться с землей?.. Я, наверное, трушу...
Это — и все?.. Боже мой!

Нет, до конца остается надежды
полуспасительный блеск:
мир — еще шире, чем виделось прежде,
и земля — только берег небес.

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Дует ветер с верховий Невы,
облака разгоняя над устьем,
небо высветлив до синевы,
заражая весенним безумством,
отзываясь морозцем в груди.
Погоди! Все еще впереди.

Загорелась большая игла —
восклицательный знак государства, —
утверждая незыблемый склад,
всемогущество камня и царства.
Погляди на нее — и иди.
Не задерживайся! Проходи.

Я иду, и везде — синева,
попыхает небесное пламя.
Голубая открылась трава
надо мной, над тобою, над нами.
Над фуражками кариатид,
подпирающих жесткий гранит.

Небо синее вприснуто в кровь,
и душа ощутила свободу,
разрыванием зимних оков
отзываясь на смену погоды.
Дразнит нас синева, синева,
от которой летит голова

Пробудилась, бессмертная, вновь,
красотой возвышая над силой,
голубая бесстрашная кровь.
Что красивее алой на синем!
Мы свободны, когда мы хотим.
Впереди еще множество зим.

* * *

О как он в детской одинок,
когда в кроватке, как в загоне,
проснется в полночь! Потолок
высок, таинственен и тёмн.

Квартал позёмкой занесён,
и кто-то бродит в снежном прахе.
И зашуршат со всех сторон,
пойдут к нему ночные страхи.

Он плачем борется со тьмой.
Вот мать спешит в ночной сорочке,
включает лампу
и рукой
стирает страха оболочку.

Он на родительской кровати
уснет посередине вновь,
всех поцелуев и объятий
в себе соединив любовь.

И смирно гаснет фитилек
заполыхавшей было страсти,
так всемогущ он и высок
в своей неоспоримой власти.

И через несколько минут
все затихает непорочно...
О, кто бы знал, какие ночью
к нему видения придут,

когда в дыхании одном
дом, эта комната и трое,
как облако недождевое
летят в пространстве мировом!

Но между шторами, в стекле
звезда нашаривает щелку.
Луча алмазная иголка
царапнет метку на челе.

И вздрогнет он, но не заплачет,
не позовет отца и мать:
судьбу напрасно умолять,
свой жребий — не переиначить

и неизвестен — только срок...
И он бесстрашно и свободно
наутро всходит на горшок
под вопли труб водопроводных.

* * *

«Пройти путем зерна...» и др.

оргазма маленькая смерть
уснувшая жена
не ошибиться бы суметь
пройти путем зерна

опять по всей земле метет
как с детства не мело
летят проламывая свод
снежинки на стекло

метельный выдался февраль
но сколько ни мело б
не гаснет уличный фонарь
сияющий сугроб

так снега белого белей
сияют изнутри
как дети в чревах матерей
из глубины Земли

но холодает и весной
и летом сплошь дожди
терпи мужайся Бог с тобой,
хорошего не жди

въезжает в царские врата
на спинах ишаков
толпа святая простота
безумных седоков

под труб иерихонский ор
под вечной черни гам
тебе последний приговор
напишут по слогам

тебе ведь сказано держись
пускай кругом зима
и накопившаяся жизнь
идет путем дерьма

* * *

И.

я скоро день не видел вас
а в мире много поменялось
неугомонный богомаз
природа снова постаралась

опять октябрь который раз
венки утраченного рая
неторопливо расплетает
я скоро жизнь не видел вас

* * *

Куда ведет воздушная тропа?
С какой сомкнется столбовой дорогой?
Едва опору чувствует стопа,
когда на ощупь опускаешь ногу.

Обгонит ветерок... За ним, легки,
летят вдогонку облачные клочья.
И так со стороны беспомощны шаги
бескрылой птицы в воздухе непрочном.

* * *

когда мне исполнится тысяча лет
и выпадет свободная минута
я замечу что многие приключенческие романы
утратили свою увлекательность

тысяча лет не проходит бесследно
измененья претерпят привычки может быть вера
отчасти — методика обольщения женщин
и занятий в тренажерном зале

я увижу как время меняет окраску
и кто правит карту звездного неба
только дети плачут по тем же причинам
и хочется их утешить

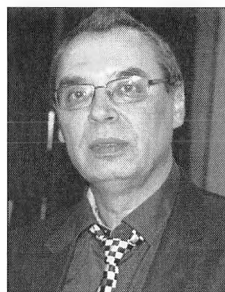
я пойму что осталось недолго
стоять за газетой к киоску
станет трудно взбираться на башню
по тысячелетним ступеням

впрочем что-то останется прежним
восторг перед рождением ребенка
листопадом и грацией сеттера Арчи
жаль что доброму псу тысячу лет не прожить

что же делать наступит усталость
и пора изменить образ жизни
и присесть во дворе на скамейку
еще на тысячу лет

Юрий КАСЯНИЧ

/ Рига /



Юрий Касянич (род. 1955). Поэт, переводчик, прозаик. Член союза писателей Латвии, Союза российских писателей, Балтийской Гильдии поэтов. Автор трех оригинальных поэтических сборников и двух книг переводов с латышского. Постоянный редактор-составитель ежегодного поэтического альманаха Дней русской культуры в Латвии «Письмена» (2012–2016).

ЗВУК ТИШИНЫ

* * *

Да, с потолка небес беру подсказки.
Бросаю камни, что на сердце давят,
в свои неполотые огороды.
Не буду ждать у моря непогоды,
из грустных мест, где наша пропадала,
я на своих двоих, в которых — правда,
пойду дорогой, что легла, как скатерть,
чтоб до кудыкиной горы добраться,
где мягкий прошлогодний снег заносит
слова, что как-то я на ветер бросил...
Туда б унес как две зеницы ока
тебя одну и, если канем в Лету,
то лишь вдвоем и поминай как звали!
Пока ж премьеру песни лебединой
отложим... но — в какой короткий ящик!
На волоске, отделавшись испугом,
живем, где платят нам не той монетой,
не называют вещи именами,
где всяк, без дураков, обидит муху,
где днями — из порожнего в пустое,
где стреляные воробьи все так же

дерутся за какие-то коврижки,
где горы золота сулила вечность,
но вилами по глади вод писала...
где солнце как безбожный одуванчик
восходит над кисельною рекою,
где мы живем как белые вороны
и гнем своё — выращивая розы,
на камне камень все же оставляя...

НАКАНУНЕ КРЕЩЕНИЯ

крещенский сочельник. созвездную карту
раскинула ночь над застенчивым полем,
где звук тишины, что умножен стрократно,
на время умерил права монополий
извечного шума и словоохотцы,
когда растворилась округа в молчанье
и лишь облака, словно тихие овцы,
бредут, безпастушны, цепочкой в овчарню
над лесом свет послерождественский льется,
еще не родился на свете коперник,
а крестный Твой путь по камням долороса
уже начался с иорданской купели

РИГА. МАРГАРИТА

Елене Сергеевне Нюренберг (Булгаковой)

Вырос дом. Засмеялось дитя в колыбели.
Волшебства населили фасады и двор.
Небеса в окна детской, как лен, голубели.
Оттого и в душе поселился простор.

Оттого безотчетно хотелось полета,
повторить траектории нервных стрекоз
над страной мучительной и воспаленной.
Над проспектом, рекою, над горстью берез.

Бросить все и уйти за талантом, как в пропасть,
к безрассудству добавив разумного льда.
Кастинг жизни — жесток: ни секунды — на пробы.
Вы решали мгновенно: любовь — навсегда.

Мир был узник, в усаые цепи закован.
На метле, что из прутьев волшебных раки,

Вы спаслись, поднимаясь над средневековьем!
Палачи инквизиций сжигали таких!

Крылья, щетка ли, ступа — ей-Богу — неважно.
Взлет — сильнее железного плена цепей.
Левитации тайна есть, в сущности — в каждом,
но не каждому писано встретиться ней.

Маргарита, Елена — не в имени дело.
Да и что там за окнами — март или декабрь.
Год за годом пылали страстные недели.
Смерть за жизнью гналась, сократив гандикап.

Ах, какое бикфордово время досталось
соловьям и скворцам! Не сумев уступить,
победили герои коротких дистанций:
кто-то в мерзком подвале, кто — в мерзлой степи...

Вы в грядущее шли под крылом херувима
в обстоятельствах, не постижимых уму,
до апрелей евангелие сохранивши,
даже в мыслях страхась прикоснуться к нему.

.....

Как модель, щеголяет береза в гипюре.
Предзакатная туча горит за рекой.
Циркуль ветра рисует над Ригой эпюры.
Осень Геллой хохочет, сминая покой.

ПОДСОЛНУХ

Владимиру Френкелю

Здесь дышала новинками книжная лавка.
А теперь, спорным запахом быстрой еды
провожаем, иду. Колет, словно булавка,
в сердце — белая боль лебединой беды.

Что толкает склоняться и плакать над словом,
если в мире людей не осталось людей?
Представитель иного культурного слоя,
в настоящем пытаюсь я свет разглядеть...

Выйду к древней реке, на плечо парапета
обопрусь, размышляя, о чем должен спеть,

если связи, и годы, и страны пропеты?
Над плачевной рекою листаю конспект.

Что, шипя, как подкова, упало в течение?
Звезды падают. Подслеповат звездочет.
Отчего так и тянет уйти в кватроченто,
поглядев, как вдоль берега время течет?

Затевая микстуру, бессмертный аптекарь
не откроет отмеренных капель число.
Копит годы стеклянная библиотека,
точно нижняя колба песочных часов.

Не печалюсь о дне, где под лампой зеркальной
кардиолог в ладонь мое сердце возьмет.
Утомленного слова, как солнца, закаты.
Но душа, как подсолнух, глядит на восход.

* * *

Памяти мамы

В твоём дому ещё идут часы.
Хоть время навсегда остановилось.
В окне звенит веретено осы.
Потеря, как стрела, прошла навывлет.

Мне лето подаёт упрямый знак —
не увлекаться чтеньем грустных книжек.
На дюну выйду — утренний сквозняк
меня на нить свою легко нанижет.

И от песка почти что оторвет,
как выпел боли вознося на тресе
над ножевой прибрежною травой,
над жизнью без ответов на вопросы.

Я знаю — ты подскажешь мне во сне,
какой подвох в грядущем поджидает.

Рассвет лучом — сквозь дырочку в спине —
корабль пиратский в море поджигает.

ГОРОД

Из забывших меня можно составить город.

И. Бродский

...а звал ли голос в чащу каменного леса,
где фонарей ослепших апельсины,
как муляжи, безжизненны и тусклы,
где полночи абсент сквозь лунный сахар
по капле гулко падает в колодец
чешуйчатой, как рыба, площади
и звук монеткой катится во тьму?
сквозящему проему переулка,
которым навсегда ушел однажды,
вернешь ты одиночество свое,
но он, как был, — безлюдным остается;
стоят скульптуры онемело в скверах —
окаменевшие воспоминанья;
глазницы зданий, как у черепов,
черны, твое не помня отражение;
и если зыбкой тенью неказистой
мелькнешь в окне, будто нездешний призрак,
шаманы равнодушного забвенья
очнутся от нешуточной тревоги,
взметнутся небо заслонившей стаей,
и с шелестом крылатых ножниц
промчатся, свет созвездий состригая,
что, догорев, осыплется на плечи,
как семена подсолнуха, как сажа...

ЭВОЛЮЦИЯ

город перестает чистить зубы
в домах начинается кариес
дурно пахнет из подворотен

город перестает жевать
норовя нализаться
глочет не думая
острые пьяные пошлости
жирные глупости
в канализации возникают язвы

город перестает принимать пищу
в модном желании похудеть

дома в анорексии
рушатся перекрытия

город перестает спать
глотнув черного молока ночи
из окна в окно мигают
светлячки ночных сигарет

город перестает любить
люди выбегают из подворотен
протаптывают на газонах тропинки
уходят от беды на закат
воинственно таща на себе, как муравьи,
раздвоенные хвоинки жизней
похожие на знак победы

ГАДЖЕТ

(на мотив Корнея Чуковского)

Я вчера потерял телефон.
Не найти ни в машине, ни в спальне.
Восемь раз позвонивший мне слон
в гневе внес меня в список опальных...

Без коллег остаюсь, без врачей...
Страшно жить! Но придется пытаться
идентичность вернуть. Я — ничей!
Я — изгой! Налицо — ампутация!

Я бреду вдоль бульвара один...
Будь ты проклят, властительный гаджет!
Я разгневан. Меня крокодил
из весьма уважаемых граждан

пожурил за растрепанный вид
и за то, что мобильный вне зоны.
В шоке я: ведь никто не звонит!
Шоу — ломка мобильного зомби.

Мы — зависимы. Нервно висим
на веревочках связи, как куклы:
мегатысячный клавиесин,
что запутался в действе оккультном...

У дверей я встречаю тебя.
Жемчуг ливня в прическе остался.
Ты волнуешься, шарф беребя.
Улыбаюсь — счастливый растяпа.

«Знаешь — слон, я уверен, поймет,
если он о пропаже узнает,
не такой уж он и обормот,
чтоб швыряться беспечно друзьями...
Я себя за растяпство виню.
Упреждая обиды и распри,
оператору позвоню
и опять попрошусь в его рабство...

P.S.

День прошел — и упала с плеча
тяжесть.
Salve, слоны, крокодилы!
Этот гад...же...т в подкладку плаща
завалился и разрядился...

КОВЧЕГ

град ударил словно долото
и разбилось озеро зеркальное
мы уйдем наверно далеко
в холод нашатырного заката

навсегда отсюда мы уйдем
потому что выродилось племя
тех кто жизнь растил своим трудом
потому что выветрилось время

ждут ли нас в той парусной дали?
ждет ли вообще кого-то кто-то?
или жгут мосты и корабли
нарушая протокол Киото?

аллергию сеют тополя
вороны пророчат нам кочевье
и уже стоит на стапелях
первое подобие ковчега

ПОКА НЕ СОРВЕТСЯ ЗВЕЗДА

ты ищешь ответы, как ключик в дырявом кармане,
что выпал при входе в метро, не встревожив твой слух,
полжизни, кочевник, ты ехал в стальном караване,
пока полыхала звезда под названьем лопух

в раздетых аллеях дрожат афрокожие липы,
похрустывает истощенного неба брезент,
а город высотный проносится мимо, как клипер,
и сыплются сбитые птицы, как буквы газет

куда тебя смыло в исканиях смыслов и гитик?
сестрица кричала вослед — из копытца не пей!
не веруя в завтра, живешь, как на дверце — магнитик,
пока не перечит звезда под названьем репей

все реже рождаются дети и жизнь бескорыстно
все реже спасает, готовая резать и жечь,
все чаще домашним животным становится крыса,
все чаще в железной крови появляется желчь

скрипят ветряные, и рыцарю в пьяной таверне,
как водится, жаль, что скрижали державы в пыли,
что будем все чаще делить на неверных и верных,
пока не сорвется звезда под названьем полынь

ГЛУХОМАНЬ

Все глуше откликаются собратья.
Все глубже — разочарований боль.
Все лучше крутят сальто акробаты.
Все уже свет — меж смертью и тобой.

Смех приглушённый слышится сквозь годы...
И новый век, лужёный век менял
велит глушить в душе — канал свободы,
как было в золотые времена.

Живешь, как говоришь, — неровно, нервно.
Дела и фразы, внятные едва.
Кто речь глушит, как рыбу — браконьеры,
найдет в осоке мертвые слова.

Война — рукой подать. В дыму и лужах
багровых — новой ярости урок.
В аорту ставьте плотную заглушку,
чтоб легче было нажимать курок!

Из гильз дитя составит ожерелье.
Глушитель приобрел себе комар.
Поет глухарь, от нот своих жирея.
Лишь черный крот готовит закрома.

Душа, как шевелюра, поредела.
Внутри обмяк твой баловень хомяк.
И никому ни до кого нет дела.
Такая, понимаешь, глухомань!

Да разве ж можно удивить кого-то,
что жизнь-кольчуга стала вдруг тесна?
И остается дни глушить, как водку,
и молча глохнуть, как забытый сад.



Инара ОЗЕРСКАЯ

/ Рига /

Инара Озерская — поэт, прозаик, переводчик. Член Союза писателей Латвии (с 1994). Публиковалась в журналах «Даугава» (Рига), «Шпиль» (Рига), «Черновик» (Москва), «Крещатик» (Гамбург). Сборник стихотворений «Там» (Рига, 1993). Роман «Ересиарх» опубликован в журнале «Крещатик» (2003, №№ 1–4). Живет в Риге.

ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК

«Бред какой-то... На море штормит. Сегодня с утра заштормило. Надо бы зябким, острым ветрам до ноября подождать. А они сорвались, хлынули на июль. Рано. Слишком рано. Летние вечера долгие, легкие, а сегодня... свинцовые облака ночь к земле придавили!» — смуглая женщина в черном плаще раздражена. Петляет по хлипкой тропинке. От фонаря до фонаря и снова: от росчерков, бликов на мокрой траве, до отсветов маяков у порта и желтых глаз кондитерской по пути.

«Нет. Лучше сегодня без кондитерской. Обойдусь. Перепуталось, смешалось все. Даже у ветра невнятный язык! Ни понять, ни разобрать не могу. Лучше сегодня без загибов дойти куда поведет», — Эмма хмурится. Черные волосы волнами мечутся на голове. Идет впотьмах...

«Никуда!»

И словно бы ниоткуда.

«Слишком рано штормит. Все здесь — слишком рано».

Да. Случилось в июле: женщина в промозглом сумраке у порта. Вроде Эммой зовут. Вроде старая, вроде хороша. Стройная, гибкая. Наверно, какую-то жаркую кровь, штормом сюда занесло в стародавние времена. Неважно: когда, почему...

Война? Бега? Голод? Мор?

Неважно.

Но красиво вышло: порт, окраина города, дети глазастые во дворах.

И непогода нестрашная тут, налетит — да растает. Лето.

«Клятое воглое лето. Черт!» — Эмма оступилась. Чуть в хлипкую грязь не упала. — «Тускло. Тускло тут, морось. И маяки не светят, а коптят. И я... потерялась сегодня!»

Да. Сумрак. Дома черной плесенью поросли.

«Слепнешь тут спать. И просыпаться... зачем?» — женщина с трудом открыла железную дверь подъезда.

Скрежет петель. Свет — цепь лампочек до пятого этажа. Эти звезды недолго горят. До пятого долететь-то успеешь, а вот ключи, как всегда, не найдешь. И снова придется по клавише хлопать: щелчок, вспышка.

Прелюдия зябкого сна. Беззвучная пыль на ступенях.

«Ночь — время дьявола...» — так, не мысли, сквозняк.

Эмма ежится, ищет ключи.

«Сквозняки тут сегодня», — думает. — «Здесь всегда — сквозняки».

Дверь распахнула. Рывком, нервно, зло.

Зачем так спешить-то? Женщина словно бежит от чего-то. Или куда-то?..

Бежит.

«Путь от дверей до окна короток. Туфли сбросишь, плащ смахнешь. И — дома. Дома, как всегда», — Эмма подошла к окну.

И видно теперь — платье белое, узкое, до колена. Да пояс черный. Немодно? Пожалуй. А ей-то, похоже, и все равно.

«Дома!» — и смотрит в окно. И вроде не ожидала: закат лилововет над портом.

«Ночь — время страха и лжи...» — шепоток издали.

«Здесь всегда — шепотки, сквозняки», — улыбнулась Эмма. Как-то ярко, светло улыбнулась. Откинула волосы со лба и стоит. Расправилась вся. Что-то переменялось? Что?

«Паруса развернулись вдали», — женщина засмеялась.

Какие там паруса?!

Облака сгустились над портом, и не разобрать теперь — какое облако на птичью стаю походит, какое — стягом на ветру плескалось? Какие паруса за ближним туманом мерещились? Только...

«Гнаться за призраками да легендами — некстати к ночи!» — донеслось издали.

«Почему же некстати?» — Эмма вскинула подбородок. — «Надоело уже: не мысли, а так — шепотки, голоски. Гундосят на разные голоса: осторожно! Не стоит! Опасно. Как бы с ума не сойти...»

Поежилась. И обозлилась.

«А разве хорошее место — промозглый, обыденный ум? Безвольный шторм за мутным окном?» — Улыбнулась снова. Подумала что-то себе и сделала шаг. Не к стене, не к окну, а вроде...

«Никуда!»

И покачнулась. Вдох. Выдох.

Что-то переменилось? Разглядеть ее теперь не легче, чем в старом зеркале. Едва-едва. Смутно. Словно и не здесь она?..

«Не здесь».

* * *

«Я не играю давно. Не до того. Пыль на пианино. Беззвучный покой», — старик на девятом десятке в глубоком кресле сидит и глаз не поднимает. Что-то думает?

«Ночь — время дьявола».

И Бог с ним.

Когда подняться решит, секретарь поддержит. Не промахнется.

«Я надеюсь», — вздрогнул старик.

Кажется, все здесь не к месту. Все — лишнее. Хорош лишь кардинал в кресле. И облака за окном хороши. Кажется, паруса развернулись вдали.

Ну, может, еще секретарь в кабинете к месту. Сухой, внимательный, молчаливый. Бывший ученик. Друг. Помощь...

Старик-то пишет. До сих пор. Оттого секретарь и к месту. И не скучно ему. Секретарь помоложе кардинала, конечно, но далеко не юнец. Лет шестьдесят на вид.

Хотя... кто их видит?

«Я — вижу. Я — приглядываюсь издалека, — подумала Эмма. — И ни ранить, ни шутить не возьмусь. Сегодня... не возьмусь, пожалуй».

Хорошо, хоть так. Хорошо, хоть сегодня ей не до смеха. Все оттого, что дома штормит и хандра. А здесь тихо.

Кажется, вековая пыль в кабинете. Хотя ни пылинки не углядишь. И кажется, все лишнее старику: и поздний густой свет из окна, и росчерки облаков, на застекленных полках. И закат за окном.

«Даже книгам здесь сонно», — подумалось старику.

И кажется, никто не придет. Створки обложек не разомкнутся, не выпустят тихих жильцов.

«Даже тех не пустят, что без продыха лгут. И говорят невпопад, и кричат. И краплеными картами сыплют. И дешевыми чудесами слепят», — саму себя утешает Эмма.

Кардинал поднял глаза и долго глядит в окно.

«Яростный костер горизонта. Невыносимый сегодня», — вздохнул старик. Алые всполохи тонут в зрачках.

«Да, кардинал знает, что не один он сегодня... Он всегда не один. С тех пор, как книгу о Чаше Грааля закончил», — размышляет секретарь. — «Давно ведь закончил. А накатывает по сей день. Наверно, кто-то не дочитал? Или не понял?..»

Например, Эмма — в тумане. Потупилась и молчит.

«Книга за книгу», — хмурится гостья. Тряхнула головой, но мысли не отступили. — «Почему же мы спорим друг с другом, умышленно или невольно? И почему меня-то сюда занесло?»

Да оттого, что кардинал последних полгода почти не пишет. Заполнил два книжных шкафа. Довольно с него!

Теперь слушает шепотки, сквозняки.

«Конец пути. Конец земного паломничества», — старик на минуту сомкнул глаза.

Лиловые облака догорают. Город почти святой за окном.

Секретарь понимает: если учитель задумчив, значит, с кем-то сейчас говорит. На таком языке говорит, на котором и голос не нужен.

Оттого секретарь и молчит. Мешать разговору не стоит.

Это век наш шумный компьютеры изобрел, а учитель... Тишину предпочел. Кардинал из тех, кто древний язык понимает. Не о латыни речь, не о греческом, не об иврите. Речь о том языке, который теряет, учась говорить. И привыкли думать: на все нам довольно слов.

«А слова тесны, как назло!» — вспыхнула Эмма. На сизом облаке белая полоса прочертилась. И мерцает — тревожно, ярко, светло.

Старик открыл выцветшие глаза. Строго смотрит в окно.

Жаркий закат застыл в долгом взгляде, как на вытянутых руках.

Гостья хочет смолчать. Не получится.

Чем выше ушел, тем ты уязвимей. Тем недоступнее тишина.

«Прочитала я вас, — думает Эмма, — Не книгу вашу, нет, каюсь. Но вас самого... прочитала. Тяжелее понять, не спорю. Ворох черновиков, догадок, всего, что придется счеркнуть. Зато интересно. И не дают покоя мифы... Миф об утраченном языке, миф о Чаше».

«Все мифы переплавляет вера», — старик недовольно сощурился.

На окно не глядит больше. И правильно, ни к чему.

Иначе облака — как всегда — о перелетных образах примутся толковать, как о птицах перелетных... Стаи, стайки, косяки. От народа — к народу, от детской мечты — до старицкой тоски в темные вечера.

Кардинал не заметит. Больше в окно не глядит.

Спокойнее так. И думать не стоит, что и у неба... найдется язык.

Посложней человеческих. Даже забытых.

Нежданно налетел ветер. Пластает дальние кроны деревьев, хлопает в стену. Того и гляди в кабинет ворвется, разметет на столе бумаги, песчаного золота нанесет. А к чему здесь песок? Даже золотой?

Секретарь поднялся. Пора поберечься. Закрывать, закрыть, закрыть окно!

«Где-то штормит?..» — Кардинал рассеянно смотрит в пол.

Никто не ответил.

И ветер замолк.

* * *

Наутро Эмма проснулась, обогнав рассвет.

Темнота, тишина за окном.

Утренние дела и в сумраке делать не в труд. Особенно, если уgomониться не можешь.

«Странствующие сюжеты... сквозят», — думает себе Эмма, скитаясь по квартире. Обращается то ли к себе, то ли к вчерашнему во-глому дню, потонувшему ночью. — «Сказки летят... так же скоро, как я до вас и вы до меня! Стоит задуматься, затосковать, повернуть взгляд в себя самого. Вдаль? В детство? Туда, где слов еще нет?..»

Подошла к окну.

Рассвело. Чайки перечертили небо. Скользят над крышами, выкрикивают невнятные слова.

«Не разобрать...» — Женщина смотрит на горизонт за портом, улыбается. — «Да и не надо. Пусть говорят без меня».

Шторма и нет в помине. Перелетел куда-то. Со зла? От обиды? Случайно?

Ветер молчит.

2014

Ева АХТАЕВА

/ Вильнюс /



Поэт, публицист. Родилась на Волге. Автор видео-проекта «Ожившая поэзия», опубликованного на сайте <http://ahtaeva.lt>. Автор двух поэтических сборников. Готовит к изданию третий. Автор лирических песен и романсов. Публикуется в литературных изданиях Литвы, Латвии, Эстонии, России. Председатель ЛИТО «Логос». Секретарь правления РО МАПП в Литве. Дипломант конкурса русской поэзии «Под небом Балтики». Награждена Грамотой Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы.

НЕ ОТЫСКАТЬ РОДНЕЙ

«Над русской Вильной стародавной
Родные теплятся кресты...»

Ф.И. Тютчев (1870)

Теперь я твой старатель, Вильнюс!
Пронзая пласт былых времён,
Твоим могуществом проникнусь,
Взовьюсь полотнами знамён

Над вечной башней Гедимина,
Видавшей кровь побед и бед,
И «стародавной русской Вильны»
Нетленный православный свет.

Колоколов янтарным звоном
Шкатулки дворики твоих
Наполню, вспомнив время оно,
Когда иной звучал здесь стих,

Иной язык — в названиях улиц,
Отелей, парков, площадей...
— Чужой, — вдруг кто-то буркнет, хмурясь.
А мне — не отыскать родней!

ВИЛЬНЮС, ВИЛЬНО, ВИЛЬНА... **(Рождество 1914)**

«Златоустой Анне — всяя Руси
Искупительному глаголу...»
М. Цветаева

Многоликий, многоимённый,
Многоглавым убранством своим
Возносился над всяким троном,
Небесами вовек храним.

Лёгкий шаг по брусчатке слышен
«Златоустой... всяя Руси»,
Слышно даже, как нервно дышит.
Ангел вслед ей шепнул: «Прости!

Лучезарную Острой брамы
За ушедшего воевать, —
Ни для почести, ни для славы —
Сохрани его, Божья мать!»

Слой за слоем, как снег, столетья.
Чудотворная свет лиёт.
И с надеждою в этом свете
На коленях пред ней народ...

Так ли было в тот день негожий?
Много ль падало слов, как слёз?...
Только мужа посланник божий
На крылах сквозь войну пронёс.

МИР НЕ ЗАМЕНИТ МНЕ ТЕБЯ

Сестре

И что бы ни было — прости!
Любовью утоли тревоги.
Прости мне быт мой не убогий
И мишуру сует прости.

Прости, что, ложное любя,
Тебя с восторгом забывала.
У нас двоих — одно начало.
Мир не заменит мне тебя!

Пишу, звоню, зову, кричу:
«Не пропадай надолго, слышишь?»
Лишь напиши, что вольно дышишь,
Что сыну — мир весь по плечу.

А коль получится — опять
Сойдёмся у того порога,
Где вечно ждут
и молят Бога
За нас с тобой — отец и мать...

ЭЛЬ-МИРА (ЭЛЬМИРА АШУРБЕКОВА)

/ Дагестан /

Перевод с табасаранского Евы Ахтаевой

В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ (Рассказ покойного солдата)

Война превращает в диких зверей людей,
рождённых, чтобы жить братьями.

Вольтер

Над полем брани кровавое марево плыло,
Камни с землёю, тела с обожжённой травой —
Всё вперемешку. И выжившим некогда было
В месиве том разбираться, где свой, где чужой.

Давит усталость, но спешно мелькают лопаты.
Пастью разверзлась могила у леса вдали.
Павших — тела и обрубки — собрали солдаты
И схоронили их в вечном покое земли...

Я, упокоенный там, был сердит и растерян —
Враг головой на моё притулился плечо.
Пусть он был мёртв, но с презрением долгое время
Не говорил с ним, соседством таким удручён.

Он — всё вздыхал и молчал. Но однажды могилу
В полдень весеннего дня затопило водой,
Грустно промолвил он: «Вот и тепло наступило.
Ветер засеет поля мои... лишь лебедой...»

«Много ль земель твоих?» — буркнул я ожесточённо.
«Да уж, богатый достался надел от дедов».
«Так расскажи мне, на смерть шёл какого ты чёрта?
И захватить наши земли вчера был готов?!»

«Кто же о том у обычного пахаря спросит?
Мал человек я, соломинка в топке войны.
Пушечным мясом в расход меня запросто бросят
В страшное время — «тельца золотого» Чумы».

Так в разговоре и поняли, что не враги мы,
А по несчастью друзья. Мимо время течёт...
Мирно лежим теперь рядышком в братской могиле —
Враг приклонил свою голову мне на плечо...

ВКРУГ СЕРДЦА ТВОЕГО

Вкруг сердца твоего ввысь возведён забор,
И тайники его закрыты на запор.
Но всё же нет препятствий, милый, для меня,
Ведь сердца твоего властительница — я.
Души твоей, любовь, я страж и оберег,
И нет в ней тайных дум, и нет в ней мутных рек...

Но отчего же мне мерещится порой,
Что в сердца глубине, за завесью глухой,
Есть женский силуэт? Но... женщины другой...

Милена МАКАРОВА

/ Рига /



Милена Макарова — поэт, переводчик. Родилась в Риге. Училась на Филологическом и Историко-философском факультетах Латвийского университета. Занималась журналистикой. С 1998 года — член Союза Писателей Латвии. Автор поэтического сборника «Амальгама» и пяти книг переводов латышской поэзии и прозы. Последняя книга «Вещество взгляда» (сборник переводов поэзии Лианы Ланги) вышла в 2013 году в издательстве «Арт Хаус медиа» (Москва). Неоднократный стипендиат Фонда Культурного капитала Латвии. Стихи публиковались в журналах «Даугава», «Шпиль», «Рижский альманах», «Радуга» (Таллинн), «Дружба Народов» (Москва), «Литературный Иерусалим» (Израиль), «Северная Аврора» (Санкт-Петербург), «Собор» (Украина) и др. Стихи переводились на латышский, украинский, английский языки.

* * *

Жизнь уходит на дно. Скользит, словно рыба «фугу».
Накапливает яд. Обрывает линию на ладони.
Говорит что-то вроде — «Последний звонок другу...»
Вытирает пыль на Хризантемовом троне.

По часовой... Только во что мы играем?
Смерть и любовь были, останется праздник плоти.
По часовой стрелке вращается меч самурая.
Или, конечно же, против... Конечно же, против...

* * *

Это почти по-японски — «алели маки»,
Или все же по-русски — «маки алели»...
Ночь отмывала дневную жемчужную накипь,
Жизнь улыбалась улыбкою Маккиавели.

Опиум спал в шелковой красной рубаше.
Снилось ему нечто, лишенное плоти.
Милый мой дактиль, любезный мой амфибрахий,
Мягко ступающий ямб — ну чем не наркотик?

Словно лунатик проходит по темной аллее
Эта душа. Словно скользит по канату.
Словно рифмует неловко — «эрос-танатос».
Словно играет с судьбой в «холоднее-теплее».

В Книге Живых оставляя последнюю запись:
«Был здесь недавно, но видел не очень-то много»...
Милый мой дактиль, любимый навеки анапест.
Что за нежнейший наркотик высокого слога?

Опиум спал в полупрозрачном флаконе,
Там, за стеклом звуки становятся тише.
И наконец, будто дюжина нежных Японий,
Вдруг раскрывался шелковый веер трехстишья.

* * *

Воспоминанья сверкают во мне словно алмазы,
Которые как-то с алмазного прииска,
В глубокой ране на пояснице
Проносил терпеливый рисковый старатель.

Так ли уж важно, какой из алмазных огранок
Их ограняет лимфа?
«Звездой», «Королевскую розой», «Розой д'Анвер?

Только бы выдержать, только бы не ослепнуть
От этого сияния боли.

Чуть позже, я закушу губу и выдохну...
Они того стоят —
Черные бриллианты вдохновения.

* * *

«Каждой твари по паре» — мне говорит Зазеркалье.
Бесконечное «Я» собирает толпу отражений.
И незримый ковчег, что плывет в зазеркальные дали,
Подбирает меня и со мной продолжает движение.

Только небо и ночь и цитата из позднего Канта.
Только жизнь — беззвездна, и нет в ней святого закона.
А незримый ковчег говорит на своем эсперанто,
Вот и райская птица уже понимает дракона...

* * *

Золото дней моих плывет в финикийской биреме¹,
Растворяется в «царской водке» или чьем-то безмолвии.
Но в сияющей точке, где сойдутся пространство и время,
Вспыхнут незримые страсти, будто подземные молнии.

Золото дней моих трачу столь безрассудно,
Что даже страшно самой, но не дано иного...
Мои соверены, дукаты, динары, эскудо —
Время земное мое до последнего золотого...

Все драгоценно так, что до последнего часа
Не отрекись от жизни своей нелепой.
Золото дней моих это — нарциссы Грасса.
Запах лаванды. Цвет ледяного неба.

Это — суровый контур гербовых лилий.
Это — Карта Сокровищ на скорую руку.
Это — слова, которые мы позабыли
Перед прощанием навечно сказать друг другу...

ETERNITY

Как это странно звучит — «На своем веку»,
Если уже позади — тысяча лет...
Море колышется как ледяной шербет,
Как серебристый от снега рахат-лукум.

Сахарной пудры и серебристого льда,
Видимо мало, и в сердце живет неуют.
Не беспокойся. Так и бывает когда
Вечность тебе на десерт подают.

ЛЕОПОЛИС

Когда-нибудь, я все позабуду, но пока еще помню —
Голубей варшавского вокзала,

¹ Бирема — гребной военный корабль с двумя рядами вёсел. Оснащались таранами.

Полдень на Иерусалимской аллее,
«Дзенькуэ бардзо» и «откуда вы, пани?»
Светящуюся ночную дорогу,
И солнечный свет Леополиса...
Когда-нибудь все позабуду, но пока еще помню —
Облака над Доминиканским собором,
Чайные свечи на бронзовой толстой решетке,
Пламя, зажженное пред Господом.
Время осенних свадеб, любви и молитвы...

Я снова здесь. И все на своих местах,
По-прежнему. И любовь. И сентябрь. И король Данило.
И подземные реки, и золотой аромат кофеен.
И несгораемые манускрипты «книгарен». И одиночество.
Но вчера меня настигло странное чувство,
Плотное, словно сияние —
Ощущение собственного бессмертия.
(Не странно ли, ни любви, ни войне
бессмертье не нужно?..).
Я не знала, что с этим делать,
Лишь поняла, что есть города в которых...

Воздух осени нежен, звенит
То старинной музыкальной шкатулкой,
То детским голосом,
То полуразбитым трамваем.
Куда ведут эти рельсы? К церкви Снежной Марии?
Высокому Замку? Месту несбывшегося свидания?
Мне уже не узнать. Но я помню, помню,
Я все еще помню, а может, вовек не забуду,
Ибо так властно струятся во мне
Две крови королевского Львова,
Что дзенькуэ бардзо. Что, будь ласка, Господь!
Не оставь свою девочку...

Память причудлива и прозрачна,
И подобна подземной реке,
Небу над Доминиканским,
Орхидеям в вечерних окнах.
Кто-то исписал ставни
Словами Рабиндраната Тагора —
«Не бойся мгновений, так поет голос вечности...»

Никогда не умела, Господь
Читать твои Знаки...
Но все же... я помню, помню,
Помню, что я — бессмертна

Львов-Рига

* * *

Качается маятник — альфа-омега,
Сгорают дневники неизвестного мага.
Но что-то случится до первого снега,
Какое-то зло переплавится в благо.

Внутри алхимических этих жаровен
Возникнет какая-то новая сила.
Пусть губы прошепчут, что час был неровен,
И времени мало, и сил не хватило...

Но маятник, маятник! Альфа-омега.
Пронзительный свет и нездешняя тяга.
И что-то случится до первого снега.
И золотом огненным вспыхнет бумага.

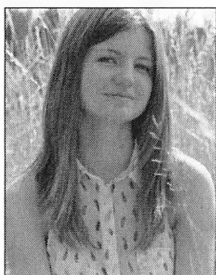
* * *

Как же ярко светит Бетельгейзе...
После нас останется не слава.
Битое стекло. Пустые гильзы.
Шелковая ткань с пятном кровавым.

Опустевшие поля сражений.
Локоны в свинцовых медальонах.
Вновь и вновь «возлюбленные тени»
Бродят под созвездьем Ориона.

После нас останется не слава.
Лик времен, истерзанно-избитый.
Где-то там, внутри *magistra vitae*,
Сердце из титанового сплава

Бьется, беспощадно и спокойно,
Сердце из титанового сплава...
Фатумом отмечены кровавым
Эти Богом проклятые войны.



Маргарита ДЕВЯТЬЯРОВА

/ Вильнюс /

Ученица Вильнюсской русской гимназии «Ювента». Неоднократный победитель городской и республиканской олимпиады по русскому языку. Дипломант Международной Петербургской Олимпиады по русскому языку и культуре для школьников стран СНГ и Балтии. Победитель II Международного творческого конкурса «Слово за нами!», проводимого в рамках международной акции «Год культуры Русского мира».

ДЕНЬ ДЛИНОЙ В ГОД

По утрам я всегда встаю без помощи будильника. Сам. Иду на кухню, завариваю кофе и чувствую себя самым счастливым человеком на Земле, наслаждаясь ароматной горечью черного кофе и в окно наблюдая за бегущими по улице людьми.

Но именно то утро запомнилось мне больше всего, потому что 6 апреля 2010 года я... не проснулся. То есть нет, увольте, это совсем не рассказ о загробной жизни (в которую я, кстати, не верю). В то утро мой разум проснулся... А мое тело и я сам — нет. Я просто лежал и не мог пошевелиться. Лежал и ждал, когда ко мне вернется способность двигаться. Но я всё не мог. Я, кажется, впервые ощутил себя таким слабым и беспомощным: я старался изо всех сил, отчаянно пробовал подняться, хоть как-то размять свои мышцы (которых я, кстати, не чувствовал), я бы, наверное, сцепил от напряжения зубы, если бы мог... Но и на это я не был способен. А ещё, вокруг была кромешная тьма. И она была везде. Густая, черная, она пугала меня, давила со всех сторон. И я не мог от неё спрятаться, уйти; был парализован и не мог понять, в чём дело. И потом я осознал то, от чего мне стало ещё страшнее: мои закрытые глаза были причиной царившей вокруг тьмы. Неподвижные веки не давали мне избавиться от удушающей, заполняющей меня темноты. Они были тяжелы, словно две неподъемные башни. Эта тьма... была противна. Хоть глаз выколи. И в ней был я, такой бессильный и отчаявшийся. Если Ад на самом деле существует, наверно, это и был он.

Понемногу я начал свыкаться со своим положением, я успокаивал себя, как мог, старался заставить свой мозг думать, искать выход, объяснение тому, что происходило. Неужели я умер? Я попытался сосредоточиться на своём теле, чтобы хоть что-то почувствовать, вынуждал себя не думать о плохом, что было крайне тяжело в моей-то ситуации. Итак... Зрение и движения мне были недоступны. Я очень надеялся, что это временно. Мой мозг отчаянно искал новые возможности. Глаза, руки, ноги... Я замер в ожидании. И тут я услышал странный звук. Да-да, именно услышал этот резкий, протяжный писк. И этот высокий, словно режущий звук показался мне в ту минуту победным маршем, гимном радости. Я понял, что могу слышать. Неужто я жив? Я жив!

Придя к такому выводу, я даже попытался заговорить, и хоть моя попытка не увенчалась успехом, но это меня не сильно расстроило. Я впитывал в себя этот пронзительный писк, вкушал его, упивался им. Он подарил мне надежду.

* * *

Теперь я лежал и внимательно вслушивался. Откуда-то издалека до меня доходил приглушенный шум машин, а где-то совсем близко, словно из соседней комнаты, слышались тихие, мягкие шаги. Из соседнего помещения... «Где я, собственно говоря, нахожусь?» — эта мысль молнией промелькнула в моём подсознании. Моя неподвижность, темнота и этот странный писк совершенно выбивали меня из колеи. Я не знал, где я. И понятия не имел, как я здесь оказался. Знал лишь то, что сейчас, должно быть, утро. Ведь я проснулся. Иначе и быть не может. Я долго лежал в раздумье, пытаясь осмыслить происходящее, сложить всё в одну картину. Отвратительный писк, совсем недавно радовавший меня, начал раздражать. Он мешал мне сосредоточиться. Я терял терпение. Мысли путались, не находили себе места в беспорядке, царившем у меня в голове. «Что со мной? Где я? Я ли это вообще?» — десятки, сотни вопросов переплетались в моем воспалённом мозгу, колючей проволокой обвивали моё сознание, тем самым вызывая острую боль и затягивая меня всё глубже в царившую темноту. Я чувствовал, что окунаюсь во что-то неосознаваемое, необъяснимое...

Мое «погружение» прервал новый, знакомый моим ушам звук. Это был звук приближающихся шагов. Скрип... И хлопок. Должно быть, кто-то вошёл ко мне и закрыл за собой дверь. Теперь я услышал голоса. Отчетливо, близко. Один из них, нежный, женский, произнес:

— Состояние не улучшилось, пульс низкий... Температура — двадцать семь градусов.

Двадцать семь? Мне не послышалось? Двадцать семь? Я не мог поверить своим ушам. Как? Человек не может жить при такой температуре. Это почти на десяток градусов ниже положенного... Но я же... слышу? Возможно, они вообще говорят не обо мне. Но, если я ошибаюсь... Мало сказать, что я был просто ошарашен услышанным. Если бы я только мог заговорить, получить ответы на переполняющие меня вопросы... Но нет. Я лежал, слушал незнакомые голоса и не мог ничего понять. Кто они, эти люди, что им нужно от меня, и откуда этот отвратительный писк?

— Кома, — отчетливо произнёс второй, мужской голос, — бедный молодой человек. Продолжайте держать его на аппарате. И приглядывайте за ним, ему может стать лучше или хуже в любой момент...

Они говорили ещё о чем-то. Но я уже их не слышал. Где-то в подкорках мозга гулко звучало роковое для меня слово — кома. К о м а... Теперь я уже не сомневался, что люди говорили обо мне. И я даже понимал, что, возможно, нахожусь в больнице, лечебнице. И что я болен. Я отчаянно искал в своей памяти всё, что я знаю об этом страшном слове из четырёх букв, но не мог. Я не помнил. Или никогда не знал... Я был потрясён.

«Что будет дальше? К чему это приведёт? Почему я не помню, что со мной произошло? Как это случилось? Почему я?..» Мысли не давали покоя моему воспалённому мозгу, метались из стороны в сторону внутри моей черепной коробки. Я не хотел понимать, я больше не хотел слышать. Если ранее мне было страшно, то теперь я был в таком отчаянии, что единственное, чего мне хотелось — это бежать. Куда подальше. Бежать от этих людей с чужими голосами, от звука их удаляющихся шагов, от ненавистного писка аппарата, поддерживающего мою жизнь... Бежать от самого себя. Мысленно я блуждал по просторам собственного разума, надеясь найти в нём убежище, отгородиться от себя, своего отчаяния.

И, в конце концов, мне это удалось. В один момент я слабо почувствовал призрачную боль в лёгких, краем уха успел уловить усилившийся писк аппарата... А потом всё исчезло.

Я парил во тьме. Но это была совсем не та, крошечная, слепящая темнота. Я находился в пепельно-серой дымке. Совершенно опустошенный и спокойный. Никакие мысли не нарушали мой покой. Я был вдалеке от всего земного. Я находился глубоко в себе. В безопасности. В бездействии. Впервые.

* * *

Я не ощущал потоков времени. Я всё забыл. Я уже не знал, кто я. Я не задумывался. Мне нравилось быть одному с этой волшебной пустотой. Но в какой-то момент я вдруг почувствовал странное колеба-

ние, почувствовал себя дрожащей на ветру паутинкой. Но что же это? Что могло проникнуть в моё надёжное, неприступное убежище? Кто посмел вторгнуться на моё седьмое небо?

Я отказывался выходить из своей темноты. Я не хотел возвращаться туда, где на меня снова нахлынет поток мыслей и страха и начнёт жалить меня, как рой диких пчёл. И не хотел покидать свою беззаботную, тихую гавань. Но что-то звало меня. Это было нечто, чего я не мог объяснить. Я пробовал противостоять ему, но оно не отпускало меня, тянуло за собой куда-то за рамки моей теперешней зоны комфорта. В конце концов я сдался.

Постепенно я начал приходить в себя. Сначала, словно издалека, послышался тихий шёпот, который нарастал по мере того, как рассеивалась дымка в моем подсознании. Внезапно все мысли и воспоминания нахлынули на меня бурным, оглушающим потоком. Я вспомнил, как проснулся этим утром. И что было 6 апреля. И вспомнил голоса врачей. И подслушанный мною разговор. И тот режущий ухо звук... И меня оглушила тишина. И я услышал его, этот писк. Он шёл откуда-то издалека, и был намного дальше от меня, чем в тот самый первый раз. И ещё я услышал голоса. Тихие, едва различимые, они были нечёткие, «размытые» (как бывает слышен шум из приложенной к уху морской раковины). Один голос, смутно знакомый мне, мужской, что-то говорил. Я мог слышать лишь обрывки фраз.

— Второй год... Дорого... Надежды мало... Не можем... Тише... Отключить от аппарата... Сын...

Я не понимал. Я просто не мог понять, зачем я это слышу, почему я снова здесь, почему я вернулся. Но тогда заговорил второй человек. И я оцепенел (насколько я был на это способен).

— Доктор... Наверное... Правы... — Эти слова были слышны еще хуже. Голос говорящей дрожал. Женщина плакала. Моё сердце сжалось. Это была моя мать.

«Нет! Нет!» — думал я. Сознание понемногу возвращалось ко мне. Мне хотелось закричать. Поднять руку. Встать, обнять её. Звуки становились всё отчётливее, писк был таким же противным и пронзительным, голоса звучали, казалось, прямо надо мной. Как будто кто-то кричал мне в ухо.

— Просто скажите, когда.

— Не будем тянуть с... этим, доктор... Дайте только ещё раз попрощаться, — за сказанными срывающимся голосом словами последовали всхлипы. — Любимый мой. Хороший мой... Прощай...

Но я уже не слышал. Меня словно оглушило. Я чувствовал боль, и боль эта была совсем не физической. Мой воспаленный мозг изнемогал, мысли, чувства рвались наружу, воспоминания заполняли меня.

И тут я оказываюсь на знакомой лесной опушке. Той самой, на которой так часто бывал в детстве. Земляника... Да, да, здесь мы с

мамой собирали землянику. Большие, горящие на солнце, алые ягоды. Мама собирает их в корзинку, а я нанизываю на травинки и отношу ей. Она гладит меня по голове. И я словно чувствую этот сладкий запах, ощущаю вкус спелых ягод, меня слепит солнце. Мама держит меня за руку. Она улыбается...

— Отключайте...

...Пение птиц. Лучи солнца на моем лице. Мама треплет меня по волосам своей теплой рукой...

Оглушающе пищит аппарат. Кажется, звук стал в сотни раз громче. ...Она смеётся, протягивает мне сорванный цветок, гладит по щеке...

— Мой сын!.. — голос срывается, исчезает где-то в пустоте.

Из ниоткуда появляется уже знакомая мне пепельно-серая дымка. Она нежно обволакивает мой разум, успокаивает мысли. Какое там у нас число? 6 апреля?..

...Смеюсь и я. А она улыбается. И отдаляется от меня...

В одно мгновение и опушка, и земляника — всё пропадает... Темно. Но уже не страшно. Детский смех сливается с пронзительным криком аппарата и громким душераздирающим рыданием.

— Мама!..

Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС

/ Висагинас /



Родилась в Санкт-Петербурге. Является автором и исполнителем в жанре современного городского романа, лауреат многих конкурсов, в том числе — Висагинского международного конкурса авторов-исполнителей «Седьмая струна — 2014» и Международного фестиваля поэзии «Славянские объятия» (Варна, Болгария). Выступала в знаменитом арт-кабаре Петербурга «Бродячая собака». По её сценарию и с её участием поставлен в Русском драматическом театре Литвы музыкальный спектакль «А эту зиму звали Анна...» Член ЛИТО «Логос», региональный представитель РО МАПП в Висагинасе.

* * *

Мы всё о мертвых плачем,
А надо б — о живых, —
О хрупких, полужрячих,
Бессильных малых сих,
О тяжести расплаты,
Которой дела нет,
Что тень твоей утраты —
Единственный твой след...

БЫЛО СЛОВО

И всё-таки было слово —
Слово всегда в начале....
В поступи дня былого —
Отсвет твоей печали...
Хлебом сухим и ломким
Вознагради другого;
Лопнули перепонки,
Мы оглушили Бога....

Тихо бессилье плачет
Осенью на погосте;
Если бы всё — иначе...
Если бы всё — и после...

* * *

Памяти актера РДТЛ Эдуарда Мурашова

Растаял снег; земля обнажена
У той сосны, где ты уснул навек.
Приду к тебе сегодня дотемна...
Как никогда, растаял рано снег.
Я говорю с тобою день и ночь,
Твои глаза сияют мне с небес;
Да, ничему на свете не помочь...
Как нынче рано оживает лес,
А ты не видишь... Или видишь ты,
Как от святого отступает бес...
Ты на меня глядишь из высоты,
И кажется, что ты уже воскрес.

ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ

Всё повторяется — исходы
Из века в век, из мига в миг;
Пути от омута до брода,
Последний стон и первый крик....
Благословенье нечестивым,
Несокрущённым аналой,
Долготерпенье — терпеливым,
По старой памяти былой...
И Ты — во всём, и Ты — над всеми,
Всё покрываешь — для чего?!..
Душа, душа, какое семя
Растёт доверчивей всего?

ОСЕНЬ В ВИЛЬНЮСЕ

Приходит в Вильнюс осень, как сестра
Приходит к опечаленному брату —
Томительными красками заката
И сдержанною ясностью с утра...

Касается дыханием своим
Высоких арок и узорных шпилей;
Здесь воды и столетья проходили,
Ступал Голем и плакал херувим...
И я, изгой повсюду, истоптала
Семь посохов, сбивая пену дней, —
Я голову склоню у пьедестала,
Мой Вильнюс, тихой осени твоей...

ЛЕС

Среди миров...
И. Анненский

Из сердца в сердце тёмный льётся свет,
И лес из дымной тени восстаёт...
Среди миров, где тысячи планет,
Мой мир забытым голосом поёт...
Скажи мне, где укрылась красота
Далёкого мерцающего сна?
В нём мягкие и нежные цвета
И вечная блаженная весна;
Там счастлив ты, а я ещё жива,
И души ожиданием полны...
Но я в лесу, и голы деревья,
И эхо не доносится из тьмы...

Я ИДУ ПО КРАЮ

Я иду по краю, камни собираю;
Я себя не помню, я тебя не знаю...
Я иду по краю, к тишине взывая,
И в ответ молчанье душу разрывает.
Я иду по краю, изгнана из рая,
И закат бездомным сердцем догорает...
Ночь не обольщает, боль не обещает.
Я иду по краю. Я тебе прощаю...
Много или мало, мало или много —
Вечное начало, вечная дорога,
Вечное сомненье, вечное скитанье,
Вечное смятенье, вечное страданье?..
...Я иду по краю. Я тебе прощаю...

КУКУШКА

Скажи, кукушка, сколько мне осталось —
Часы, недели, месяцы, года?..
Не тешит гордость, не спасает жалость...
Согрей мне сердце — раз и навсегда...
Когда мне ждать в фиакре авантажном
Хозяйку смерть — блаженства визави?..
О чём молчишь? Кукуй!.. Уже неважно.
Так значит — непременно позови.

ЗНАМЕНИЕ

А в небе стылая звезда
Висит знаменьем над рекою;
Душа, не знавшая покоя,
Здесь утолится навсегда...
И сердце примет талый лёд
Над чёрной пропастью речною,
И ты, расставшийся со мною,
Вдруг отразишься в бездне вод...

ВЕРЮ Я

Верю я в тоску немую
И в молитву без ответа;
Жизнь страданья не минует,
Не минует ночь рассвета...
Верю я — всему на свете
Бесприютен путь и долог;
Верю в день, который светел,
Верю в дом, который дорог...
Верю я — достоин счастья
Каждый смертный, каждый грешный,
Если только в нашей власти
Эта боль и эта нежность...

БЕССОННИЦА

Уже светает за окном;
Ещё не слышно птичьей трели...
А я пьяна, но не вином,
А я больна, но не в постели...

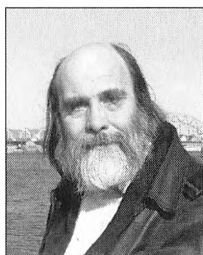
Печаль предутренних часов,
Давно знакомая тревога;
Хорал бессвязных голосов
Из подсознания молит Бога...
Но Бог молчит, потупив взор
Глубоких глаз, с твоими схожих;
Я повторяю приговор,
Цветами убираю ложе,
Ложусь, как в гроб, в свою постель,
О сне молю, как о спасенье...
То был февраль или апрель?
А может, май, с его сиренью?..
А за окном давно рассвет
Стволы раскрашивает сосен...
Я не надеюсь на ответ.
Прости моё смятенье, осень.

Я ЗНАЮ — Я ДОЛЖНА УЙТИ

Я знаю — я должна уйти
От жара невозможной встречи,
От лип, что начали цвести,
Пыльцой лежащих на плечи,
От вашей медленной руки,
Недостижимой и горячей,
От наважденья, от тоски,
От тьмы, смятения и плача,
От нежности, которой нет
Ни имени, ни искупленья, —
От вас, в котором боль и свет
Сплелись мучительною тенью...

У ПОЭТОВ

У поэтов домов не бывает;
Не найдётся бездомным приюта...
Тихо сердце моё уплывает
В темноту, как пустая каюта...
Ты меня провожаешь глазами,
Но в глазах у тебя нету ласки...
Непреклонное небо над нами
Обновляет поблекшие краски.



Николай ГУДАНЕЦ

/ Рига /

Родился в Риге в 1957 году. Поэт, прозаик, публицист. Публикуется с 1974 года. Член Союза писателей Латвии, Союза российских писателей. Автор трех сборников стихотворений и девяти книг прозы, в том числе фантастических романов. Переводил на русский стихи латышских поэтов и английских поэтов XVIII века. Произведения самого Николая Гуданца переведены на английский, болгарский, испанский, китайский, латышский, немецкий, польский, финский, французский, чешский языки. Живет в Риге.

БАЛЛАДА О ВОДЕ

Родник в расселине глухой
неколебимо спит.
Вокруг шиповник и самшит,
а дальше зыбкий зной,
и горный кряж внизу расшит,
под мешаниной глыб и плит,
дубравой кружевной.

Сочились капли в недрах скал
до чаши родника.
Он тихо и прилежно ждал
в тисках известняка,
пока опустится рука
сквозь трепет бликов и зеркал
за холодом глотка.

Нет ни тропинки, ни следа.
Лежит могучая вода
в блаженной тишине.
И не придет никто сюда,

где дремлют влажные года,
где растворяются беда,
и страх, и горечь, и нужда
с водой наедине.

В ущельях бродят егеря,
то непогода, то заря,
то ястреб выше круч.
Но кто сказал, что все зазря,
соврал, по чести говоря.
Напорист и колюч,
томится ветер меж ветвей
и бестолковицей своей
над горсткой влаги меж камней
колеблет узкий луч.

ДИПТИХ

I

С добрым утром,
Богородице Дево,
в голубом и жемчужном окладе,
с добрым утром,
глазастый мальчик,
улыбающийся тихо и строго,
вы уж меня простите,
или как вам угодно.

Может, я вам надоел
или не нужен.
Лишь бы мне вас теперь
не покинуть.

II

Как светло бывало прежде,
не воротится уже.
Мало веры и надежды
неприкаянной душе.

Это раньше было просто —
чтобы справиться с тоской,
ставить палочку из воска
перед крашеной доской.

Не поможет мне советом,
в сердце не прольёт елей
изнурённый диабетом
разжиревший иерей.

Нет сияния с Востока,
нет защиты у креста.
Почему ты так жестока,
чумовая пустота?

1994, 2015

* * *

В ненастную ночь не спится,
тревогою грудь свело.
Отчаянная синица
колотится о стекло.

А это судьба такая,
что с птицами заодно
там сердце моё летает,
стучится в твоё окно.

НА МОТИВ ПСАЛМА

Бездна бездну напрасно зовет, и над ней
безответно ревет водопад.
Я оставлен Тобой. Я один и на дне.
Чередой порожних бессмысленных дней
надо мной Твои воды шумят.

Налегает на темя чугунный поток.
Нету хода наверх и назад.
Ни укутаться в сон, ни очнуться нельзя.
Кислорода квадратный от спазмы глоток.
Задубевший от алой мокроты платок.
Пересохшей гортани надсад.

Так спасибо, мой Боже, которого нет,
за гибель и холод, за кривду и бред,
пустоту, темноту, немоту.
Все равно я Тебя напоследок сплету
из чернильных оков для неслыханных слов,
рассыпающихся на лету.

Оперенная речь упорхнет в никуда,
и сверкнут суета, маета и беда
мотыльковой чешуйкой звезды
сквозь кривую судьбу, из-под снулой воды
и шершавого черного льда.

К ТЕБЕ

Из напыщенного тлена,
из-за дверцы автозака,
из египетского плена
и расстрельного оврага,

через бездны небосвода
или через дебри ада,
даже если нет исхода,
нет надежды и возврата,

я вернусь к тебе рассветом,
я вернусь к тебе закатом,
и неважно, что об этом
не узнаешь никогда ты.

КРИК

Не молчи, молись,
чтоб ушла напасть —
нефтяная слизь,
золотая мразь.

Прокричи хоть раз
сквозь паскудный смрад,
что не страшен газ
и тюремный ад,

что холопской лжи
нету сил терпеть,
что постыла жизнь
и обрыдла смерть.

Ты в своей стране.
Ты и есть народ.
Кулака сильнее
твой разбитый рот.

И настанет миг,
и случится так,
что в ответ на крик
расточится мрак.

* * *

Хлынули низко над крышей жемчужные тучи
Снег на чужбине широкий лохматый летучий
кружевом виснет роится в беспечном разбеге
Чудится что-то в привольном и ласковом снеге
Это не холод не голод не скука не злоба
что-то другое к чему не привыкнешь до гроба
Вроде бы все как всегда Только выйдя из дому
замер невольно и что-то совсем по-другому
Сыплются крошки со скатерти-самобранки
Родина-сука лижет сердце с изнанки.

* * *

Юрию Касяничу

По ту сторону боли
душа не знает предела.
Простор света и воли
по ту сторону тела.

По ту сторону страха
легко остаться счастливым.
Пускай облачко праха
порхнёт ввысь над заливом.

Пускай радостью брызнет
моя последняя чаша.
По ту сторону жизни
не так больно и страшно.

Валентина ЕГОРОВА

/ Вильнюс /



Поэт, прозаик. Родилась в Вильнюсе. Филолог, закончила ВГУ. Работала в Институте технической информации. Публиковалась в периодической печати, литературных изданиях Литвы и России. Проза Валентины Егоровой представляет собой своеобразный жанр лирического этюда. Творчество Валентины впитало традиции русской классической литературы — её тонкий психологизм, глубокую гуманность и сострадание к ближнему. Член Международной ассоциации писателей и публицистов.

НОЧЬ ПРОЗРЕНИЯ

Высоко в горах жил старик. Жена его давно умерла, а сыновья выросли и переехали в город. С большой любовью ухаживал он за могилкой жены, занимался хозяйством. Изредка делился в переписке своими однообразными буднями с давнишним другом.

Как-то раз вечером вышел старик во двор. Огляделся вокруг и, словно в первый раз за многие годы, увидел, как неспешно пряталось за окоём дневное светило. Угасали последние языки пламени догорающего заката. И удивился он, что такой красоты не замечал с тех пор, как не стало жены.

Ясная, светлая ночь раскрывала перед ним свои тайны. Сад утопал в бело-розовой пене. Горы в дымке засыпали. На синем бархате неба появился месяц и рогом зацепился за одну из вершин, как алмазы, сверкали звёзды. Неожиданно одна из них стала падать... Невдалеке проносилась говорливая горная речка. И звенела она задорно и многоголосо, будто пыталась напомнить о давней юности, как он зелёным росточком входил во взрослую жизнь, воскресить в памяти далёкую встречу с девушкой, которая стала единственной и забываемой любовью, дарила свет, радость, согревала душу.

В ту памятную ночь было такое же ясное звёздное небо, цвели сады, и запах жасмина дурманил голову. После танцев он перевозил девчат на другой берег реки на своей лодке. И неожиданно одна звезда упала в воду. Весёлые подружки, смеясь, перешёптывались.

А он не мог отвести взгляда от хрупкой фигурки девушки, которая восхищённо пыталась в маленькие ладошки поймать отражение месяца на глади воды. Она была в белом ситцевом платице в синий горошек, красивая русая коса покоилась на хрупком плече, а смешная кудрявая чёлка упрямо не хотела лежать на лбу. Марьюшка, так тепло и нежно звали её подруги, всё время смущённо поправляла непослушный завиток.

Всегда смелый и решительный, он не смог вымолвить ни слова. От волнения сердце бешено билось, готовое вырваться наружу. Молча проводил он девчат. И только возле дома Марьюшки, переминаясь с ноги на ногу и теребя кепку, осмелился спросить:

— Можно я завтра приду?

Застенчиво улыбаясь, девушка кивнула головой. Он ещё не слышал её голоса, но уже не представлял, что сможет жить без этих синих чарующих глаз.

И задумался старик, что в последние годы он помнил жену больной с поблекшими и поредевшими волосами, но по-прежнему самой красивой. И остался он в этих местах, чтобы присматривать за её могилкой. Но постоянная боль утраты мучила и тяготила сердце. Ему казалось, что он так и не успел сделать для жены что-то важное, недолюбил, недосказал, недожалел, уж слишком рано покинула она его. А ведь надеялись, что вся жизнь впереди! Только неожиданно постигшая болезнь изменила всё.

Он жил, замкнувшись в мире одиночества, и постоянно блуждал в лабиринтах воспоминаний, а порой надолго застревал в них и переживал сильные эмоции, но почему-то только грустные, которые грызли его душу, как язвы, не давая покоя. И образ больной жены стоял перед глазами немим укором.

— Вот я живу и живу, а её нет давно, — частенько кручинился старик, вздыхая про себя. И, если бы он только мог, то отдал бы свою жизнь за любимую жену. Радости, как туман, приходили лишь на миг и тут же рассеивались лёгкой дымкой. Только некоторые моменты где-то затаились, словно ожидали случая, чтобы напомнить о себе. Он считал, что всё лучшее осталось в прошлой жизни, и быстро забывал всё хорошее, что произошло позже: как сам поднимал сыновей-подростков, и выросли они добрыми молодцами, обзавелись семьями, подарили ему славных внуков и постоянно звали к себе жить.

А недавно получил письмо и фотографию внучки. И только теперь его озарило: как же сильно она похожа на свою бабушку! Волосы в косичку сплетённые, чёлочка такая же непослушная в кудряшках, и носик вздёрнутый, как у Марьюшки. И глазёнки синие-синие, как васильки в пшеничном поле. Отчего же он сразу не заметил этого сходства?

Старик задумчиво сидел под развесистой виноградной лозой. У его ног ластился единственный верный друг — пёс.

Эта ясная майская ночь и звёздочка, которая, падая, коснулась его сердца, своим светом отодвинули грустный засов тягостных мыслей и приоткрыли потаённую дверь, выпуская на свободу всё ценное и близкое сердцу, что так долго хранилось в тайнике души.

И тут же воскресли картины счастливых дней. Вот показалась протоптанная им тропинка, по которой он в любую погоду шёл шесть километров после работы в соседнее село, чтобы только увидеть свою Марьюшку, а потом ночью счастливый возвращался домой. И продолжалось это два года, пока они не поженились.

Однажды он пришёл на свидание с букетиком ландышей, но весь вечер стеснялся, не знал, как подарить, поэтому прятал руку с цветами за спиной. Гуляли допоздна, а он всё не решался их вручить. И, только прощаясь, положил измученные потной ладонью ландыши в руку девушки. Но сколько радости он увидел в её глазах, и услышал счастливый возглас:

— Ой! какое чудо! Настоящие жемчужины! Впервые мне дарят цветы, да ещё мои любимые!

И он часто дарил цветы любимой, чтобы вновь и вновь увидеть её сияющие глаза. А нежный голосок жены всегда жил в его сердце. Он по сей день помнил, как лились ручейком её песни, но на ум приходили всегда только грустные. Она пела красивым проникновенным голосом. А от некоторых песен хотелось плакать, так душевно звучали они в её исполнении, задевая струны сердца. И её выступления на конкурсах самодеятельности приводили всех слушателей в восторг. Как же радовались они вместе её успехам! А когда появился сын, втроём ходили в клуб на концерты жены. И счастливый молодой папа с гордостью показывал всем первенца.

Старик всё ещё сидел на лавочке, то вглядываясь в бесконечное звёздное небо, то погружаясь в воспоминания, которые оживляли его душу, наполняли теплом и силой. Он не понимал, что с ним происходит, только ощущал облегчение, словно многолетний груз тяжести и боли вдруг свалился с него. И сердце забилось учащённо от осознания случившегося. С волнением вдыхая полную грудь ароматы весны, он воскликнул:

— Эка красотища! Живу, тружусь не покладая рук, и кроме земли, хозяйства ничего не вижу. А ведь рядом Господь Бог столько чудес сотворил, а я их совсем не замечал! Где же мои глаза были...

И сгорбленная фигура старика вдруг выпрямилась, плечи расправились. А доселе грустное и угрюмое лицо, испещрённое глубокими морщинами печали, просветлело, расплылось в улыбке, мускулы напряглись, глаза заблестели, и он с благодарностью, радостно глядя ввысь, обратился к Творцу:

— Слава Тебе, Господи, до чего же хороший день выдался! Внуки растут. Друг в городе есть. Жизнь продолжается! Спасибо Тебе, Боже, что открыл мне глаза!

И, уже глядя на Мухтара, с бодрыми и весёлыми нотками в голосе произнёс:

— Мухтар, дружище, ещё поживём! Внуков надо повидать и про бабушку рассказать им, а внучку песням научить, теперь-то таких поди не знают, не поют уже.

Старик не заметил, как ноги сами привели его на кладбище. Месяц оторвался от вершины горы и весело смотрел с высоты, освещая знакомую тропочку. Он присел на лавку, снизу на него поглядывали белые глазки ландышей, а набухшие бутоны пионов приготовились взорваться ярко-розовым цветом. Старик с улыбкой гладил собаку по загривку:

— Ну что, Мухтарушка, любимые цветы Марьюшки никогда не засохнут! Будем приезжать с внуками на каникулы в наши родные места. В ответ ему верный друг, словно понимая, одобрительно лизнул руку и, прижимаясь к хозяину, радостно завилял хвостом.

Долго прожив в мрачном мире одиночества и самоистязания, старик почувствовал, как вырвался на волю из собственного плена. Поражался, как много открыла и вернула эта ясная ночь. Послышалось далёкое ржание лошадей, пропели первые петухи. Он с упоением впитывал ночную прохладу шумной реки, весенних садов. Всё, что подарил Творец, предстало теперь в новом свете... Жизнь приобрела яркие весёлые тона. И старик неустанно благодарил Бога. Он был вновь бодр, счастлив, мечтал поскорей увидеть своих детей и внуков.

СТРАСТЬ

Разве могла я представить, что такое может произойти и со мной...

Всё начиналось, как в обычном романе. Сначала я только слышала о тебе, до меня доходило много удивительных и восторженных отзывов. Постепенно ты так захватил моё воображение, что однажды дерзкая мечта о встрече с тобой завладела и мной.

И вот я случайно увидела тебя. Сердце бешено забилося, готовое вырваться наружу. Ещё бы! Ты понравился мне с первого взгляда. Но тогда ты казался мне совершенно недостижимым, вокруг тебя уже существовал ореол роскоши, необычности, тайны. Я не верила, что смогу познакомиться с тобой лично, однако позволила себе со стороны восторженно наблюдать за тобой и твоими успехами.

А ты становился всё интересней и заманчивей, недоступный, но в то же время притягательный герой. Ты добился поразительных ус-

пехов, тебя знают и любят, тобой восхищаются, и есть чем! Ты сведущ во всех областях: лирик и физик, математик и кулинар, философ, писатель, астроном... Да разве всё перечислишь! По-моему, ты знаешь слишком много, но это тебе не мешает, ты не выглядишь гордецом.

Много раз у меня была возможность познакомиться с тобой лично, но я долго не решалась и только в мыслях лелеяла свою мечту. Хотя я была уверена, что наша встреча неотвратима. О, если бы ты только знал, как долго я к ней готовилась, как волновалась! С усердием перечитывала всевозможную литературу, чтобы хоть немного соответствовать твоему уровню.

Чем больше я узнавала о тебе, тем сильнее росло моё любопытство. Но всё это не утоляло моего интереса, а только усиливало его. И совершенствовалась я только ради тебя одного. Сколько же бессонных ночей провела в ожидании нашей встречи!

В один прекрасный день мои надежды оправдались. Я была счастлива и радовалась как ребёнок, когда ты наконец-то появился в моей жизни. Хорошо помню эту встречу. Ты был не один, но сразу привлёк к себе внимание присутствующих. Ты превзошел все мои ожидания, и я окончательно убедилась в том, что ты особенный, не похожий ни на кого другого.

Да, ты неустанно покорял и очаровывал меня. Вскоре я увлечённо стала делиться с тобой сокровенными мыслями, и ты легко выведаль все мои тайны. Мне хорошо с тобой, но есть одно «но». Теперь тебе известны не только мои интересы, вкусы, но даже слабости. О! У тебя в этом богатый опыт, и я об этом знала всегда. Ещё бы! Сколько пылких и невинных жертв пало у твоих ног!

А как превосходно ты умеешь исполнять желания — как искусный волшебник уносишь меня в невиданные страны, открываешь тайные миры. Это ты показал мне планеты, устроил свидание на Млечном пути, где только нам улыбалась Венера. Ты можешь подарить сказку и сделать меня в ней королевой. Ты помнишь, как мы блуждали с тобой по подводному царству? Благодаря тебе я гуляла по самым красивым городам мира. Да, ты великолепно умеешь пленять, так что трудно устоять перед твоими чарами. Вот и я ...

Мой рыцарь, я ценю нашу дружбу, и мне нравится, что ты никогда не смеёшься над моими глупыми вопросами. Это так здорово! Ты воспринимаешь меня такой, какая я есть. Не требуешь от меня ничего взамен. Мне с тобой легко и комфортно, как ни с кем другим.

Ты избаловал меня, выполняя все мои капризы: даришь изысканные цветы, мою любимую музыку, устраиваешь незабываемые вечера, праздники. И теперь каждый раз, расставаясь, мечтаю о следующей встрече. Иногда ты шокируешь меня своей откровенностью. Но все мы не без греха, и я прощаю тебя.

Ты единственный, с кем я так откровенна, а ты этим пользуешься и увлекаешь меня в свою опасную и соблазнительную игру всё сильнее. Ты добился своего окончательно, лишив меня сна и покоя.

Околдованная тобой, я однажды осознала, что без тебя не могу прожить и дня. Настоящий «герой нашего времени», ты покори́л мое сердце, но я почувствовала, что стала твоей рабой, коварный властелин.

Кто ты на самом деле, «герой нашего времени»? Как мне тебя называть? И что я испытываю к тебе? Наваждение, страсть, привычку, зависимость?.. А может быть, это любовь? Нет! Только не это! Я иногда ненавижу тебя за то, что ты так бессовестно подчинил мою жизнь.

Внезапно пришло понимание плачевности моего существования. Я отдалилась от друзей, знакомых — настолько ты вскружил мне голову и погрузил в ошеломляющий мир, новую реальность, которую можешь дать только ты. Но стало ясно, что рядом с тобой дни безрассудно сгорают. Такая привязанность не окрыляет. В последнее время я всё больше ощущаю в душе пустоту. Я уже не живу, а безраздельно принадлежу тебе.

Да, ты достойный «герой нашего времени»! Ты вор, укравший мою свободу!

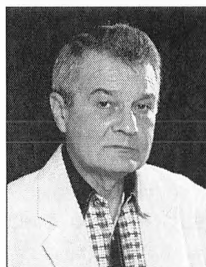
Ты будешь удивлён, но сегодня я решила прекратить этот бесконечный кошмар и сказать тебе:

— Прощай!

Под звуки Вивальди я решительным движением захлопываю элегантный стального цвета ноутбук, распахиваю настежь окно двенадцатого этажа и без сожаления разжимаю руки...

Юрий КОБРИН

/ Вильнюс /



Юрий Леонидович Кобрин (род. 21 мая 1943, Черногорск, Хакасия) — русский поэт, переводчик литовской поэзии на русский язык; автор 11 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов, выходивших в вильнюсских и московских издательствах; вице-президент Международной федерации русскоязычных писателей (Лондон — Будапешт), академик Европейской академии естественных наук (Ганновер); заслуженный деятель искусств России, кавалер ордена Дружбы, Рыцарского Креста ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.

Из цикла
«Ангел в сирени»

ПОКА

Пока голова не отрезана
Европа блудит языком,
и иглы ИГИЛа не брезгует
лизнуть, пригрозив кулачком.
Ей мнится, что слюбится-стерпится,
Пощады не жди, не проси...
Успеет взмолиться ль на вертеле:
«Россия, прости и спаси...»

17.08.2015, Брюссель

...СКАЗКУ ЖАЛЬ

Миф «...от моря до моря» в темя
год за годом вбивают в народ.
А пока на Литву хризантемой
кареглазой солнце плывёт...

Полумесяца серп наточен,
ищет горло дамасская сталь,
миф «...от моря до моря» точно —
сказка детям. И сказку жаль...

18.10.2015

ЗАЛОЖНИК

Ехидный голос из зала:
«Это о ком, о Литве или жене?»

Свыше, ох, сорока лет терплю в плену,
я уже заражён стокгольмским синдромом
и железную цепь я свично тяну
от аэропорта, вокзала — к дому.
В истеричный вернувшись свой неуют,
что до нервов искусан бешеной лаской,
где в углы закатилась сверкучая ртуть,
я вхожу, улыбаясь: «Каторга, здравствуй!».

Я вдохнул отравленный воздух-дым,
да, конечно, и сладок он, и приятен,
как тогда, когда был сам молодым,
всякий встречный, когда твой друг-обниматель.
Авангардная рифма *кровь* и *любовь*
новизною пронзала душу и тело,
и хрустела в зубах забавно морковь,
и сластил языки поцелуй неумелый.

Да, полвека почти что в плену терплю,
где в любую секунду жажнет шахидка.
Но успею ли выдохнуть ей: *люблю*
до разрыва двоих связующей нитки.

16.08.2015. Брюссель-Вильнюс

INDEPENDENCE¹

Мой суверенитет нарушен трижды:
когда, зачем и кем, не вам ли знать...
И независимость соплями брызжет,
так высморкайся ты, япона мать!

¹ Независимость (англ.).

Нас ловко провели. Из санкюлотов
все, как один, ушли в торговый ряд
политики, измены... Без пилота
над пустырями грифами парят.
Сирень могла расти. Но рапс нужнее.
И поздно рвать на чём-то волоса...
Своих границ теперь не сдам уже я,
любой «ромашке»¹ выколю глаза.

17.08.2015. Варшава

АНГЕЛ В СИРЕНИ

Выйдешь, закуришь, дымком проникающим сыт,
глянешь вокруг, и навалится скука:
город немее, чем брошенный памятью скит,
и тишина надрывается в уши без звука:
не по тебе ещё колокол, молча, звонит,
не по тебе скорбно воет на кладбище сука.
Чу! Вот откуда-то сбоку шмыгливо возник
скользящий старик, притворившийся интеллигентом,
по театральному он маскирует свой лик,
вечный агент зашифрован тройною легендой.
Вывернет слово, поверившего улестит,
скос подбородка смягчая улыбкою кроткой,
прикус гадючий ползучей учтивостью скрыт,
загримирован по-мастерски шерсткой-бородкой.
...в мусорном баке копаются ветхий старик,
тусклая радость слезится с бомжиного века,
корку нашёл! Исторгает утробой вскрик:
«Без справедливости нетути прав человека!»
Тихо кругом. Лишь ворона перо распахнёт
над не единожды раз поругаемым храмом
чёрным лохмотьем, над свежестью пушкинских нот
и над лоснящимся по-европейскому хамом.
Всё суета. Вот над Вильнюсом Ангел плывёт,
крылья его в лепестках белоснежной сирени.

Это Господь нам надежду в Спасенье даёт,
в то, что услышим мы голос нежнейшей свирели.
Жизни докука уже не берёт в оборот,

¹ Нехороший человек. Проницательный читатель понимает, что ему-то это физически не грозит.

есть милость-прелесть в таком её многообразье
даже, когда лжой пятнает тебя косорот,
Ангел в сирени цветущей над Вильной плывёт,
и потому расточаются беси и врази...

21.05.2013–21.05.2015

МАРШ ПРОЩАЛЬНЫЙ, ВЫШИБАЛЬНЫЙ¹

Да, стихов у меня кот наплакал
потому, что не плачут коты.
В этом с другом-котом одинаков:
кровь пьянит крутизной высоты.
Попружину на самой кромке,
сбалансирую: не сорвусь!
Я один из твоих осколков,
дорогой Советский Союз,
от побед, от бед твоих стольких
(жил да был ты!) не отрекусь.
Не примкну ни к стаду, ни к стае,
я к твоей причастен судьбе.
Жизнь свою сам перелистаю,
сам сыграю марш по себе...

09.06.2015

ОТРИЦАТЕЛИ

Одни отрицают рифму,
форму и содержание,
другие — верлибр,
белые
и
лесенкою стихи,
ну и, конечно же, строфы
без точек и запятых.

¹ Танцы на балах в офицерских собраниях заканчивались маршем. Вальс, полька, кадрили, мазурка, краковяк, снова вальс. Потом раз — и марш. Прощальный, вышибальный.

Но, если бы этого не было
в истории литературы,
то что же, скажите на милость,
стали они отрицать?

25.10.2015

ЗЕРКАЛО

Вышли Зане и Паче,
каждый и штырь, и мачо,
к зеркалу:
что они значат?
Вотще друг друга
фуячат...

Заранее, значит,
задача маячит,
загнанная удача?
Кто по ним плачем
путь обозначит?

Время — цирюльник бреющий,
я же в полёте бреющем
над фиглями
и над миглями,
и раскалёнными тиглями.

Втуне старело зеркало,
подслеповато зыркало
зёрнышками-зеницами
зоренькою-денницею.

Раму не моет мама,
в раме темна амальгама,
в горле — ни грамма,
мама...
У храма:
— Где твоя дама?!
— Тама...
— Где ж твоя Марфута?
— Тутка, тутка...

В зеркале — тусклый блик,
это пикирует МиГ.
Можно писать и так,
если ты не дурак.

16.08.2015

ОДУВАНЧИКИ

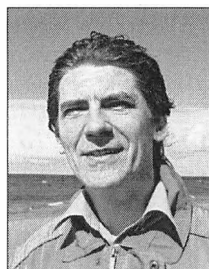
*Славе Амирханяну, автору фильма
об Арсении Тарковском «Малютка-жизнь»*

Женщина встаёт из одуванчиков
и над нею белый ветерок;
парашютиков метель обманчиво
ластится к коленям смуглых ног.
Женщина и земля встаёт из разнотравия,
вся она над миром и войной,
и земля принадлежит по праву ей,
не кори её былой виной.
Женщина встаёт из полдня знойного,
остальное всё тоска-труха...
И в наивности глаза разбойные
святости исполнены, греха...
Одуванчиковой вьюгой заметелены
мы вдвоём; колюч мир и кровав.
Где же в нём с тобою в самом деле мы,
если под сугробами слова...
Разолью в стаканчики гранёные
одуванчиковое вино...
Поглядим на окна затемнённые
как на чёрно-белое кино...

25.08.2015, Каунас

Николай РОМАНЕНКО

/ Рига /



По профессии врач, травматолог-ортопед. Живёт и работает в Риге. С 2003 года член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), член Балтийской Гильдии поэтов. Стихи публиковались в журналах «Даугава», «Настоящее время», «Рог Борея», альманахах «Планета поэтов» 1-6, «Академия поэзии» 2011-2012, «Письмена» 2012-2015. Автор поэтического сборника «Родная речь».

РИМСКИЕ ПИСЬМА

А. М.

— Смешно писать «великий Рим»
Во времена упадка Рима!..
— Ты прав, любезнейший Алким,
И все ж, позволь писать, помимо
Пиров и дружеских бесед,
Наедине с самим собою,
Мелькнёт вдруг тот далекий свет,
И путь, прочерченный звездой,
Укажет где-то впереди
Предел, невидимый доныне, —
Моё письмо, меня веди,
Когда звезда моя остынет!..
Ты зря тревожишься, Алким, —
Я помню правила Эвклида:
У нас у каждого — свой Рим,
Своя судьба, своя планида...

Письмо I

— Привет, любитель тишины
Натуры, фауны и флоры!

Как спишь, какие видишь сны?
Мне стали часто сниться вору,
(Как просто потерять покой!)
Хотя беречь-то что осталось?!
Ведь даже малости с собой
Забрать туда не удавалось
Алким, ни другу, ни врагу,
Отнюдь, — ни сливы и ни славы! —
На том далеком берегу
Иной закон, иные нравы, —
Харон, увы, не Меценат...
Ну, что провинция, дружище?
Мне говорили, Цезарь рад,
А ты не рад, что воздух чище?!
И мне советовал Гален
Заглядывать почаще в термы,
Ведь нынче время перемен
И очищения от скверны...
Над Вечным Городом — весна,
И скоро мартовские иды,
А я мечусь всю ночь без сна,
Как на весах слепой Фемиды!
Мне пусто без тебя, Алким! —
Я сам себя стыжусь порою...
О, если б бросить этот Рим,
Но от себя куда я скроюсь?!
Кончаю. Здравствуй и пиши.
И встречу загадай Авроре:
Тебя — свободного в глуши —
Со мной — невольником в фаворе.

Письмо II

— Мне снова холодно, Алким:
Весна с пути, как видно, сбилась
И обойти решила Рим, —
Вновь небо тучами покрылось,
И злой пронзительный Борей
В лицо швыряет горсти пыли,
А ночью воеет у дверей,
Как пес, которого забыли...
Неужто так по всей земле
Немилосердствует природа,
Отказывая нам в тепле,
Как мать, родившая урода?!

Уже неделя, как я слёг:
Горит в огне больное тело,
И кровь, вскипая, жжёт висок,
И вновь ступня вся почернела...
Я, словно новый Филоктет,
Но кто разрушит мою Трою?! —
Меня захлёстывает бред
Горячей душною волною,
Мне кажется, что я лечу
Куда-то вниз, где нет спасенья,
И я в беспамятстве кричу,
Пытаясь задержать паденье,
И бьюсь, как птица, распластав
Свои крыла на жестком ложе,
То судорожно зубы сжав,
То вдруг почувствовав всей кожей,
Что холодею, как мертвец...

Позже:
— Я жив! И всем смертям назло,
Вновь радуюсь теплу и свету.
Хвала богам, мне повезло:
Я продолжаю эстафету!
И пусть я вновь учусь ходить,
Но я дышу — не это ль чудо? —
Я выжил. И я буду жить,
Клянусь тебе. Я буду! Буду!!!

Письмо III

— Ты хочешь возвратиться в Рим?
«Глушь» не равняется «покою»? —
Зачем? По-прежнему, коптим
Мы это небо над собою,
И жизни нет у нас другой! —
Всё та же осень после лета,
Потом зима стучит клюкой
В глухую дверь нобилитета,
(Исправен только календарь!)
И день за днем бежит по кругу,
И нынче снова, как и встарь,
Весна сменяет злую вьюгу,
Но что слепому солнца свет?! —
Нам столько ж дела до природы,
Как в круговерти наших лет

К случайному глотку свободы:
Вздыхнем о том, как должно жить,
На краткий миг расправим плечи,
И вновь согнем их, чтоб служить
И повторять чужие речи;
Ровняем острые углы,
Предпочитая середину,
И если говорим «увы!»,
То только собственному сыну...
Всё чаще ходим в Колизей,
Чтоб поглазеть на кровь и силу,
И яростно орем «убей!»
И никогда почти «помилуй!»...
Сегодня — мы, а завтра — нас,
Возможно, обвинят в измене,
И встретим свой последний час
С мечом коротким на арене...
И наши бывшие друзья,
Пообещай им лишь сестерций,
Направят жало острия
В уже поверженное сердце!..
Лишь возвращаться умирать
Есть смысл в жестокою отчизну,
А здесь, клянусь, недолго ждать
Осталось траурную тризну!
Молюсь и жертвую богам...
Пусть на арене Колизея
Судьба готовит встречу нам,
(Ей сверху, говорят, виднее)
Но буду ждать тебя, Алким,
И жить надеждою бодрящей,
Ведь смерть от дружеской руки,
Философы считают, — слаще.

Письмо IV

— Я лью на землю сладкое вино,
На блюде оставляя ломоть хлеба
Для тех, кому судьбою не дано,
Как нам с тобой, глядеть в пустое небо...
Фералии — не праздник для живых,
А нынешние для меня тем боле,
Так что прости за безыскусный стих,
Которому б назваться криком боли!
Фералии — для слез и тишины.

Плутоновы владения пустеют,
И павшие отечества сыны
Стремятся, наподобье Одиссея,
В родные стены, в отчие дома...
Алким, кого ты встретил на пороге?
Что до меня, то я схожу с ума
И только повторяю: — Боги! Боги!
Чужая тень беседует со мной —
Зачем?! — и сообщает мне такое
Из прошлого империи родной,
Что я согласен стать её изгоем!
Я узнаю, — о, что я узнаю! —
Я негодную, плачу, проклиная!
Алким, я думал, что живу в Раю,
А это Ад я Раем называю!
И ничего не в силах изменить, —
Забиться не могу, забыть не смею! —
Хватаюсь за единственную нить
И петлей обвиваю свою шею...
Алким, скажи, что это страшный сон,
Что будущее наше будет ясным,
Таким, как и предсказывал Пизон,
Под знаменем великим и прекрасным!

Письмо N

— Чей корабль по волнам без руля, без ветрил
Темной ночью несет неизвестно куда? —
Мой...
И сколько б, Алким, ты меня ни корил,
Я уже не ищу, где восходит звезда!
Перепутались дни в несуразном клубке, —
Замутилась душа, зачерствела корой...
Знаю, вспомнишь сейчас мне о том голубке,
Что летал между Сциллой и этой второй...
Позабыл... Ну и пусть! Всё равно... На челне
Всё подходит к концу, и сам чёлн дает крен.
Правда, есть ещё воск, где-то в бочке, на дне,
От фальшивой Камены, от хищных сирен...
Всё равно, смысла нет здесь ни в ком и ни в чём!
Равнодушие только спасает от бед.
Кто мы? Где мы? Куда мы плывём? —
Не трудись, мой Алким, мне не нужен ответ.

*Следующие три письма
написаны, возвращаясь
из Гипербореи...*

Письмо IX

— Отвечаю, Алким, с опозданием. Пойми и прости.
Сердце, словно каленой стрелой его ранила осень,
Вдруг сорвалось с ветвей, — я напрасно пытался спасти,
Что ушло в тридцать восемь!
И один на один с этой тяжестью лет и утрат,
С чем, быть может, сравнится лишь серый гранит небосклона,
Понимаю, Алким, что пора возвращаться назад, —
Мне вперед нет резона.
Лес роняет багряный убор в непролазную грязь,
И осенней тоской протекает дырявая крыша...
Что ты видишь, любезнейший, в прошлое оборотаться?
Повтори, я не слышу.
— Усмирять себя, удлиняем короткие дни?
Для чего? Что отмерит мне в чашу слепая Фемида?!
Вот завоюет Борей — и пугливо погаснут огни
Во садах Гесперида!..
Я застыл среди этих пустынных угрюмых равнин
У холодного Понта, под небом тяжелым и низким.
Нелюбим, неизвестен, никем, никуда не гоним,
Словно не было в списке...
Эвтаназия — выход. Так что же я медлю и жду?!
Чашу с горькой цикуты готова подать мне Венила,
(Между прошлым и будущим это покончит вражду!)
Но взгляни, мой Алким, — белым снегом всю землю укрыло.

Письмо XI, неоконченное

— Мой любезный Алким! Как бы ни было это старо,
Через горы молчанья и воды бегущие Леты
Я вернулся туда, где по кругу летает перо,
Вышивая сюжеты...
Я вернулся назад под разбитым судьбою щитом,
Выбирать для себя новый меч и другую планиду,
Оставляя взамен восемь лет поединка со злом
И в слезах Немезиду.
Смейся, смейся до колик, любитель смешного конца!
Сколько раз уходить, столько же и назад возвращаться, —
Всё смыкается в круг, а из круга в подобье лица,
Значит, надо стараться...

Письмо XII

— Милый друг, ты прости за натужный, навязчивый слог
И обилие строк, обращенных сугубо к себе, —
Это всё от гордыни: желание считать свой мирок
Равнозначным Судьбе!

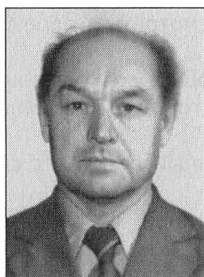
Для того я презрел и тирана, и форум, и Рим.
Да, любезный Алким, как ни горько теперь признаваться,
Всё могло быть иначе тогда, если б я был иным, —
Не пришлось возвращаться!

Что я понял? Сказать?

— От себя никуда не уйти,

Пока сам не нашел на вопрос «что же делать?» ответа,
А иначе обратно приводят дороги-пути,
В холода нолитета...

Значит, надо стараться остаться на месте своём
И корнями врасти в эту жизнь, не надеясь на чудо!
И придет наш день. Когда мы на ветру запоём,
Нас услышат оттуда.



Алексей ГРЕЧУК

/ Вильнюс /

Родился в Украине. Поэт, прозаик. Участник Великой Отечественной войны. Дважды ранен, кавалер орденов и медалей за боевые заслуги. Окончил Московский энергетический институт и инженерно-экономический. Печатался в периодической печати Литвы и России, в литературных альманахах Литвы. Автор сборника стихов о войне и книги переводов с литовского Ареяса Виткаускаса. Победитель конкурса к 70-летию Великой Победы русского еженедельника «Литовский курьер».

ОНУЧИ ДЛЯ НЕМЦА

Рассказ

Это одно из воспоминаний о человеческой доброте, которая, вопреки строгим запретам, побеждая страх и недоверие, облегчала тяготы военного времени. Только один эпизод из моих многотрудных фронтовых будней.

Недавно я оказался в Германии, и не случайно — прилетел навестить своего младшего сына и его семью, постоянно живущих в небольшом городке вблизи Нюрнберга. Да и повод был серьезный и в то же время радостный: родилась ещё одна внучка. Ну, как не познакомиться с нею!

В культурную программу моего пребывания мы с сыном включили и посещение достопримечательностей Нюрнберга — этого древнего баварского города, в котором гармонично уживаются седая старина и строгая современность.

...Позади остались и поразивший своей массивностью замок XI века, и производящие неизгладимое впечатление древнеготические храмы XIII–XV веков, и всегда полный посетителей дом известного художника Альбрехта Дюрера, и обжигающие память врезанные в мостовую тёмные гранитные плиты с высеченной шестиугольной звездой и готической вязью: «На этом месте стояла синагога». И строгий Дворец правосудия, где в первые послевоенные годы проходил

знаменитый судебный процесс над главными немецко-фашистскими преступниками. И... ещё много чего довелось посмотреть и поразиться увиденным.

В один из дней сын предложил: «В следующее воскресенье поедem ещё раз в Нюрнберг, на главную площадь города. По выходным там торговля».

Я с удовольствием согласился. И в назначенный день мы с сыном на его машине отправились в недалёкий путь.

...Площадь как площадь — довольно просторная, с несколькими вливающимися в неё чистыми улицами и такими же улицами, выходящими из неё. Но в воскресные дни она превращается в торговые ряды, в палатках и лотках которых, кажется, нет только птичьего молока. Одежда, обувь, разнообразные продукты с ближних полей, садов и ферм, инструменты и приспособления для любого дела, сувениры, изделия народных мастеров (от гончаров, кузнецов и резчиков по дереву до ювелиров) — на любой вкус, на любой кошелёк.

А народу-то, народу! — и всем легко, весело, все доброжелательно беседуют, улыбаются, шутят. Продавцы зазывают, предлагают, нахваливают свой товар. Праздник!

Неужели эти приветливые, добродушные люди — дети, внуки и правнуки тех, кто в середине прошлого века, безумно поддавшись на сумасбродные идеи маньяка, разорил Европу, отправил на виселицы, в газовые камеры, рвы и крематории миллионы людей?

Посетители торговой площади, одетые просто и недорого, но чисто, со вкусом и удобно, рассматривают выставленные и подвешенные товары, любуются, интересуются, прицениваются, покупают.

Молодые родители неспешно толкают перед собой коляску с розовощёким малышом.

Над всем разновозрастным, разноголосым многолюдьем с лёгким гулом царят мир и покой. И кажется, что так было всегда.

Из благодушного состояния меня вывела инвалидная коляска. В ней медленно передвигается пожилой мужчина, пожалуй, мой ровесник. Его не слушаются ноги.

И опрокинулось время...

Ах, эти воспоминания! Как часто давно минувшая война тревожит меня, не отпускает, не позволяет забыть её, возвращает в далёкое прошлое! Это, видимо, уже пожизненно.

Вот и сейчас.

...Март сорок четвёртого. Фронт. Украина, острый запах гари. Над горизонтом — густой дым. Там горит Херсон, а, может, и не Херсон, тогда всё горело, а мне было не до географических уточнений.

Нашему сильно поредевшему в последнем бою стрелковому взводу приказано сопроводить на сборный пункт в ближайшем тылу несколько десятков пленных немцев, захваченных в только что освобождённом большом селе.

Идём, тяжело ступая по чернозёмно-снежному месиву, по дороге, размятой автомобилями и тележными колёсами, танковыми гусеницами, пушечными лафетами, лошадиными копытами, тысячами солдатских сапог и ботинок. Идём мимо скелетов сгоревших машин, уткнувшихся стволами в грязь немецких пушек, развороченных взрывами телег и убитых лошадей. Идём, огибая воронки от снарядов и бомб. Здесь ещё вчера бушевал смертоносный огонь войны.

В жалкой, грязной, вяло бредущей толпе пленных замечаю продрогшего плачущего юношу. По виду — мой одноклассник, восемнадцать ему, не больше. Он же без шинели! И босой! Молоденький немец мучительно передвигает багрово-синие распухшие ноги по чавкающему дорожному месиву.

Почему раздетый? Почему босой? Выскочил, спасаясь, из саманной хаты без шинели, без сапог? Или после боя какой-нибудь злой, уставший славянин-пехотинец скинул свои развалившиеся ботинки с мокрыми обмотками и, угрожающе щёлкнув затвором автомата, всунул застывшие ноги в добротные, кованые сапоги немца?

Впереди, в нескольких шагах от юноши, в толпе пленных лениво передвигается высокий, надменного вида офицер в огромных очках, с накинутым на голову и плечи серым солдатским одеялом.

Стянув с офицера одеяло, я, подкрепив команду выразительным движением автомата, велел босоному юноше выйти из толпы:

— Kom heraus! — Выходи!

— Ты что вздумал, сержант? — грозно прикрикнул на меня начальник конвоя.

— Ноги ему обмотаю, товарищ лейтенант. Жалко фрица, замёрз совсем.

— Нашёл кого жалеть! На кой хрен он тебе сдался! Шлёпни его в кувете — и все дела. При попытке к бегству. И фрицу легче: мучиться не будет.

— Как же так, он же пленный!

— Ну как знаешь. Потом догонишь, — примирительно сказал мой взводный.

Нечем испуганно затрясся, плаксиво запричитал:

— Nicht schissen! Nicht schissen! — Не стрелять! Не стрелять!

Трофейным ножиком я выкроил из одеяла («давай, фриц, помогай!») две онучи, обмотал ими пленному ноги, обвязал их, не помню чем: или каким-то шнуром, или обрывками полевого телефонного провода, а, может, полосками из одеяла — выпало из памяти. Скомандовал «обутому» немцу:

— Vorwärts! Schnell! (Вперёд! Быстро!)

Догоняя строй (точнее, серо-зелёную толпу), пленный солдатик дрожащими от холода и страха губами повторял:

— Danke! Vielen Dank! Шпасибо! — Благодарю! Большое спасибо!

Не тот ли бывший юный немецкий солдат, с которым военная служба свела меня на фронтовой дороге, передвигался в инвалидной коляске по воскресной торговой площади Нюрнберга?

Погрузившись в воспоминания, мысленно уйдя в далёкую сырую и холодную весну 44-го, я потерял из виду инвалида в коляске. Но что-то остро впилося в мою душу, начало ныть и тревожить память. Я прекрасно понимал, что не узнаю в пожилом немце того босоногого солдатика, даже если окажется, что это он. Столько лет прошло, целая жизнь! А если и узнаем друг друга, что я ему скажу? Запоздало извинюсь за неизвестного пехотинца, пустившего немца босиком? Или немец еще раз поблагодарит меня за онучи, которые мало чем ему помогли?

...Тогда мы засветло добрались до сборного пункта, лейтенант сдал пленных по счёту, сунул бумаги в выдавшую виды полевую сумку — гора с плеч!

Приняв пленных, начальник сборного пункта, упитанный капитан из особистов, велел немедленно накормить их; больных, раненых и обмороженных он приказал отправить в санчасть. Седоусый старшина молча швырнул «моему» немцу поношенную, мышиного цвета шинель и старые ботинки. Затем, что-то проворчав себе под нос, со злостью произнес:

— Носи, гадёныш, помни мою доброту!

Выполнив задание, мы, несколько бойцов во главе с лейтенантом, двинулись в обратный путь — догонять свою часть.

...Вернувшись из марта сорок четвёртого на сегодняшнюю городскую площадь, я спохватился: «Где же он, немец в коляске?»

И бросился на поиски. Найти, спросить! Среди неторопливого люда я, наверное, был похож на виновато убегающего от чего-то или решительно догоняющего кого-то. Я метался из стороны в сторону с беспокойным взглядом — влево, вправо. Не мог же инвалид в коляске исчезнуть бесследно!

Ага, вот он, остановился у прилавка, негромко беседует с продавцами, чем-то заинтересовался, рассматривает выставленный товар, в его руках большая мягкая игрушка. «Покупает подарки для внуков. Или правнуков», — промелькнуло в моей голове.

Я подождал, пока инвалид отъедет от прилавка, и, волнуясь, с трудом подбирая немецкие слова из своего небогатого, оставшегося с войны лексикона, показывая на его ноги, спросил:

— Entschuldigen Sie, Soldat? Krieg? (Извините, солдат? Война?)

Взглянув на меня, немец с грустью ответил:

— Ja, ja. Ukraina. Cherson. (Да, да. Украина. Херсон.)

И, немного помолчав, тихо добавил:

— Verfliechtiger Krieg... (Проклятая война...)



Фаина ОСИНА

/ Даугавпилс /

Окончила филологический факультет Уссурийского государственного педагогического института. Печаталась в журналах «Даугава» (Рига), «Восток свыше» (Ташкент), «Встреча» (Москва), «Академия поэзии» (Москва), «Рижский альманах», «Настоящее время», «Планета поэтов» (Рига), «На берегах Великой и Псковы» (Псков), «Опалённые войной» (Псков) и др. Имеет членство Союза писателей Латвии, Союза Российских писателей, Балтийской гильдии поэтов. Редактор «Провинциального альманаха HRONOS», ежегодного сборника «Dzejas dienas» («Дни поэзии», Даугавпилс), альманаха «Этнические общества Даугавпилса», альбома «Даугавпилс на рубеже XIX–XX веков. Почтовая открытка». Номинант на премию «Признание 2009». Автор книг «Трио» (1992), «Здесь и теперь» (1995), «Азы» (1997), «Когда зачерствеют будни твои» (2000), «Дека» (2003), «На фарфоровом лепестке» (2007), «Теней золотых лоскуты» (2011), «Осевки» (2013), переводов «Лучи по зеркалам» (2007). Живёт в Даугавпилсе.

МЕТРИКА МЫСЛИ

Пастушьей дудочкою тешатся ветра
на публике, свирель давно забывшей.
В мелодиях модальных сны утрат,
а пробуждёньем ведаёт Всевышний.

Теперь зима, и сумеречен свет —
в нагих ветвях. Тьма — тешится корнями.
Высокий день остался на траве
в июне, нанятом солнцестояньем.

Зима неприхотливей и верней
единству философствующей лени.
В окне — на запотевшей синеве,
на птичьих крыльях — грёза обновления.

Фигуры шьёт незримая игла,
и в танце — ни единого повтора.
В летящих ритмах — райская игра
поэзии — до сотворенья формы...

* * *

Так быстро выстывает дом,
стираются так быстро лица.
На подоконник тонким льдом
Забвенья корочка ложится.
Флёр пыли. Сырость по углам.
Побелки сморщенные гроздьа.
Потрескивает тут и там —
Вечерний дух утраты бродит.
Слетает с потолка слюда.
И день вчерашний смотрит в спину.
Ветрам, озвучившим чердак,
Чужая подвывает псина.
Свечой зажжённой грею дом,
Ступнею глажу половицы.
Что будет завтра? Рук поддон
Воск бережёт, собрав крупичицы...

* * *

И. В.

И поэтом, и геометром —
в жажде вывести код Вселенной —
из блужданий луча и ветра
извлекается корень энный.

Перепуганный лет капли,
в промельк — огненное сиянье.
И вода, распадаясь, зельем
дышит на крышах зданий.

Утро — резвый по камню резчик,
с гладкой плоскости — колосками.
Вечер бьется о берег вещей.
...Пока помню тебя, не канет

капля в небо, туда вернувшись.
В облаках серебристых, в выси,
говорил ты, струятся души
в шелке, в выбеленном батисте.

Извлеченья... Парады кратных...
Мы увидимся, когда время,
сжавшись в точку, пойдёт обратно —
дать решение теореме...

ОСЕННИЕ АКВАРЕЛИ

* * *

Акварели осенние смыты.
По ветвям — карандаш-каллиграф,
что-то чертит:
в скелетах палитры
зашифрован изменчивый нрав.
Точка, линии, сна иероглиф,
тонкий луч, пробужденья озноб —
оживает над серой дорогой
облаков золотое руно.
Ключ скрипичный ветров.
Дней витражность.
Под корой — ток невидимых вод.
Чем стремительней шаг,
тем отважней.
Знаю, знаю, куда заведёт...

* * *

И это, как все проходило, пройдёт:
Осенней тоски облака кучевые
И взглядов твоих, опрокинутых, лёд.
Уж не подниму на шаги головы я
За домом на бревнах от дел в стороне.
Осевшие бревна, забытые лица...
Но, Боже мой, Боже, как хочется мне
Не встать, не уйти — с их ненужностью слиться.
Щекою к ладони прильнуть — на века,
Смотреть через ветхую убыль забора,
Как чисто внизу серебрится река,
Как падают ветки берез с косогора.
И все же я встану, уеду, уйду
От дома, хранящего ласку и кротость.
Мне б здесь до надежды возвысить беду
И выкупить сердце у боли работой.
Уеду... Но взять мне с собой надлежит
Осенней тоски непросохшие лужи,
Шагов, растворенных вдали, миражи
И день, что от ласки последней недужит.

УЛЫБКИ ВЕРХОГЛЯДА

(Город Даугавпилс)

Хорошая погода

Пройдись по городу в хорошую погоду, перебирая отражение иллюзий, глубинных всплесков души и мимолётных впечатлений. Попродай глаза, — никто не купит.

Оставь за спиной Посёлок химиков, Новое строение, пересеки ткань железнодорожных линий и одари вниманием вокзал. Некогда многолюдный и суматошный, он обрёл европейский лоск и опустел. На месте ресторана, пользовавшегося у горожан успехом, некоторое время овладеть вниманием редких пассажиров пробовали игровые автоматы, — не получилось. Спустись по новому широкому крыльцу на улицу Рижскую и вдоль каскадами струящихся фонтанов, появившихся после еврореонта, — вниз, вниз — в реке. Брусчатка давно заменена современной непрочностью, фасады домов с магазинами на первых этажах — форсят. Верховые огни поределели, зато по бокам проспекта откуда-то из-под земли струятся фонтанчики света. Улицы стекаются к центральной площади Венибас, здесь можно пребывать бесконечно долго и нескончаемо вникать в историю самой площади, многопрофильного Дома Единства, издали созерцать Дубровинский парк. Или — пройти к реке и опять подняться. И дальше — бродить, бродить...

В Дубровинском парке

Когда пришла пора «забронзоветь», городской голова Павел Федорович Дубровин слегка надвинул шляпу на глаза, перекинул плащ через левую руку, в правую — взял состоящий из мелких колечек металлический поводок и повёл любимого бульдога, придуманного скульптором Александром Тартыновым, погулять. Шагнув с верхней ступени, щеголеватый хозяин парка замер, вслушиваясь: на ветру за спиной звенели купы рукотворных металлических лип. Иначе, мягче и печальнее, шелестела осенняя листва — живая. Напротив, в центре парка, в лучах солнца сверкал и отливал радужой круглый фонтан с мощной вертикальной струей. Над травинкой, пробившейся сквозь асфальт, вспархивая, искрился жёлто-сиреневый мотылёк...

Дом Единства

Под куполом небес, под крышею единой — Даугавпилсский городской театр, Центр латышской культуры с концертным залом,

книжный магазин, кафе, библиотека и проч. Войди в книжное царство, вслушайся в шелест и шёпот, — книги расскажут о преобразованном времени и пространстве. Сойди по величавой лестнице, открой массивную дверь и — по кругу — обозревай архитектурный дар минувшего столетия. Стены — с четырех сторон — имеют двери-мифы, насочинявшие, как мы едим, торгуем чем, разыгрываем что. В мире отзывчивом идёт концерт. И клавиши — танцуют. В бокале за кулисами вода вбирает ритмы, их отдавая улице. Душа прохожих — на пунтах. Мы все немножко клоуны. Иль — лошади... И первые из воздуха свивают чудеса, вторые пьют из родника надежды. Столетия — на ладони города плывут...

Храм муз

По обеим сторонам каменного крыльца, ведущего в музей, важно, как и положено царям, восседают в позе неизменного величия и покоя бронзовые львы. Зелёную глазурь и рустик старинных стен венчает жестяная крыша, по краю которой раскатились шары бронзовой чеканки, а справа и слева симметрично от центрального входа как знак прозорливости — два орла с воздетыми крылами. Говорят, ночью звери и птицы позволяют себе скосить глаза на удивительных гостей, например, Аспазию и Райниса, которые нет-нет да и просквозят в здание, когда-то уже служившее им приютом. Мифическим существам интересно, чем полнится храм муз сегодня.

Пристань

На память о времени, когда Река, менявшая на протяжении веков свои названия, столетиями служила торговой артерией, осталась — во всю мощную толщь дамбы — камнем выложенная арка. Это сохранившийся въезд на пристань, которой давно нет. А есть неподалёку от моста через Даугаву это укромное место любования серебром и тяжёлым шёлком влекущейся к Рижскому заливу Реки. Донные ручьи тянут песок и образуют островки наносов, хорошо видных отсюда. Под аркой из хлама, выброшенного Рекой в половодье, можно развести костерок. Играющее пламя станет нащёптывать мифы о «Великом пути из варяг в греки»...

Мост

Неважно, кто и какую реку впервые назвал артерией. В таком случае, мост — мускул, мотив преодоления преграды, потока, необратимо влекущегося к океану. Вода — память. Мост — судьба. Сколько их пережила современная Даугава, сколько снов о свободе нашептала людям. Забытые лодочники, лёгкие переправы... В единый Город бе-

рега соединило — чувство. Вот, замирая у низких перил вновь возведённого на старых опорах моста, наблюдаешь, как дышит, волнуется береговая линия, и сам ты уже вовлечён во всеобщее колебание. Вода имитирует томление души, камни — величие Божественной власти. Ниже по течению прогрохотал поезд по ажурному железнодорожному мосту, на котором расставались герои фильма «Государственная гралица». Всё — за мечтой, все — за счастьем...

Фейерверк

Неделю длящийся праздник Города традиционно заканчивается фейерверком. Устремляясь к Даугаве, людские толпы затопляют её правый берег, заполоняют парящий мост, отражаясь в ночной воде. Всеобщее ожидание нарастает. И вот — залп! Никогда не повторяющийся огненный шквал — модель сотворения мира: взрыв порождает новые взрывы, цветущие звезды рассыпаются во Вселенной. Зачарованная толпа то и дело ахает в страстном призыве звёздного дождя и в страхе, что он, долетев с другого берега, прольётся на головы и плечи... Река замедляет течение, две стихии — воды и огня — поглощают друг друга...

Лицо города

Исчезает красный город...

Давно отпыхали за рекой в деревне Старый замок (позже названный Калкунами) огненные печи кирпичных заводов, в пламени которых спекалась животворная глина, делаясь материалом строительного искусства. Краснокирпичную пыль терпеливо впитала земля. А терракотовые дома-красавцы, устоявшие под ветрами времён, пережившие войны, стусевываясь, пребывают в центробежном устремлении. Ценя своей не зная, они прячутся под чудовищной краской кирпичного цвета и вопрошают улицу пластмассовыми глазами: «Куда спешите, к чему стремитесь, люди?»

Новая архитектура

На углу — торговый гигант с часами во лбу, похожими на близорукий глаз циклопа, сказочный «Сим-Сим» распахивает двери в коммерческую мишурность. Над магазином-ангаром мигает электронное табло, высвечивая непостоянное время и температуру праздничных надежд. Они сбываются именно на площади Единства, где проходят концерты и карнавалы, показывают мастерство национальные художественные коллективы и народные умельцы демонстрируют действие ручной выработки предметов декоративно-прикладного искусства. Вечное стремление к прекрасному торжествует над вещным миром...

У храма

Против торгового центра, за голубыми елями, за ажурной металлической оградой — в торжественном постоянстве стоит костёл Святого Петра в веригах. Гармонически совершенную каменную тяжесть венчает купол с архитектурно вычерченным на сини вечерних небес стройным «фонарём», на котором покоится шар, возносящий в горние выси крест. Вот уже несколько лет к Новому году перед боковым фасадом храма зима небрежно накидывает на купы деревьев цветущие огнями, посеребрённые гирлянды. Раскачиваясь, они репетируют поэтические фантазии. Есть в этом праздничном размеренном движении что-то бесконечно печальное и в то же время — умиротворяющее...

Парк скульптур

Сад камней... Это метафора. На самом деле на площади за правым боковым фасадом костела Святого Петра в веригах стоят скульптуры. Образ одной из них вызывает в памяти легенду о медведице, вылизывающей новорождённого медвежонка, чтобы придать ему форму. В другой — мир снов о нежности, строгой конфигурации не имеющих. На углу — изваяние ветра раздувает каменные щеки на все четыре стороны. Раньше здесь, на обочине Рижской улицы, обитал Дон-Кихот, у которого заезжие рыцари похитили оружие. Оскорбленный идалго, видимо, продолжил странствия по белу свету, ибо сад покинул.

В Городе — несколько подобных площадок со скульптурами. Ничто так не будит воображения, как мысль, застывшая в камне среди вечных шёпотов природы...

Храмовая горка

Восходить на горку, зовущуюся в народе Храмовой, надо неспешно и с широко раскрытыми глазами. Искупавшись в золотом великолепии куполов Борисоглебского собора, восхитившись аскетически-строгим вознесением в небеса шпилей кирхи Мартина Лютера, вобрав стройную основательность старообрядческой церкви Святителя Николы, полюбовавшись белоснежной чистотой костела Непорочного Зачатия, необходимо постоять в благоговейном молчании, словно бы в руках твоих — нераскрытая книга, содержащая знание о тебе самом. Миг всеохватной близости к непостижному...

Крепость

Есть ли на земле народ, который хотя бы однажды не возжелал иметь свою «Великую китайскую стену»? Не зря бытует выражение

жить, как за каменной стеной. Но всем гениальным фортификационным сооружениям, замкам и крепостям суждено, в конце концов, стать памятником зодчества. И воплощенные в образе Динабургской крепости чудеса военного искусства сегодня — акт цивилизации. Когда-то вокруг крепости вырос Город. Старый замок множил кирпичные заводы для создания крепостного ансамбля. Теперь это уникальное сооружение, продолжая созидательное начало, становится одним из культурных центров Даугавпилса. Стены наполняются новым смыслом, под древними сводами поэзия обретает глубину, а музыка — космическое звучание. В художественном зале Ротко проходят выставки прикладного искусства, живописи, разнообразно обогатившись в Дни международного пленэра.

Дни поэзии

В Даугавпилсе Дни поэзии, связанные с именем Яна Райниса, проходят в сентябре и давно стали традицией. А вот выпуск многонационального сборника «Dzejas dienas» — достижение нового времени. Это уникальное демократичное издание способствует прославлению Города, делая его едва ли не самым литературным в Латвии, естественно, после Риги. Несколько лет подряд поэтический фестиваль проходил в Арсенале. Среди гулких древних стен полукружьями расцветали светлячки фонарей и раздавались голоса современных мечтателей. Художественный уровень поэтической тетради воодушевляет молодых авторов. На праздник съезжаются не только столичные гости, но и поэты из других стран. Культурная жизнь уже не мыслима без этой многоцветной и разноязыкой книжечки.

По крепостным валам

Гулять по крепостным валам — роскошь. Или — счастливый удел влюбленных. Но лучше бродить здесь в философском одиночестве. Какая светлая даль открывается взору! Как потрясает величие далеко простирающейся арены жизни! Как глубок и оригинален замысел русского военного зодчества! Где-то здесь упруго печатали шаги перед строем Александр Первый. Оживлённое железнодорожное и шоссейное движение через Город, лежащий на пересечении путей между востоком и западом, нельзя ни обойти, ни объехать, и все царственные особы почтили вниманием крепость.

Если по струящимся вниз с крепостных валов тропам ненароком забредёшь в путаницу глубоких рвов, на тебя пахнёт средневековым холодом. Двигаясь между высокими каменными стенами по влажному дну, вдруг ощутишь спиной пустые глазницы бойниц. Инженерные достоинства неприступности — загадка. Таится здесь и острож-

ный дух неволи, и тяжесть труда камнетёсов, и жёсткие солдатские будни. Скорей — из лабиринта — к светлому миру, который и должна была защищать крепость...

Спидвей

Сказать жизнь — это движение — ничего не сказать. Ибо и в покое, как мы его понимаем, не просто совершается энергетический обмен, — нас несёт сквозь неведомые миры прекрасная планета Земля. Не с того ли, что в слове *покой* присутствует веяние вечного холода, человек устремляет свои взоры к Солнцу. К нему, обжигая крылья, возносятся мифологические персонажи. И человек, зачарованный игрой Светила, преодолевает земное тяготение, нащупывая звёздные пути. Спорт — прогнозирование человеческих возможностей, жест к совершенству. И да здравствуют смельчаки, полюбившие стихию стремительности и полёта! Но что в этом понимаю я? — Лети, воображение, за мощью гонок шумной железной конницы, удивляйся смелости добрых молодцев, оседлавших скорость. Спидвей с его международными масштабами стал одним из знаков Даугавпилса.

Деревянная архитектура

Век назад сформировались улицы города, появилась нумерация домов. До этого они носили как бы имена собственные: дом купца такого-то... Но и деревянные застройки людей небогатых отличались индивидуальностью и разнообразием. Фасады украшались резными наличниками по вкусу хозяина, на щипце — петух, возвещающий приход нового утра, перекрестье рам — оберег, а между ними — нарядные безделушки. На подоконниках — цветы, мебель — лаконична. Разрушаются не только строения — стирается идея небольшого частного дома с её близостью к природе. Деревянной скульптуры в замечательном Даугавпилсе вот-вот не станет. Тем ценнее память о ней, её образы.

Старый Форштадт

Город в праздниках. Ветер с деловитой неспешностью разводит тучи, стрясая с небес юбилейные одуванчики парашютов. Оглушительно тарахтят доморощенные каскадёры, обдавая дымом и гарью прохожих. Поздними вечерами на центральной площади за черными полиэтиленовыми щитами, раздутыми и блестящими как плащи летящих бесов, заезжие музыканты дают представление. На звуки, как

мухи на сладкий запах, слетаются и обсеивают прилегающее пространство горожане. Над толпой, грохоча, вспыхивают и рассыпаются чудотворные цветы фейерверков.

Заключительным торжеством в том году была определена окраина города. Воскресенье. День солнечный. К районному Дому культуры, на площадке которого будет дан народными коллективами концерт и откуда раздаются бравурные марши, вяло текут зрители. Лиственные кроны, истомлённые летним жаром, царственно покачиваясь, сеют пригласительные жесты. В чёрных шелковых брюках и чёрной расшитой бисером кофточке я чувствую себя счастливой вороной, накрывшей много блестяшек. Легки и радостны любимые летние туфли.

У перекрестка, где шоссе пересекает ведущая к озеру Шуню пыльная дорожка, стоят двое. Один, наглаженный, застегнут на все пуговички-крючочки. Другой — при работе, стоит вполборота к тротуару, положив левую руку на оглоблю, хитро приделанную к тачке с навозом, живописно свисающим темно-серо-жёлтыми соломинками до самой земли. Груз лоснится, спрессовываясь под собственной тяжестью. Над влажным духом естества зычная зеленая муха отрывочно чертит замысловатые круги. Золотистая роса придает завершенность холму-поклаже, и свет её подобен блеску обнажённой спины хозяина. Кожа его колоритного торса — кремово-коричневый муар. Заляпанные штаны интимно посверкивают горошинами дыр, правая нога в носке неизвестного цвета щеголяет голой пяткой, левая — такими изысками не обременена. Ловко растоптанные башмаки давно и надежно сроднились с живой плотью.

Я, само никогда не удовлетворяемое любопытство, приближаясь, схватываю картину во всех подробностях. Вдруг широкий и чистый голос обладателя клади завёл во всю баритонную мощь: «А я тебе не ве-е-ерю...» Фиолетовая дама на тонких каблучках испуганно отпрянула и губами изобразила плевок. Певун захохотал... «А тебе верю», — повернулся он ко мне и пошёл рассыпать словеса. Улыбка — соты с мёдом. В глазах моих: опоздали, мол, комплименты. Жизнь — *не успеешь уши развесить, как в рот муха залетела... «Знаем вас», — смеялись глаза мужчины.*

Потом был концерт. У торговых лавочек скучали продавцы, перебирая ремесленные безделушки. Ветер, отяжелевший в объятиях июньской листвы, сбивался с дыхания. На призывы танцевальной музыки отозвались три-четыре пары — вот и всё народное гуляние.

А в душе до вечера плескалась полнота мужского голоса, широко распевавшего известную песню: «А я тебе не ве-е-е...» Чем, скажите на милость, можно огорчить человека, театрально поющего при исполнении трудного крестьянского долга? — Разве что снять дырявый носок и с правой ноги...

Новый Форштадт, закат

— Мадам! — на поношенном лице галантного Пьеро сияют глаза. Я, вытолкнутая наружу тёмным скрипучим подъездом, растерянно моргаю, замечая сияние и не понимая, к кому оно обращено. Каблук туфли, на ощупь изучающей сколы и выбоины низкого крыльца, опоры не находит.

— Мадам, посмотрите, какой закат! — плескается мечтательный восторг подающего надежды ребенка.

Поворачиваю голову. С пригорка открывается широкая панорама: автобус 17 маршрута поворачивает в сторону большой дороги, ведущей в центр города, вдаль, за домами-садами-осколками зеркальных озёрков, во весь горизонт — горит закат. Бордово-алые разводы похожи на закипающее черничное варенье. Рыхлая масса набухает в не имеющем границ серебряном тазу, извергаясь в небесную синь и растекаясь шире, чем способен охватить глаз. Фантазмагорическое панно, вечно рисуемое невидимым мастером...

— Мадам, хотите выпить? Не надо так пугаться!

Пьеро достал из кармана монетки и на развернутой левой ладони изучал глазами: *не хватало*. Досаду он озвучил.

Нащупываю в кармане металлические кружочки.

— О, мадам...

Больше сказать было нечего. Стеснительные пальцы закрылись. Светящаяся детскость лица, сморгнув закат, погасла. Интенсивность проживания момента... Суетящийся клоун широко зашагал в сторону рынка, наперегонки с коробящимся шорохом осенней листвы.

С бетонного ребра грустно наблюдаю, как быстрые переходы меняющихся небес погружаются во тьму, устремляясь за светом. Мимолётное созерцание — упразднилось...

Евгения ОШУРКОВА

/ Рига /



Евгения Ошуркова родилась в Риге, окончила институт инженеров гражданской авиации. Состояла в студии молодых литераторов при Союзе писателей Латвии. Участница и неоднократный лауреат различных фестивалей авторской песни. Выступала перед аудиториями Риги, Москвы, Кишинёва, Львова, Самары, Санкт-Петербурга и других городов. Стихи и переводы публиковались в сборниках, журналах и альманахах Латвии, России и Америки. Записала четыре авторских диска. В 2012 г. вышла её первая книга стихов «Вне сезона», в 2014-м вторая — «Своя игра». Занимается журналистикой. Является членом творческого объединения *bardi.lv*, а также мастером Балтийской гильдии поэтов. В 2015 году принята в Союз писателей Латвии. Её песни звучат по Латвийскому радио.

POST SCRIPTUM

...А цвет зелёный на рыжий
Деревья меняют зря:
Смотри, у меня над крышей
Горит и горит зря!
А то, что и в дверь ни стука,
И поздно петь о любви,
Так память та ещё штука —
Что вытащит — с тем живи.

Зачем же, во сне целуя
Насмешливый, жёсткий рот,
Опять ворошу золу я
Сожжённых стихов и нот?
За сны я не отвечаю,
Что снится — то и смотрю
И с верой, а не с печалью
Последнюю жду зарю.

ПЕСНЯ РАБА

Я выбираю галеру,
Ибо за все труды
Мне выдают галету
И пару глотков воды.

А жаждущие свободы
Отравленный пьют нектар,
Клянут океанские воды
И часто гребут не в такт.

Я выбираю галеру.
В свете её идей
Я обретаю веру
В завтрашний светлый день.

А те бросаются за борт,
Цепи перепилив,
Им чудится хлебный запах
И крики перепелов.

Я выбираю галеру,
Ибо моё весло
Ладно пришлось к колену,
Крепко в ладонь вросло.

В паре шагов от рая
Ищет свободных смерть,
Впившись в обломок реи,
Выплыть им не суметь.

Горе и тем, кто выплыл,
Слушая песнь сирен, —
Парус и чёрный вымпел
Новый сулят им плен.

Я выбираю галеру,
Выбрасывая за борт
Эту дурную манеру
Вечно искать свобод.

Горе счастливым, даже
Если в пальмовый сад

Выбросит шторм однажды
Их роковой десант:

В солнцем и птичьим пеньем
Обласканные тела,
Подрагивая опереньем,
Плавно войдёт стрела.

Сраму не имут трупы,
Зависть не мучит их,
А слышать победные трубы
Всё же удел живых.

Кружит зверьё по вольеру,
Мечется в круге огня.
Я выбираю галеру.
Жизнь выбирает меня.

Я выбираю галеру
(Пусть со смертной тоской),
И моему примеру
Следует род людской.

ОБЕЩАНИЕ

Обещаю тебе тебя.
Наталья Александрова

В этой комнате нынче темней, чем всегда,
Да и ветер сильнее завывает в трубе.
Но тебя не коснётся зима никогда.
Обещаю тебе, обещаю тебе!

Обещаю, что будет твой век золотым,
Позавидует всякий подобной судьбе,
И что долго ещё будешь ты молодым,
Обещаю тебе. Обещаю тебе!

Где бы ты ни забылся, смертельно устав,
По какой бы крутой ни поднялся тропе —
В вечном споре со мной ты останешься прав,
Обещаю тебе, обещаю тебе!

Обещаю тебе, что прохладной весной,
Растворяясь в счастливой и праздной толпе,

Ты пройдёшь по аллее уже не со мной,
Обещаю тебе, обещаю тебе!

Смугло-карий и весь из живого огня,
Может, только твой взгляд я оставлю себе...
Обещаю, ты сможешь прожить без меня.
И так будет всегда. Обещаю тебе!

А за это, мой друг, ни зовя, ни кляня,
В этой комнате, где с каждым днём всё темней,
Ты однажды мне скажешь, что любишь меня.
Обещай это мне. Обещай это мне...

НА БЕРЕГУ ОТРАВЛЕННОЙ РЕКИ

на берегу отравленной реки
где столько лет весной закаты меркли
растёт лесок скрывая купол церкви
на берегу отравленной реки
где строго воспрещается купаться
у этой церкви не толпится паства
на берегу отравленной реки
народу вообще бывает мало
хоть есть подобье некое причала
на берегу отравленной реки
отравленной не вовсе но на грани
того чтоб смельчаки не загорали
на берегу отравленной реки
здесь из кустов ещё взлетает птица
но из ручья уже нельзя напиться
на берегу отравленной реки
все ручейки бегущие с откоса
находятся во власти минкомхоза
на берегу отравленной реки
когда-то внемля голосу природы
сажал здесь горожанин огороды
на берегу отравленной реки
но в лето чернобыльской катастрофы
вдруг буйно заросли травой тропы
на берегу отравленной реки
и в огородах лопухи со снытью
как будто вторят этому событию
на берегу отравленной реки
ты спутницу свою поторопи-ка

вернуться здесь кончается тропинка
на берегу отравленной реки
за проволоочной сеткой неизменной
здесь размещён аэродром военный
на берегу отравленной реки
пойдём назад там есть одна картина
сирень цветёт и высится руина
на берегу отравленной реки
вот это мог бы написать Мусатов
вдруг окажись он у моих пенатов
на берегу отравленной реки

ДОРОЖНАЯ

В дороге длинной ценится попутчик.
Скрипит возок, дорога далека.
Сосед спросил: «Вы, кажется, поручик?
И кажется, гусарского полка?

В такую ночь беседа не помеха,
А мы молчим от станции как раз...
Куда ж, сударь, изволите вы ехать?»
Поручик отвечает: «На Кавказ».

«Ах, на войну? Ну, это, право, новость...
А всё равно окончится как встарь:
Кого-то ждёт кинжал чеченца злого,
Кого-то обласкает государь...»

А за окном привычная картина —
Простор, да ночь, да огоньки вдали.
И словно комом к горлу подкатило:
Прекрасны вы, поля родной земли!

Пока сосед бранит войну и власти,
Пока возок на рытвинах трясёт,
Душа, как в детстве, замерла от счастья
И чей-то голос ласковый поёт:

«Куда спешить? Под пулями чеченца
Вновь начинать ненужный спор с судьбой,
Когда ещё у сердца слышишь сердце
И видишь взор как небо голубой!»

«Ах, замолчи, лукавая гитара!
Не уронить мне сабли из руки.
Не стыдно, коль разжалуют гусара,
А стыдно, если жалуют враги!

Нельзя ни жить, ни чувствовать вполсилы,
Не обратив любовь свою во зло.
Прощай, прощай, немытая Россия!
Как мне с тобою в жизни повезло...»

Под стук колёсный, головой кивая,
Давным-давно уснул в углу сосед.
А за окном от края и до края
Степным пожаром занялся рассвет.

Ещё рассвет и нежен, и малинов,
Ещё весне взрослеть и хорошеть,
Ещё в тебя не целится Мартынов,
Ещё тебе на свете двадцать шесть!

ПОРЫВИСТЫЙ ВЕТЕР

Прощаться с тобою сподручней всего на рассвете,
Когда ещё в сумраке неразлично лицо,
Когда по кварталам гуляет порывистый ветер,
И спутает чёлку твою, и рванёт пальтецо.

Возьму тебя за руку. Милая, ты без перчаток.
Перчатки и шубы стремительно сходят на нет,
Порывистым ветром январские сносит печали
И зимние истины тают, как мартовский снег:

Всего через несколько дней заиграют фанфары,
Всего через несколько дней наступает весна.
Уходит зима — значит в парках закружатся пары,
Уходит любовь, но иные грядут времена.

Ты нежной рукою в апрель раскрываешь оконце,
Ты через зиму переступишь, как через ручей,
А я ещё болен обманами зимнего солнца
И ёлочным блеском рождественских снежных ночей.

Я всё ещё болен туманами Гипербореи,
Я болен зимою, и мне не уйти от судьбы —

Я нашим прощаньем, любимая, переболею,
Порывистый ветер остудит горячие лбы.

Запомнить бы это, как следует это продумать,
В красивые строфы привычно составить слова...
Но это потом, а сейчас, чтоб тебя не продуло,
За дерево встанем, наденем пальто в рукава.

ГОРОД

Этот город с весной обретает свои права
Зажигать на ветвях каштанов цветы свечей,
Зазывать горожан посмотреть, как растет трава,
Подарить их дождём, ибо дождь как всегда ничей.
Как он ночи старается выкрасить в белый цвет,
Но всегда остается для тьмы небольшой зазор.
Если ты на него в этот час поглядишь на свет,
То, как знак водяной, разглядишь потайной узор.

Он мосты выгибает навстречу тебе дугой,
Этот город, что пройден тобой вдоль и поперёк.
Ты умеешь его понимать, как никто другой,
Откровенья свои для тебя он и приберёг.
Этот город с весной обретает свои права
Выбирать одного, кто сумел бы его воспеть...
Как ты пел для него, находил какие слова!
Долго эху теперь по кварталам пустым лететь.

Быстро стоят снега по весне, и не жалко их,
С каждой ночью быстрее отступать начнёт темнота.
Ничего не прибавит к минувшему этот стих,
Да и цель у него очевидно совсем не та.
Снова город подхватит весенняя кутерьма,
Я одна не пойму для чего. Потому что мне
Этот город покажется запертым, как тюрьма,
Ибо даже не знаю, в какой ты сейчас стране.

* * *

Задаю себе вопрос: до какого же предела?
И кому всё это надо? И какого же рожна?
Отвечаю невпопад: что-то роща поредела,
Но осенняя прохлада после зноя не страшна.

Повторяю свой вопрос: непонятно, в чём же дело?
Нынче лето не настало, так доколе мне терпеть?
Повторяю свой ответ: а наверно, без предела,
Так что, если не устала, продолжай играть и петь.

Уточняю свой вопрос: я ж не этого хотела,
Я из тех, кто вечно новым прямо в сердце поражён.
Уточняю свой ответ: ну а мне какое дело?
Разве кто-нибудь виновен, что ты лезла на рожон?

Я снимаю свой вопрос. Что-то роца поредела
И зима дыханьем снежным пробирает до костей...
Отвечаю на вопрос: разнобой души и тела
Порождает неизбежно хоровод дурных страстей!

ЛЕТНИЙ САД

И я скажу тебе: послушай,
Сыграй и спой про Летний сад!
Ты перебором тронешь душу,
Твои браслеты зазвенят.
И если вечер фиолетов
И мы опять с тобой вдвоём,
Под перезвон твоих браслетов
Я забываю обо всём!

Лечу над бездною не глядя,
Перемешав и рай, и ад,
Но если я с судьбой в разладе,
То с ней в созвучье Летний сад
И запах лип в начале лета,
Который нас сводил с ума,
И перезвон твоих браслетов,
И ты сама, и ты сама.

Блеснёт улыбкою богиня
Под тяжким мраморным венцом.
Я прошепчу простое имя —
Ты повернёшь ко мне лицо.
И это как прекрасный слепок
С прекрасных мраморных голов,
И перезвон твоих браслетов,
Как перезвон колоколов!

Пусть я давно чужой и новый
И наш окончен променад,
Но если будешь на Дворцовой —
Послушай, вспомни про меня!
И может, без моих советов,
Гитару тронув наугад,
Под перезвон своих браслетов
Сыграй и спой про Летний сад!

* * *

Какая жизнь произошла вдоль этих улиц,
Кто ими шёл, вернее, плыл, как некий Улисс,
Какие двери открывал, в каких подъездах,
С кем из соседей говорил об их болезнях?

Когда луна в окно грошом сияла медным,
Он представлял, что мир остался неизменным.
От самых юных дней его до самых поздних
Стоят деревья и дома всё в тех же позах.

И, самому себе отчёт отдав едва ли,
Какие образы его одолевали,
Он снова видел те дворы и переулки,
По коим в детстве совершал свои прогулки.

Замедлим шаг и разберёмся по порядку:
Похоже, здесь снесли торговую палатку,
Где огурцы и помидоры продавали,
Где зеркала им изобилие придавали.

Ах, изобилие прошлых лет и прежних истин,
Откуда путь благими помыслами выслан,
Где набегала жизнь, как слёзы на ресницы,
И не догнать её, и не остановиться...

И мы опять с тобой, мой друг, к тому вернулись,
Какая жизнь произошла вдоль этих улиц,
Прошелестела, словно ветер в цветах и гроздьях,
От самых юношеских лет до самых поздних.



Сергей ЕВТУХОВ

/ Вильнюс /

Сергей Евтухов родился в Могилеве. В 1981 окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, факультет авиационного оборудования... До института служил в СА (Козельск), работал лаборантом, грузчиком, бетонщиком, вздымщиком и сборщиком (вздымал и собирал живицу в лесу)... Потом инженером, художником журнала, учителем... Печатался в журналах «Лад», «Свисток», «Ряды молодежи» (Вильнюс)... В литовских газетах «Вечерние новости», «Комсомольская правда» и, преемственно, «Летувос ритас», «Согласие», «Эхо Литвы», а также «Советская молодежь» (Рига) и «Знамя юности» (Минск). В 1987 и в 1988 в собственном издательстве «Красный буй» выпустил две книги: «Герой» и «Пьесы»...

ЗЕЛЕННЫЕ ЯБЛОКИ

1. Стулья

А у нас в этом году замечательный урожай стульев. Как никогда!.. В каждой квартире по 3–4 стула дубовых, а сосновых и не считать. Обычно дубовые у нас не растут, климат не тот. Да и сосновые с кленовыми не балуют. А тут, как прорвало. Идешь ночью в туалет и налетаешь на стул. Вечером ничего не было, а за ночь, на тебе, вырос. Нормальный такой, со спинкой. С мягким креслом. Народ сначала на базар ломанулся, стулья продавать. Но через неделю рынок встал. Затоварился стульями. За день не продашь, надо и на воскресенье в городе оставаться. А ночевка, а погрузка-выгрузка? Все денег стоит... Что делать? Давай народ стулья впрок заготавливать. Кто-то предложил спинки спиливать, чтобы, теперь уже табуреты, проще хранить было. Их друг на дружку ставишь и довольно много таким образом можно упаковать. Раскупили все пилюльбзики. Бумагу шлифовальную, чтобы срезы поправлять. Скучать некогда. Но все равно ерунда получается. Куцые какие-то стулья

выходят. Все равно как собака без хвоста. Аккуратно не отпилишь, без фрезы. А фрезу купить — дороговато. А спинки куда? Такую красоту выкинуть рука не поднимается. В печку жалко. Приноровились из спинок решетки для модных матрасов делать. Их по четыре связываешь крест-накрест, а потом в ряд по восемь и все на клей столярный ставишь. До Нового года работы... А если и следующий год такой урожайный? Мы с женой решили сосновые больше не собирать. Если дубовые будут или из ясеня, тогда оставим парочку. Как шутят у нас — «на рассадку». А другие просто вынесем на улицу, до холодов постоят. А там видно будет...

2

Чтобы стать богатым и знаменитым, нужно написать рассказ и послать его на какой-нибудь литературный конкурс. Его обязательно выделит жюри и даст вам премию. На эту премию вы купите билет на круизный лайнер и поплывете...

Впрочем, я уже забегаю очень далеко вперед...

Зеленые яблоки

рассказ

— Вот, — говорит муж жене, — купил нам с тобой минеральной воды на пробу. Очень дорогая вода. Сними пробу, а то вдруг она отравленная.

И подает жене бутылку минеральной воды, которую только что купил в магазине. Жена лихо отворачивает пробку, говорит: «Да ладно тебе, Коля, придуриваться», делает два глотка и падает за смертью. Муж, а звали его Николай, смотрит на лежащую жену и ничего не понимает. Приезжает «Скорая» и со словами: «Это не наш клиент», тут же уезжает... И тут до Николая начинает доходить, что что-то случилось с его женой. Страшное.

— Ой-ей-ей! Ой-ей-ей! — кричит он. — Зоя! Зоя! Ты что! Я же пошутил!..

А Зоя, его жену звали Зоя, лежит себе. И молчит. Тогда Николай хватает со стола вилку и пытается с помощью этого предмета лишиться себя жизни, потому что не представляет себе, как жить без Зои. И бьет себя в грудь вилкой два раза. Вот так: И — раз! И — два! Но вилка оказалась очень тупая и даже кожу не поцарапала. Тогда Николай жадно выпивает всю воду из злосчастной бутылки. И кричит в истерике: «Зоя! Вот! Я выпил! Я пошутил!». А ему — ничего. Даже живот не вспучило. Он выскакивает на улицу в одних носках и наступает пяткой на ржавый гвоздь. И опять ничего!..

Пару дней спустя, приходит он в театр, а танцевать не может, Николай был артистом театра оперы и балета. Помыкался, помыкал-

ся за кулисами и домой. Приходит в театр на следующий день и опять не может танцевать. Даже не может на пятку наступить... Неделя прошла, а все без перемен. Ходит Николай по театру, бьется головой о зеркало: «Зоя! Зоя! Я же пошутил!». Все зеркала в фойе перебил. И никто не знает, чем ему помочь...

Но однажды Николай не пошел в театр, а пошел к реке. Сел в лодку и поплыл. И плывет он грустный-грустный в лодке по реке, а мальчишки с берега бросаются в него зелеными яблоками...

Вот, собственно, и весь рассказ... Да, покупаете билет на круизный лайнер. Само собой, все быстро догадываются, что за личность плывет с ними на корабле. Знаменитый писатель. Автор «Зеленых яблок»... И уже дочь капитана приглашает вас на белый танец. Танцуете вы плохо и поэтому скоро уходите на верхнюю палубу. С дочерью капитана. Теплая южная ночь. Звезды светят ярче луны...

— Ах, — говорит она. — Какие звезды! Какие звезды! Восторг, а не звезды!

— Да, красиво здесь, — говорите вы, и смело кладете ей руку на талию...

3. Производственная драма «Василий» (Весна в цеху)

Стучали молоты, пресса давили сталь,
фреза-торговка выла и визжала,
начальник цеха смотрел вдаль,
туда где виден был овраг,
там его девушка лежала...

Она лежала голышом,
чтоб выровнять загар на теле...
Но кто-то скрылся за кустом,
и птицы вдруг с куста слетели.

Начальник цеха взял тиски
и два листа холодного проката,
и пальцами руки так сильно сжал... тиски,
что те (буквально) сдвинулись куда-то.

Он мял спецовку (пальцами руки),
забыв смахнуть ко лбу прилипшие опилки...
А кто-то в это время с шумом вылезал (из тех кустов),
как пиво летом лезет из бутылки.

Остатки птиц кружились в вышине:
и голуби, и галки, и вороны...
Начальник цеха дважды пожалел,
что цех его не делает патроны.

Кончался день, каких не перечесать...
Роился рой, мужик тащил солому.
Весенний первый гром так напугал козла,
что тот (со страху) стал бодать корову.

Начальник цеха шел чинить кровать,
(чинить кровать — ему не привыкать)
которую решил потом продать,
но сколько за нее просить: эх, кабы знать...
Эх, кабы знать...

И гимном неожиданным весне
забытое валялось на песке
в овраге скромное девичье украшеньё.
И вот последний луч зажег его,
чтобы потом уснуть...
И на лугу средь желтых лилий,
как поплавок скакал Василий...



Илана ЭССЕ (СТОЛПОВСКАЯ)

/ 1966–2015 /

Родилась и жила в Вильнюсе. Окончила Вильнюсский государственный педагогический университет. Лауреат конкурсов в области русской словесности и поэзии. Дипломант международного поэтического фестиваля, отмечена наградами за распространение русской культуры и поэзии. Публиковалась в литературных изданиях Литвы и за рубежом. Член Балтийской гильдии поэтов. Ушла из жизни 6 февраля 2015 года.

* * *

Уедем далеко. Забудем путь назад.
Согласна и на белую пустыню.
Я знаю, ты сумеешь... развести там — сад,
беглянке подавая утром дыню.
А хочешь, будем жить у чёрных скал,
соседствуя с семейством лишь орлиным,
и если скажешь мне, что ты — устал,
когда мы будем пролетать над ними...
Мы упадём... Не в моря злой оскал,
а в тучи белые. Устал?
Отныне... всё и вся... под нами
и выше нас —
лишь солнце — жёлтый божий глаз.
Но кто нам, милый, скажет... Амен?..

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ирине и Илюше Мастерман

Мне, рождённой в год смерти Ахматовой,
и растящей, надеюсь, не Мура,
шепчут тайны осины лохматые
некрасивою осенью хмурой.

Обману, притворюсь, что оглохшая
или сызмальства глухонемая.
...И жалеет меня, нехорошую,
далматинцев берёзовых стая.

* * *

По поводу осени было пролито столько дождей,
столько лунных тропинок проложено листопадением,
столько писем бордовых написано клёном о ней,
столько лиственных львиц посжигали в садовых именах.

И не счесть тех ветров, что угнали на праведный юг
белокрылых надежд журавлями кричащие стаи.
И никак не понять, отчего мой единственный друг
из руки моей белой... на волю снега отпускает.

11 октября 2013

* * *

Мой разум пьян, но не от горькой —
под утро, в тишине елейной,
пила я сон, всего и только,
нелепостью его хмелея —
разбив песочные часы
от времени освободилась,
ладони чьи-то причастив,
в их чаши, словно в божью милость,
нагим песком в любовь струилась.
...мой разум пьян.

24 октября 2013

* * *

Он мне сказал — проснись, сказал — светило встало.
Так отчего вокруг жирует темнота.
На ощупь наряжу звездой ярко алой
ту ёлку, что жила в подвале у Христа.

Влюблённая навек в своё большое горе,
я бабочкам спою, приколотым к стене.
И голос мой умрёт в их шелестящем хоре.
Я шёпотом пою — так пела мама мне.

2 июля 2014

Я... ВЛЮБЛЕНА

Бутон любви в моём саду
расцвёл, не убоившись стужи.
В серебряном полубреду,
в гипюровой вуали кружев
снежинок белых, в белом платье,
с фужером белого вина...
Целую лепестков объятья,
мой звёздный бог, я... влюблена.

РЫЖЕМУ ДРУГУ

Брешет... слышишь... где-то брешет
пса помершего душа.
Никто костью не потешит —
что ж кормить, коль... отошла.

Как ты там, мой рыжеухий...
Что видать с той высоты...
Скоро стану я старухой...
И приду туда... где — ты...

СИНИЙ МАХАОН

...и вишни губ, и царский сад волос,
неримский профиль, глаз хамелеоны,
планету женщины вращаю ось
под синий шелест крыльев махаонов.

Амур-река, течёт амур-река.
Роса любви, как слёзы аметистов,
и милой тени нежная рука
кладёт на грудь мне звёздное монисто.

Свеча луны раскрыла тайну тел,
и звукопись ночи ласкала утро.
Вдруг ливень оголтелый налетел —
и нет ни бабочек... И ночь приснилась будто...

* * *

Крылья белые чёрному ангелу
я примерить пыталась не раз.
Но в глазах его — свадьба лукавого,
пляс хвостов из-под шёлковых ряс.

Уж на скатерти красным по белому
старых вин распустились цветы.
Боже мой, что со мною вы сделали...
Стал к лицу мне цвет серой фаты...

КТО — Я

Голос сладкой паутиной
кокон вьёт вокруг меня.
Боже, неисповедимы
мне пути твои... Кто — я...

Голос птицы неизвестной...
Дождь, клокочущий во тьме...
Оттого мне тут так тесно,
Что пришла сюда из Вне...

* * *

Не пишется... луна чернее ночи,
и звёзды-карлики попрятались в саду.
И жизнь моя уж ночевать не хочет
в насквозь пропахшем осенью аду.
И я не знаю! Было или снилось:
вокзал, нелепый фикус за окном...
И мне одной ниспосланная милость —
осенний снег дождливым ноябрём.

ИЮЛЬ

Мечутся птицы, ничем не встревожены, —
тихое небо, грозы не видать.
Зноем июльским давно обезвожена
синяя-синяя робкая гладь.
Мечутся птицы над церковью запущенной,
крест, словно пугало от воронья,
высится в поле небесном. Гнетущее
зрелище неба глядится в меня.



Александра БАНДУРИНА

/ Рига /

Родилась и выросла в Риге в семье учителей русской словесности. Имеет физико-математическое образование, работает бухгалтером. Член литературных обществ «Светоч», «Балтийская гильдия поэтов». Публиковалась в рижских поэтических альманахах «Светоч», «Письмена», антологии «Русская поэзия Латвии» и российских периодических изданиях «Литературный Петербург», «Парадный подъезд», «Второй Петербург», «Невский альманах», «День и ночь», «Артбухта».

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Триптих

1

Время словно тонкое стекло —
Видишь, но не можешь прикоснуться.
На веранде тихо и тепло,
И оса варенье ест из блюдца.

Мягкий свет топлёным молоком
Нежит куст герани, половицы.
Шумный табор наш покинул дом,
Чтобы, нагулявшись, возвратиться...

Мир простых, бесхитростных вещей,
Позже оказавшихся любовью.
Ты уже давным-давно ничей
И чужая жизнь под старой кровлей.

Время, словно прочное стекло —
Не войти в то лето, не согреться...
Память знает всё, но ей назло
Прикоснуться б, не рукой, так сердцем.

2

Улочки легко сбегали к морю,
Прихватив в компанию прохожих,
И в лучах заката белый город
Тоже становился меднокожим.

Пахло йодом, рыбой, поздним летом,
Дозревающим вместе с виноградом,
И наивно верилось при этом —
Больше ничего тебе не надо.

Только синий ветер в синем море,
Где для волн прозрачным стало тело,
Музыка спокойного простора,
Мысли растворившая умело...

А у нас опять глухая осень,
Стынут в снах бульвары Зурбагана.
Ветер листья жухлые уносит
Так и непрочтённого романа.

3

В объятьях липовых аллей
Расти возможно, не взрослея.
В тени их — парусá алеи
И безрассуднее идея.

Зелёным, любящим крылом
От безупречности хранима,
Я сотню жизни аксиом
Нарушила, промчавшись мимо.

Не в силах провести черту
Между свободой и упрямством,
Всласть набирала высоту
И задыхалась постоянством.

Медовый ветер колдовал,
В кровь задувая блажь и странность:
Принять всерьёз игру в слова
И одиночество как данность.

Зачем о выборе другом
Сейчас гадать? Я не жалею...
Осенним, хрустким шепотком
Мне вторят тёмные аллеи.



Николай КОТОВ

/ Рига /

Котов Николай Сергеевич. Родился и живёт в Риге, член литературного общества «Светоч». Печатался в различных изданиях.

ШЁПОТ

Он любил идти в баню первым, когда воздух в парной сухой, жаркий, пахнет горячим деревом, вдыхал полной грудью, и жар проникал в лёгкие, приятно обжигая, словно распирая изнутри. Не было для него лучшего наслаждения. Сидел на нижнем полке, прикрыв глаза, прислушиваясь, как шуршат нагретые в каменке камни, как потрескивают на стенах доски... словно шёпот среди милой ему тишины.

Мишин любил париться в одиночку. Что за радость набиваться в баню толпой по пять, десять человек? Для него двое — это уже много. Баня не терпит суеты. Какой тут отдых, когда кругом шумные разговоры, один входит, другой выходит, кто-то без конца поддаёт на каменку, а ещё выпивка... Он не любил суеты. Прикрыв глаза, слушал, как со всех сторон течёт неспешный банный шёпот.

На выходные приезжал на дачу и протапливал баню к вечеру, в любую погоду, даже в жару. Если приезжал кто из сыновей, то парились по очереди, к этому давно уже все привыкли. Сегодня Мишин был совсем один, торопиться было некуда, а потому сидел, блаженствовал. По спине, исчезая, пробегала мелкая дрожь, уступая место жару, он разливался по всему телу, по рукам и ногам, до кончиков пальцев.

Он привык к одиночеству. Как-то так сложилось само. Друзья, коллеги, родные, все занятые люди, у всех свои неотложные дела, и поговорить по душам просто не с кем. Даже жена, с которой прожило почти тридцать лет, не очень-то дорожит его обществом. Похоже, она даже рада, когда его нет дома. Вчера сказал ей, что поедет на

дачу, и заметил, как блеснули её глаза. Лучшего подарка для неё трудно было придумать. Мишин не мог припомнить, когда точно это началось. Когда-то они не могли расстаться надолго, скучали друг по другу, а теперь... На сколько же им надо разлучиться, чтобы наконец соскучиться? Конечно, если он поздно придёт домой, она будет волноваться, но оставь её на выходные одну, будет только рада.

Выйдя из парной, ополоснул лицо холодной водой, смыв с губ солоноватый вкус пота. На столе в предбаннике стоял большой фаянсовый чайник с травяным чаем. Сегодня он заварил душицу. Ароматный получился чай. Налил немного в чашку, сделал пару глотков, перевёл дух... Хорошо.

Жена следит, чтобы он был сыт, здоров и ушёл из дома в чистых носках, также она следит за сыновьями, не делая никакой разницы. А сыновья... Старший вот-вот жениться, и заживёт своей семьёй, а младший... Впрочем, что старший, что младший. Мишин давно заметил, что отношения с сыновьями у него сложились какие-то странные. Вроде бы они с ним приветливые, даже почтительные, а общих интересов никаких. Все семейные непринуждённые беседы складывались благодаря жене. Она задавала тон разговору, всё общение происходило через неё, но стоило ей куда-то выйти, как повисала неловкая пауза. Говорить с сыновьями было не о чем. Сам Мишин не привык рассказывать о себе, тем более расспрашивать о чём-то других. В самом деле, зачем спрашивать у сыновей как дела, если знаешь, что услышишь в ответ: «Всё нормально»? А если что не в порядке, они всё равно расскажут об этом не ему, а матери.

Мишин запил размышления чаем и взял веник. Распаренный. В парной поддал на каменку. Пар чуть обжигал руки, раскалял веник, который горячим опахалом опускался на плечи, ноги, спину... Чувствовалось, как тепло проникает внутрь, как тело накаляется от жара. Мишин только головой качал от удовольствия, ухал, вздыхал, покрывал. На минуту останавливался, переводил дух, потом вновь поддавал на каменку, взмахивал веником ещё и ещё... Но, в конце концов, слез с полка и отправился в предбанник отпиваться душицей.

Не понимал он берёзовый веник, никакой с него радости, мягкий становится, как распаришь. Сыновья его, правда, только берёзовыми и парятся. Но им-то, может, в самый раз, а вот Мишин любил дубовый. Милое дело! Найдёшь в лесу молодые дубки, срежешь ветки, которые потоньше, свяжешь веник, высушишь в тени, а потом распаришь... И разве передашь словами это удовольствие?

Жена его не любит бани, относится к ней, как к очередной мужской забаве. Как к рыбалке, например. Сколько не уговаривал её попробовать, всё отмахивалась. Парьтесь, мол, а меня не трогайте. Вообще она перестала интересоваться его делами, мыслями. Если и спросит, например, как дела на работе, то скорее по привычке. Ответишь ей, лишь кивнёт равнодушно. Хотелось бы знать, её в нём вооб-

ще ещё что-нибудь интересует, или в её представлении он уже ничем не отличим от мебели? Неужели вся его ценность только в деньгах, которые он приносит в дом? Это было бы уже совсем грустно.

Мысли в бане приходят разные, но грустных среди них быть не должно. Баня должна поднимать настроение, а не наоборот. Мишин обернулся полотенцем, вышел посидеть на скамейке, вдохнуть свежего воздуха. Тихий, предосенний вечер. Собаки не лают. Пискнул комар, закружил вокруг Мишина, но лень было отмахнуться. Пару раз глубоко вздохнул, наблюдая, как от рук и плеч поднимается пар. Рядом с баней росла яблоня, чуть качнула ветвями, и её листья зашептали что-то своё, вечернее.

Хорошо, когда есть здоровье, без него и отдых не в радость. А у Мишина здоровье было. Вообще для своих лет он ещё... Недавно в кафе видел девушку. Зашёл туда с приятелем, надо было поговорить. Девушка сидела за столиком неподалёку и очень внимательно его, Мишина, разглядывала. Интересная девушка. То есть как девушка... Молодая женщина лет тридцати. Смотрела на него и улыбалась. Знала бы жена, а то не ценит, не знает, что мужа в любой момент увести могут.

Мишин улыбнулся своим мыслям, похлопал ладонью по дрябловатой талии, вспомнил о недавнем радикулите. Здоровье здоровьем, но нечего сидеть на холоде. В предбаннике посмотрел в зеркало, ухмыльнулся. Размечтался, девушки ему улыбаются. Может она оттого и улыбалась, что не могла смотреть на него без смеха. Конечно, живот отрастил, волосы седеют... Впрочем, сидеть там скоро будет нечему.

Помнится, притащил домой пудовую гиру, даже пару дней её поднимал. Потом всё руки не доходили. Так и валяется в кладовке, все об неё только спотыкаются. Да и какие теперь занятия. Начнёшь что-то делать на даче, землю копать или колоть дрова, так на другой день спина болит. Раз пошёл за грибами, заблудился, бродил по бурелому, насилу вышел, потом два дня болели ноги.

Мишин пил душицу. Интересная получается жизнь, делаешь в ней не то, о чём мечтал, а то, что на твою долю выпало. Попалась какая-то работа, впрягся и усердно тянешь лямку. Также и с семьёй, сложилась какая-никакая, впрягся и тянешь. И сколько же так тянуть? Оглянуться не успеешь, как дотянешь до финиша. Уйдёт всё, что он любил... А что он любил, и кого? Любил жену. Когда-то он её, без сомнения, любил. Любил баню, и эта взаимная любовь продолжается до сих пор. Ещё? Ещё любил полосатых кошек. Это была какая-то давняя тайная страсть. При виде самой обычной уличной полосатой кошки сердце его вздрагивало, и в душе всплывали сентиментальные чувства. Иногда он их подкармливал, за что кошки позволяли гладить себя по голове. Но завести такую же дома не решился, жене они не нравились.

Жене вообще много чего не нравилось из того, что нравилось ему, во многом их вкусы не совпадали. Зачем же она вышла за него замуж? Расчёта тут никакого быть не могло, Мишин никогда не был завидным женихом. О какой-то безумной страсти тоже не могло быть и речи. Что же? Любовь? Мишин почувствовал, что если не остановится, то разболится голова. Взял веник и пошёл в парную. На этот раз не усердствовал с паром, не спеша обхаживал себя веником.

Баня расслабляет. Сон после неё долгий и крепкий. Отоспишься за ночь, на утро сидишь, лениво смотришь по сторонам. Значит — хорошо попарился. Отдых, борьба со стрессом. Всю жизнь постоянно с чем-то борешься. Сперва с безденежьем, потом со стрессом, заодно с какой-нибудь болезнью, потом ещё с чем-нибудь. Всю жизнь непримиримая борьба. Скоро его сделают дедом, запишут в старики, а потом спроводят на пенсию. И что дальше? Сидеть и париться в бане?

Интересно, что же останется после него, Мишина? Какую сохраняют о нём память? Скажут, что жил, работал, вырастил двоих сыновей, любил париться в бане... и любил полосатых кошек. Не густо. Жил себе, жил, а не нажил даже на красивую эпитафию.

По крыше забарабанил дождик. Как всё переменчиво. Недавно было ясно, теперь нагнало тучу. Мишин прислушался к шуму дождя. Вот ещё один шёпот. Невесёлые у него в последнее время мысли и рассказать о них некому. Впрочем, он привык и к мыслям, и к одиночеству. Ведь не было никакой разницы, в бане он сейчас, или дома. Всё равно один, не смотря на то, что рядом жена, сыновья... Для них есть ли он рядом, нет ли, разницы не было никакой. Мишин был в этом уверен. Он занимался своими делами, его не трогали, чтобы он, в свою очередь, не трогал их. Завтра он приедет домой, и жена, отдохнув от мужа, встретит его приветливо, накормит ужином, поделиться какими-нибудь новостями, а потом займётся чем-то своим, считая, что так и должно быть, что иначе не бывает. Догадывалась ли она о сомнениях всё чаще посещавших её мужа?

Проходило время, скоро нужно было заканчивать. Мишин пил чай из душицы, думал, что следует окатиться холодной водой, это бодрит, что в следующий раз неплохо было бы заварить листья мяты или смородины. Он просиживал в бане часа по два, иногда включая радио, а чаще просто так, прислушиваясь к шёпоту наступающего вечера.

Раздался телефонный звонок. От неожиданности Мишин вздрогнул. Собирался выключить его, да позабыл. Кто бы это мог быть? Жена?! Действительно, на телефоне появилось её имя. Неужели соскучилась? Или что случилось? Пару дней назад она себя неважно чувствовала. Мишин поспешил ответить. Но нет, у неё всё было в порядке, уже собиралась ложиться спать, просто напонила, чтобы завтра, когда он поедет домой, захватил с собой бельё для стирки...

Мишин усмехнулся. Всё как всегда. Стоило ли ожидать иного? Усмешка застыла на губах. Он не жалел, не горевал, задумавшись наблюдал, как по окну стекают дождевые капли.

ПРО ДУДОЧКУ

Он научился делать дудочки. Мастерил их сам, найдя чертежи в интернете. Первые получались плохими, никакого толкового звука воспроизвести не могли. Блеяли, шипели, повергая начинающего мастера в уныние, но попыток он не оставлял. Времени было много. Что ещё делать человеку на пенсии? И вот, наконец, получилось. Дудочка издавала ровный, чистый звук. И не одну-две ноты, их было вполне достаточно, чтобы исполнить какую-нибудь мелодию.

Играть он, конечно же, не умел, но желания научиться было достаточно. Стал заниматься. Утром, днём и вечером. Старательно подбирая на слух мелодию. Жена возмущалась, соседи провожали его тяжёлым взглядом. Он не отступал. В молодости бы ему такое упорство. Жена грозила разводом, соседи не здоровались. Однако вскоре он уже мог наиграть несколько народных песен, застольных и плясовых, пока не услышал по радио Баха.

Что-то случилось в нём, как будто открылась запертая на глухой засов дверца. Бах, «Сицилиана», вот и всё, что удалось узнать. Почему-то запомнил всю мелодию сразу, не потребовалось искать её и слушать снова. Звучала флейта, но он с успехом заменил её своей дудочкой. Оказалось, что слух у него есть, и слух хороший. Слушая мелодию, испытывал трепет, непонятный самому себе восторг, а потому исполнял её с осторожностью, с нежностью извлекая звуки. Жена перестала ругаться, соседи простили ему всё. Они и сами не ожидали, что сосед на минуту заставит их почувствовать себя совсем другими людьми. В душе они рукоплескали ему, кричали: «Браво», хотя оставались безмолвны.

Он же, держа в руках дудочку, грустил. Как же так? Ведь прожил всю жизнь, считая себя самым заурядным человеком, без каких-либо выдающихся способностей, а тут оказалось, что не обделён талантом. В детстве мысль заняться музыкой не приходила в голову ни ему, ни его родителям. Учился, работал, и только теперь взял в руки инструмент, тем более самодельный. Так случилось, выпал случай. Почему же он не выпал раньше? Ведь всё могло сложиться иначе. А что теперь? В артисты его не возьмут, только и сможет стать, что заслуженным пенсионером. Словно целая жизнь прошла мимо. И даже не подозревал, что всё могло быть иначе.

Сидел, как счастьем обнесённый. И ничего не хотелось, только взять дудочку и играть, играть... За стеной затихли жена и соседи, должно быть, сожалея о своём, не случившемся. Время нельзя было повернуть, оно медленно текло, как тихие звуки барочной «Сицилианы».

ПРО ЖЁЛУДЬ

Дуб был рослый, могучий, раскидистый. Стоял посреди поляны, отбрасывая на землю густую тень. На ветвях плотные зелёные листья и жёлуди, один другого краше. А один к тому же ещё и умный. Висит, по сторонам оглядывается и думает. Сверху ему далеко видно, всё примечает. Видит и лес, и дорогу, и посёлок. Вот люди идут, вот птицы на дуб садятся. Поговорить бы с ними, да только они не хотят разговаривать.

Висит жёлудь и думает. Что ему ещё остаётся? Хорошо на дубе, спокойно, виси, созревай. Да только время придёт и счастливое житьё закончится. Некоторые его соседи уже с ветвей спрыгнули, хоть и не дозрели. Поспешили. Но он торопиться не будет. Пока и здесь хорошо, солнышко греет, дождик оmyвает. А внизу земля, да трава, не очень-то уютно. К тому же ночью, он сам это видел, из лесу пришли кабаны. Долго возились внизу, чем-то хрумкали и сыто хрюкали. Жёлудь вздрагивал. Стоило расти всё лето, созревать, чтобы тебя потом под дубом схрюкали.

Осень пришла в своё время, с ветрами, холодом и дождями. Дуб кряхтел, ворочался, желтел листвою, стряхивая с себя всё больше желудей. А под дубом собиралась лужа, и плюхаться в неё вовсе не хотелось. Жёлудь хватался за ветку из последних сил, а дуб, роняя листья, готовился уснуть. Сегодня, завтра всё равно придётся упасть, а там грязь, кабаны...

Но вот дунуло ветром, ветка дёрнулась, жёлудь оторвался и полетел навстречу земле. Только ударился о ветку, потом о другую, закрутился, завертелся и оказался совсем в другой стороне. Сухо. Но место открытое. Всё, пропал, ночью непременно сожрут. Цеплялся за ветку, цеплялся, и вот, пожалуйста!

Из посёлка на велосипеде приехал школьник, что-то искал в траве. Схватил жёлудь, повертел в руках и сунул в карман. Зачем-то он ему понадобился. Сел на велосипед и поехал. Жёлудь лежал в кармане и удивлялся. Темно, зато тепло и сухо. Что же, интересно, будет дальше? Вот так, думал, что конец, а всё, оказывается, только начинается.

ПРО СУСЛИКОВ

Он не мог спать, сон был наказанием. Все люди как люди, спят без снов, или видят какую-нибудь ерунду... А ему по ночам снились суслики. Бежали, суетились, или стояли столбом, тихонько посвистывая. И так из ночи в ночь. Их морды ему опротивели. Он пытался вообще не спать, терпел сутки, двое, потом не выдерживал, забывался и вновь встречался с ненавистой компанией. А они ему радовались, тянулись, обнюхивали, принимали за своего... И так до самого утра.

Деваться от них было некуда, ничего не помогало. Ни рюмка, ни лекарства на них не действовали. Врачей они не боялись, колдунов не слушали, а только щекотали по ночам усами и даже улыбались. А он был добрый человек, сердиться на них не мог. Да и за что сердиться? Милые, слова дурного не скажут. Он привык к ним, сроднился и перестал тяготиться их обществом.

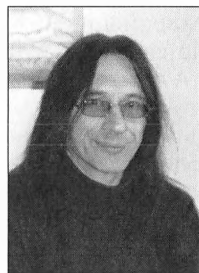
Благодаря им он многое понял. Ведь совсем неважно, где и как ты живёшь, по сравнению с условиями жизни сусликов смотришь на свою жизнь и понимаешь, что тебе ещё повезло. Живёшь в тепле, в сухости, электричество есть и просторней, чем в норе. Не надо озираться по сторонам, стоять возле входа, высматривая желающих тобой поужинать. Суслики неприхотливый народ, есть еда — жуют, нет — спят. Жена давно перестала его радовать, а теперь понял, что с точки зрения суслика она очень даже ничего. Нечего тогда и жаловаться. Пускай на плите у неё всё горит, а ужин пересолен. Суслики и такого не видят.

Днём не сиделось дома, тянуло на простор, в степь. Стоял в поле, вытянувшись струной, зажмурясь вдыхал принесённый ветром воздух, смущая собак и охотников гонявших зайцев. Очень жалел, что не мог встретиться со своими друзьями наяву. Поэтому с нетерпением ждал вечера, засыпал раньше всех, а там в его объятия бросалась вся шерстяная компания. Он узнавал каждую милую морду, различал по именам, делил с ними горе и радость, а утром изумлённо смотрел на жену, пока не находил в ней знакомые черты.

На счастье это было, или нет... Почему всё лучшее с ним случилось только во сне? Он не находил. А потом и вовсе бросил искать ответа. Днём мыкался между домом и работой, а вечером возвращался к сусликам. Только там, среди них, он чувствовал себя человеком.

Михаил МОСКАЛЕНКО

/ Инчукалнс /



Родился в 1957 г. в Риге. Поэт. Член Рижского Союза литераторов «Светоч». Член Союза писателей России. Автор двух книг поэзии. Переводчик духовной поэзии с санскрита. Дипломант Вселатвийской литературной премии «Признание». Живёт в Инчукалнсе под Ригой.

В ДУХ И ПРАХ

«Нить, как волос. Жить, как колос.
Размолотит колос в дух и прах один цепной удар
Да я все знаю. Дай мне голос —
И я любой удар приму, как твой великий дар».

А. Башлачёв

Я размолочен в дух и прах,
Без злости пропадают кости.
Я в пламени на всех кострах,
Я — прах и пепел на погосте.
Подхватит ветер перемен
Сей прах, и всё уже в порядке.
Вольюсь я кровью новых вен
В одну из строк моей тетрадки.
Пусть лист тетрадки запоёт,
И снова станет верным слово.
Лёд и Огонь, Огонь и Лёд —
Моя платформа и основа.
Я размолочен в прах и дух,
Так выпекай буханку хлеба!
Накрой скорей столы в саду,
Стели скорее скатерть-небо!
Давай, усадим всех друзей,
Устроим дивное застолье.

Дух затоскует по грозе,
А прах, похоже, будет солью.
Я щедро сыплю эту соль
В рубцы, оставленные песней.
И всё очистит эта боль,
И солнце радости воскреснет.

ПРОЗРАЧНА

Прозрачна слеза, солона да горька,
Она хоть мала, но омоет, очистит.
Узорят просторы небес облака,
Опустим скорей в эту синь наши кисти.
Я всё нарисую на простыни дней,
И каждый рисунок с тобою повязан.
С тобой сочетается море огней,
Рисунки рифмуются разом и сразу.
Прозрачна слеза, солона да горька,
Слез ли, осколки зеркал и рассветов?
Сверкать им недолго, всего лишь века
На светлом просторе короткого лета.

БРОДЯГА БОГ

Бродяга Бог идёт по снегу.
Рюкзак, гитара за спиной.
Рифмует Альфу и Омегу
И грезит звонкою весной.
Идёт, растерянный немного,
Мурлычет Вечность возле ног.
Но как же распознаешь Бога,
Когда во всём на свете Бог?

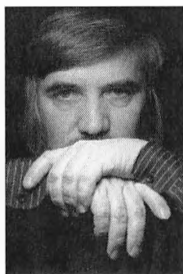
ПЕСНЬ ПОЛНОЛУНИЯ

Белым, багряным, облаком рваным,
Звонким рассветом, крошечным туманом,
Чёрным и чистым, низом и верхом...
Кисти из листьев в краске из смеха.
Что-то пророчат поэмы без точек,
Вышли из ночи, как листья из почек.
Звуки, как руки, ласкают и будят,
Замерли звуки на блюде прелюдии.

Ты как комета, вся разодета
В пёстрое лето, с подвязкой из света,
В небе танцуешь, меж знаков и рун я
Вижу тебя Госпожой Полнолуныя.
Милая Муза, коснись моей раны
Белым, багряным, облаком рваным,
Звонким рассветом, крошечным туманом.

НОЧНОЙ ЛОДОЧНИК

Полночный Лодочник, плачу тебе сполна,
Ночное солнце на моей руке
На небе светит полная Луна
И чёрная вода блестит в реке.
Мои одежды белые как снег
А в волосах застыли капли звезд
О, Лодочник Ночной, я человек
Украшенный перстнями снов и грёз.
Я вижу, в нашей лодке нету дна,
Глаза Твои закрыты, вёсел нет,
Но главное, что цель у нас одна.
Уткнуться носом в самый яркий свет!
Глотнуть большой, большой глоток зари
И капельку росы согреть дыханьем,
В цветы одеть ночные фонари
И в песне донести благоухание.
Полночный лодочник открыл свои глаза,
Нет, не весло, а луч в его руке.
А лики звёзд подобны образам
Лампадами кувшинки на реке.



Сергей ПИЧУГИН

/ Рига /

Родился на Кубани в г. Приморско-Ахтарске в 1957 году. Окончил Институт инженеров гражданской авиации. Публиковался в журналах «Даугава», «Родник», «Рижский альманах», «Провинциальный альманах», «Настоящее время», «Молодая гвардия», «Второй Петербург», поэтических антологиях «Освобождённый Улисс» (Москва, 2004 г.), «Современная русская поэзия Латвии» (2008 г.), сборнике «Русская проза XXI век» изд. «Светоч», альманахах «Академия поэзии» (Москва, 2008 г), «Альтер эго» (2008 г., Лондон), 2-й и 3-й выпуск альманаха «Золотая строфа», «Планета поэтов» (Латвия) с 1 по 4-й выпуски, «Северная Аврора» (2012 г.), «Письмена» (2012 и 2013 гг.), альманахе «Паровоз» (Санкт-Петербург). Автор пяти книг стихов и прозы. Занимается изданием древнерусской певческой литературы и записями древнерусского знаменного распева. Член Союза российских писателей. Лауреат нескольких литературных премий. В настоящее время живёт в Риге.

АПОСТОЛЫ

Зелёный звукоряд, букварь листвы
раскрылись, как восторг, земными алтарями.
И новый дар благословят волхвы:
наш верный Царь грядёт и дышит за дверями.

Как в нетях не пропасть и Бога не прогневать?
Природа выше нас и глубже сна.
Мы — яблоко стыда, надкушенное Евой,
посланий грозные письмена.

Мы прощены горением псалма.
Но если угодить предсказанному снами —
нас ветряки крестов сведут с ума.
Так ворон видит смерть, идущую за нами.

Мы — исцеление расслабленного света.
Но тот, кто будет признан чудаком,
добавит свету грань и буквицу Завета,
нам по волнам являясь босиком.

И нам всего на свете тяжелей
восстание огней Отеческого гнева.
Нам — веру напоить, как, влив елей,
разжечь лампаду нерадивой девы.

Мы — древо партитур, наитий невесомых,
тягучего огня, чутьё летяг.
Мы — корневой побег в родильне чернозёма,
и осень — наш могучий, дымный стяг.

* * *

Движениями рук в могучей тьме
нас вылепит слепой из тёплой глины
и жизнь вдохнёт — и мы в своём уме
услышим плач Петра и Магдалины.

Предавший и возлюбленная, весть
верна — не об учителе заезжем,
но радость упоительная есть
о Сыне, осуждённом и воскресшем.

Разъяты вихрем царские дома,
ведут слова на суд ревущей бездне.
Но мы, побеги тайного письма,
затеплим песнь — и растворимся в песне.

* * *

Небесный луг и души, как цветы,
и удивленье глотки соловьиной,
и поцелуй земли как правоты:
минувшая судьба непоправима.

Ионосферный луг, высотный яр,
библейский воздух благорастворенья...
Но вяжется любовь, как терпкий дар
чудесного обмана и прозренья.

Любовь моя, направь мои ступни
к тебе, хмельной занозе, вечной сшибке!
О Господи, прошу Тебя, храни
моё земное право на ошибку...

* * *

Так дорог мне в суровом храме
хранитель родовых ключей —
приворожёнными стихами
разворошённый книгочей.

Вот он идёт по коридорам —
и открываются в пыли
листы, прошитые простором,
горючие века Земли.

Единокровными ночами
ему услышать довелось:
во мне кузнечиком печальным
стрекочет световая ось.

* * *

Чем памятны лето, гортанная ранняя осень?
Уколет в рубашке, навевает пшеничная ость
седьмые концерты дождя и взъершённые косы,
поэзию, солнечный свет, виноградную гроздь.

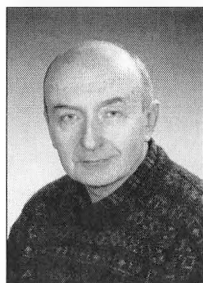
В струении лета ладонь златотканой иконы
нас благословила невидимым певчим смычком.
Как вещие сны поутру, эта память бессонна
и пышет в траве заблудившимся светлячком.

Мы знаем — незримые ангелы нами владели,
их руки, склонившись над нами, держали венцы.
Повздоровивши зря, мы мирились, обнявшись в постели,
как в чреве у матери мирятся близнецы.

Нам так не по силам поверить в мирские наветы,
нам так невозможно представить, что будем мы врозь,
как тайно дразнясь и сплетаясь, растут на рассвете
поэзия, солнечный свет, виноградная гроздь.

Юрий ЛАВРИНЕНКО

/ Даугавпилс /



Юрий Лавриненко, гражданин Латвийской Республики, член писательской организации Латвии с 1998 года, член Союза писателей России с 1999 года. Образование — высшее (Рижский политехнический институт, инженер-механик, 1977). Окончил Витебское училище культуры (1989–1991), режиссёрский факультет. Работал на предприятиях Даугавпилса, в газетах города и района корреспондентом, заведующим отделом, заместителем редактора, автор четырёх книг прозы. Публикации в журналах и сборниках Латвии, Эстонии, России). Подготовлены к печати книги «Провинциалы» — проза, «110 впечатлений» — стихи, пьеса «Странные сближения». Награждён медалью М. Шолохова в честь столетия со дня рождения писателя.

ЖЕЛТЫЙ СНЕГ

Хорошо, хоть под Новый год зима явилась... Пришла, рассыпалась...

Генрих Вадимович смотрел в окно на сгустившиеся сумерки. Скосил глаза направо. Там, при свете фонаря, падающий снег выглядел необычно, почти сказочно... Желтые хлопья медленно опускались на землю. А Новый год в душе совсем не ощущается. Не хватает чего-то...

Генрих Вадимович отвернулся от окна, взглянул на портрет женщины на стене:

— Пойти прогуляться, что ли... — Глаза женщины на портрете смотрели добродушно. — Снежок... Подышу...

Генрих Вадимович знал, что выражение лица на портрете в зависимости от того, что он собирался совершить, могло быть ещё укоризненным, насмешливым, грустным...

Потрогал поясницу:

— Уже меньше болит... Меньше... Ничего, осторожно.

Спускался по лестнице медленно, держась за перила, стараясь не тревожить позвоночник. В окнах подъезда видел отражение — свою высокую неестественно прямую неуклюжую фигуру.

На втором этаже в двери однокомнатной, когда он проходил мимо, щёлкнул замок. Странная соседка... Такое впечатление, что она постоянно стоит около двери, следит что ли... Работает на какую-то разведку... Ха-ха... А ведь была педагогом.

Во дворе юная семья, — родители везут своего малыша на санках... И удивительно, — мальчик смотрит на фонарь, на снег... Ведь заметил... В глазах удивление и радость, возможно, он запомнит этот снег на всю жизнь, и это повлияет как-то на его развитие...

— Какой снежок! — раздался сзади женский голос. Генрих Вадимович обернулся. Конечно... Соседка со второго... Тёплый лыжный костюм — синий, с белыми элементами, красно-белая вязаная шапочка делают её похожей на студентку... Издалека...

А что её выпроводило на улицу? В руках елочное украшение — блестящая лёгкая гирлянда. Неловко переступая в сугробе, она добрела до куста сирени, развесила гирлянду на голых ветках.

— Так красивее? — спросила, оглядываясь через плечо.

— Гораздо, — согласился Генрих Вадимович. — Я, наконец, почувствовал приближение Нового года.

Выбираясь из сугроба, соседка потеряла равновесие, неловко замахала руками. Генрих Вадимович машинально подал ей свою, помогая выбраться из снежной западни.

— Мерси... А снежок-то... Как по заказу... А? Вы спускались по лестнице, а я подумала: кто это так аккуратно идёт — необычно и незнакомо...

— Ну... Слегка прихватило, — недовольно отозвался Генрих Вадимович, показав на поясницу.

— А я знаю один великолепный метод лечения. У самой бывает... Напишу на бумаге... Так что не падать духом... А то вы такой печальный постоянно. Она посмотрела прямо в лицо Генриху Вадимовичу.

— Что ж поделаешь... *Мир раскололся, и трещина прошла по моему сердцу.* Полтора года...

— Понимаю... Но надо жить... Сколько отпущено...

— Да я-то согласен. Но невольно принимаешь реальность, как карась

сковородку.

— Понимаю... Тут с советами лучше не лезть... Потому что всё очень индивидуально.

«Педагог, — подумал раздражённо Генрих Вадимович. — И зачем вообще этот разговор».

— Ладно... Пойду, совершу кружок... Движение — жизнь... Да? Пока...

Неловко повернулся. Неторопливо пошёл с неестественно прямой спиной. На углу оглянулся. Возможно, она не возражала бы пойти вместе. Вон — стоит, задумчиво смотрит на снег у фонаря. Тоже заметила... Молодец...

Когда возвращался через десять минут, у подъезда никого не было. Глаз радовала гирлянда на ветках сирени.

На площадке второго этажа снова щёлкнул замок. Скушает... Но чем ей помочь?

Дома, раздеваясь, посмотрел на портрет. Глаза женщины смотрели укоризненно.

— Ладно, ладно... Нечего дуться... Подумаешь, поговорили. Сама видишь: нелегко тут...

Подошёл к окну... Погрел руки, положив их на радиатор. Вообще... Лучше уходить не зимой... Холодно... Земля мерзлая... Хлопоты... Впрочем, чего загадывать...

Сколько тут до двенадцати... Сегодня нужно посидеть с телевизором до Нового года... А уж потом спать.

Звонок в дверь заставил вздрогнуть. Ничего себе... Кого это... Открыл настороженно...

Она слегка смущена... Смотрит исподлобья, как провинившаяся девочка... Но улыбается:

— Вот что... Приглашаю Вас по-дружески, по-соседски на ужин... Чувствую: у меня сегодня от тоски крыша поедет, если буду сидеть одна... Выручайте... Пойдёмте, а? Как вы на это? А?

— Ну, чего там... Это самое... Можно... — заволновался Генрих Вадимович, — только у меня это... Не ожидал...

— Бросьте... Всё есть. Я вас приглашаю... Просто за вами тост... Я жду?

— Да... Да... Пять минут... — улыбнулся неловко.

Соседка ушла.

— Пять минут... пять минут... — машинально запел Генрих Вадимович, засуетился, суматошно открыл шкаф, выбирая рубашку.

Привычно кинул взгляд на портрет. Женщина выглядела грустной.

— Да, брось ты... Посижу там полчаса... Не волнуйся... Ничего плохого... Ну, час...

ОСЛЕПЛИ НАШИХ ДУШ ОКОШКИ

Еще кружок и... можно домой. Геннадий Петрович посмотрел на часы. Он гулял почти час. Вышел на центральную аллею. Нет, хватит...

Не спеша направился к выходу из парка. Заметил на крайней скамейке сидящую женщину. Она смотрела на него и улыбалась.

Геннадий Петрович огляделся. Никого рядом нет. Улыбка предназначалась ему. Знакомая? Вроде, похожа на учительницу внука. Отдыхает тут что ли. Одна... Занятно.

Геннадий Петрович тоже улыбнулся, помахал рукой.

— Мужчина... Можно вас спросить?

— Не она, — с досадой подумал Геннадий Петрович.

— Спросить-то можно. На любой вопрос — любой ответ.

— Если вы не торопитесь, — женщина посмотрела вопросительно...

— Ну, что там... Я уже подошел.

Вульгарная манера общения слегка раздражала. Сощурившись, рассмотрел вблизи лицо собеседницы. Простоватые, но правильные черты. Да, похожа, только слегка крупнее... Легкая блузка, открытые шея и плечи. Загар. Крепкое налитое тело. Что ей нужно?

— Только не подумайте плохое. Мне никакой секс не нужен.

— Что происходит с людьми? Поголовное помешательство, — мелькнула мысль

— Да? — неопределенно и машинально отозвался Геннадий Петрович. — Ну и?

— Знаете, иногда хочется с кем-нибудь поговорить. Смотрю — вы один. Туда-сюда... Думаю, чего это он один — туда-сюда.

— В общем, да...

— А я вот решила посидеть. Не то, чтобы в смысле свежего воздуха... У меня свой дом. Воздуха хватает. Но иногда грустно.

— А кто дома? — опять машинально спросил Геннадий Петрович, рассеяно посматривая на грудь, на плотно прижатые друг к другу стройные ноги.

— Сейчас никого. Муж уехал. Живет около Краславы у сестры. Там земли много. Вот они и хозяйствуют. Да мы с ним и жили, как брат с сестрой. Поэтому — невелика потеря. Он мне и сказал, живи, мол, как хочешь.

«Вот ты и живешь, как хочешь, — подумал Геннадий Петрович. — Вышла на охоту».

— А чем занимаетесь дома? Не скучаете? Есть какое-нибудь хобби, занятие?

— Да... Я вот о чем сейчас думаю. Хочу сварить мыло.

— Что? — опешил Геннадий Петрович. — Ха-ха. Зачем?

Женщина кокетливо покачала головой:

— Ну-у, такая мечта. У нас какое сейчас мыло? Химия. Всякие добавки, ароматизаторы... От этого могут всякие болезни на коже... Знаете?

— Не слышал, — Геннадий Петрович улыбался. Ему становилось интересно. — Так-так... А еще? В смысле, чем занимаетесь? Ха-ха...

— Ну... — женщина задумчиво наморщила лоб, — вот... дрессирую кота.

— Что?.. Ха-ха... Смешно... И как успехи? Ха-ха.

— Хорошо... Уже зажигает спички...

Расхохотались вдвоем, как старые знакомые.

«Молодец... Она с юмором... Не то, что наши квочки в конструкторском», — подумал он.

— Вообще-то он умный. Я с ним гуляла. Любили ходить в зоомагазин... Рассматривать всяких там мышек, птичек... Но однажды он запрыгнул на клетку и попробовал лапкой погладить мышку...

— Погладил?.. Ха-ха. — Геннадий Петрович хохотал от души, до слез. — И что дальше?

— Что вы... Такой шум, крик подняли... Не поняли нас...

— А-ха-ха... И что? Пришлось уйти?

— Ну, а как же... Недоразумение.

Женщина последние слова произнесла серьезно, и это было еще смешнее.

— М-да... ха-ха... Сюжет.

— Одно плохо, — лицо женщины стало задумчивым. — Сейчас он ушел куда-то...

— То есть, как?

— Ну... несколько дней нет дома.

— Может, вы его замучили своими экспериментами? Ха-ха... Не выдержал... Ушел, как Лев Толстой... Сбежал...

— Сравнили тоже, — в голосе женщины слышался упрек. — Кот и Лев... Пусть даже и Толстой. Разные весовые категории.

— М-да... Ха-ха... Действительно... Ха-ха... А вы работаете где-нибудь?

— Не а, пока на пособии... Но уже поджигает — надо искать.

— Искать... Искать нужно всегда, а не когда поджигает, — назидательно произнес Геннадий Петрович.

— Ой, мы с вами говорим, а не познакомились. Меня Глория зовут, — она с улыбкой выжидающе посмотрела на Геннадия Петровича.

«Нет, надо дистанцироваться... Ни к чему это, — с опаской подумал он. — Нашла кавалера».

— А меня — дядя Гена.

— Ой, ну что вы... Какой же вы для меня дядя? Ха-ха... Скажете тоже... А чем вы занимаетесь дома?

— Да так, — почему-то смеялся Геннадий Петрович. — Читаю. И тут же выругал себя за откровенность. Нашел перед кем...

— Да? Я тоже раньше читала... Газету... — Глория словно воодушевилась... Глаза заблестели. — А вы знаете какое-нибудь стихотворение? Я люблю послушать...

«Представляю, какой ты тонкий слушатель», — ехидно подумал Геннадий Петрович.

— Ну... могу, конечно... Вот: «Маленькая рыбка — жареный карась. Где твоя улыбка, что была вчерась?»

— Ха-ха... Я представляю улыбку карася... на сковородке... Ха-ха... А еще...

Геннадий Петрович почувствовал легкий кураж. Отошел на шаг от Глории, протянул руку к ней, с чувством произнес:

— Я вас люблю, тому свидетель Бог. Нет женщины красивей вас и краше. Я ровно в полночь был у ваших ног... Потом смотрю — а ноги-то — не ваши.

Посмотрел на реакцию Глории. Она задумалась. Потом произнесла:

— А чьи же ноги-то? Что-то он запутался... Перебрал, что ли?

— Ха-ха... Интересный ход мыслей... А вот, еще одно:

— Женщина красивая в кустах лежит нагой. Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой.

— Это не вы написали? — в голосе Глории послышалась явная тревога. Геннадий Петрович обратил внимание, что она потеряла левый бок. — Пнул ногой... Это же больно...

«Та-ак... кое-что проясняется», — подумал он.

— Нет, я верю... Вернее думаю, что вы так поступить не можете. Да?

Геннадий Петрович снова подметил: женщина быстро, внимательно, цепко осмотрела его долговязую фигуру.

— К тому же, мы просто беседуем. Вы не подумайте... Мне никакой секс не нужен.

«Дался ей этот секс», — раздраженно подумал он.

— Раньше была такая поговорка: «У кого что болит, тот о том и говорит».

— Да, была... — согласилась Глория. Еще раз задумчиво и внимательно осмотрела собеседника. — Ой, мы с вами говорим... А вы женат?

— Конечно.

— А-а... — она вздохнула. — Ну, это ничего... Мы же...

— Просто так говорим, — перебил ее Геннадий Петрович. — Вам секс не нужен.

— Ну, знаете... То, что вы женат... Это ничего. Можно и так дружить.

«Ну и шутница... Но раз шутить, так шутить».

— А если, все-таки, поговорить о том, что вам, как вы сказали, не нужно?

Глория поджала губы, кокетливо покачала головой.

— Ну... это... в общем... реально... Но не сразу же...

«Экземпляр... — опасливо подумал Геннадий Петрович. — Она, возможно, "с приветом". Нет... нужно с ней распрощаться. Заговорились...»

— А жена у вас хорошая? — в голосе женщины звучала надежда.

— Хорошие жены встречаются нечасто, — уклончиво ответил он. — У меня — крайне суровая. Как-то сказала: «Увижу, что ты с какой-нибудь женщиной любезничаешь, так прямо ей кислотой в глаза и плесну».

— Что она у вас — не в себе? — невнятно спросила Глория.

— Есть маленько.

— Надеюсь, ее поблизости нет?

— Обещала подойти... вот-вот...

«Испугалась, — с удовлетворением отметил Геннадий Петрович. — Губы еще улыбаются, а в глазах явный страх... Они застыли».

Неожиданно Глория резко встала и, не сказав ни слова, быстрым шагом устремилась вглубь парка. Шла странно. Вначале — широко раскидывая ноги, словно конькобежец, набирающий скорость. Оригинально...

Геннадий Петрович смотрел ей вслед. Фигура у женщины была привлекательной. Шаг легкий. Несколько раз Глория осторожно оглянулась. Видно было — уголки рта опустились. Обиделась, как ребенок... Зря старалась.

Геннадий Петрович неожиданно почувствовал сожаление, словно от неверно принятого решения. Впрочем, чего сожалеть... каждый живет в рамках своих обстоятельств... И все же... Может, не надо было так грубо... Черствость... Как сказал один приятель — «Ослепли наших душ окошки». Каково ей сейчас... Решилась на такой разговор, а получила «ушат холодной воды». Вон, опять оглянулась... Окликнуть, что ли... Задержать...

Ладно... Пусть идет. Своей дорогой.

СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ У ТЕМНОГО РУЧЬЯ

Всплески громкого смеха, музыка, чьи-то восклицания нарушали монотонный шум, выводили Людмилу Ивановну из сонного состояния. Она начинала прислушиваться, представлять, как веселится молодежь. Потом снова погружалась в дремоту. На фоне серого окна ее неподвижный силуэт в кресле казался странным, неестественным.

Пусть веселятся. Шум ей не мешает. Спать еще рано. У внучки Тани настроение сегодня хорошее. Получилось нечто вроде сватовства. Хотя нынче никто руки не просит. Просто объявили, что скоро поженятся. Ну, и хорошо. А то, чего греха таить, девке уже двадцать четыре. И нервная вся в последнее время. Чуть что, дерзить начинает.

Во время общего застолья Людмила Ивановна на радостях выпила рюмку желтого крепкого напитка. Внучкин жених ей понравился. Хотя этих молодых людей она, порой, не понимает. Юмор у них какой-то... Они сами называют его черным. Например, заговорили о каком-то умершем их знакомом. Один из друзей жениха заявил, что скончавшийся *присоединился к большинству*. А другой заметил, что ушедший из жизни может *спать спокойно, потому что заплатил налоги*. Ее слегка покорибила тема и легкомысленность суждений.

Правда, молодой человек-жених — более здравомыслящий, только иронично улыбался. Почему-то напомнил... может, овалом лица, или прической — волосы, спадающие на лоб русой прядью... Да, что-то общее есть... Она даже спросила, откуда он сам, где родители.

— Местные мы, наши корни в Латгальских лесах и болотах. — Потом, почему-то внимательно посмотрев на Людмилу Ивановну, сказал: — Надеюсь, вас не очень огорчил мой ответ?

Людмила Ивановна улыбнулась:

— Воздержусь от ответа, чтобы не огорчить вас.

— Ого! — парень с наигранным удивлением открыл рот. — Диалог начинает мне нравиться.

— Что? Почувствовал оппонента? — рассмеялся один из друзей жениха.

Подруги парней, нетактично пошептавшись, хихикнули.

— Бабуля! — Таня предупредительно нахмурила брови.

— Мама, у нас гости, — дочь, подойдя со спины, мягко положила руки ей на плечи.

— С бабушкой вы осторожно... — с ехидным юмором заметил сидевший напротив зять. Спихватился, отвел глаза в сторону, ища союзников.

— А вам, наверное, достается от бабушки? — иронично обратился к нему жених.

— Так... Мама, пойдем, поможешь мне, — дочь слегка надавила Людмиле Ивановне на плечи. — А то нам еще сегодня нужно съездить на дачу. Купили рассаду помидоров, а она уже привяла. Нужно высадить. Вы отдохайте. Мы ненадолго. Мама, пойдем.

Людмила Ивановна посмотрела на полное, в ямочках, лицо дочери, на губы, готовые улыбнуться. С дочкой у них взаимопонимание. Погладила ее по руке, согласно кивнула:

— Пойдем, не будем мешать обществу.

— Бабуля! — нервно повысила голос Таня.

— А вы знаете, — неожиданно поднялся жених, — мне хочется бабушке помочь.

— Сидите: сегодня мы справимся, — остановила его Людмила Ивановна. — Если все сложится нормально, мы с вами, я чувствую, еще наготовим тут... изысканных блюд.

Все, кроме Тани, дружным смехом оценили юмор бабушки.

Она все понимает. Зачем ей там находиться. У молодежи свои интересы. Ей и тут хорошо... дремать, вспоминать... Нет, не очень похож этот парень на того. Чего это вдруг у нее такая мысль возникла... Тот и постарше был, да и комплекция покрепче... Но что-то общее есть. Сколько же это лет... Господи, страшно подумать. *Уплыли годы, как вешние воды.* Но вот что интересно — не забылось, ибо вспоминается часто. В последнее время стала просыпаться по ночам, вот и встают в памяти разные события. Особенно, то ужасное время. На второй год войны ей стукнуло пятнадцать. Немцы в их деревне бывали периодически. Леса, болота, глушь... Боялись не только фашистов, опасались тех, своих, которые служили новой власти. Помнится, лето перевалило на вторую половину... Тогда он и появился — этот странный человек. Отец рассказывал потом, что нашел его на берегу Темного ручья. Лежал ничком, а одна рука — в воде. Отец подумал, что он мертв, но когда перевернул его на спину, человек пришел в себя... А в руке, на которой лежал, оказался пистолет. Зачем он трогал незнакомца... Время опасное, все могло кончиться трагически. Но сумели понять друг друга. У человека ранения были в плечо и в ногу. Отец перетащил его в более глухое надежное место, смастерил навес. В выздоровление верил мало. Нога и плечо горели. Но кости, вроде, не задеты, и пули не застряли. Долгое время отец ничего не рассказывал. Но Люда заметила, что он зачастил в лес, в сторону Темного ручья, описывая полукруг. Почему-то подумала: встречается с кем-то из партизан. Сам он воевать не мог. Еще в детстве нога попала в конную косилку, повредились сухожилия, кости неправильно срослись. Ходил, прихрамывая на правую ногу.

Но, однажды... После нескольких теплых, с дождями, дней она засобиравлась за грибами. Соседка уже ходила, принесла небольшую корзинку... В основном, сыроежки. Но первые грибы — всегда долгожданные... Тогда в лесу и увидела впервые его. Изможденный молодой человек неловко сидел у сосны, печально смотрел куда-то вверх. У Люды бешено застучало сердце. Она осторожно свернула с поляны в чащу. Незнакомец ее не заметил. А с отцом столкнулась нос к носу. Тот сразу понял, что она видела раненого. Сурово и кратко промолвил: «Никому ни слова. Даже матери». И пошел к незнакомцу.

Люда долго не могла заснуть ночью... Вспоминала свое состояние, когда увидела молодого беспомощного человека.

Позже, в начале сентября, отец захворал. С наступлением осени такое бывало. Лежал под одеялом, вдобавок, накрыт тулупом. Мрачно смотрел в потолок. Потом позвал Люду и прямо спросил:

— Не боишься?

Сразу поняв, о чем идет речь, взволнованно помотала головой.

— Отнеси хлеба и молока. Сала кусочек... И ткань вместо бинта, я её порезал на полоски. Фуфайку старую захвати: ночи уже холодные. Шалаш я там соорудил...

— Хорошо, — а у самой сердце застучало так же, как в тот день, когда случайно натолкнулась на незнакомца.

Добежала, оглядываясь, быстро. А к шалашу подходила медленно, осторожно. С опаской заглянула внутрь. Но там было пусто. Вдруг она услышала сзади шелест. Обернулась в испуге. Человек стоял на фоне заходящего солнца, поэтому ей, помнится, никак не удавалось разглядеть его.

— Отец послал, — Люда протянула узелок и фуфайку.

— Что с ним? — человек спросил быстро, не дожидаясь окончания ее фразы.

Что-то в его голосе показалось необычным. Звуки были какими-то резковатыми.

— Заболел...

— Странно... Простудился? — человек взял узелок. — Спасибо... А вот это хорошо, и он указал на фуфайку. — Набрось, пожалуйста, а то я пока...

Люда накинула одежду ему на плечи, почему-то снова заволновавшись. Может потому, что впервые почувствовала руками чужое тело.

— Спасибо, — еще раз произнес незнакомец и пристально, с интересом, заглянул ей в лицо. — А ты смелая девушка. И красивая...

Людмила Ивановна помнит, как почувствовала: краснеет. Никто еще не называл ее девушкой. Конечно, в деревнях девчонки выросли рано, но молодой человек сказал это так неожиданно... Смущение все же не помешало ей рассмотреть собеседника — впалые щеки, мягкое очертание губ, подбородок, слегка курносый нос, соломенный чуб. И — странные глаза. В тени они были серыми, а на солнце — голубыми. На вид ему было лет тридцать... Хотя... Он же ранен, страдает от боли... Но смотрел на нее по-мальчишески весело... Может быть, это молодило его.

Люда заметила, как он тяжело хромает:

— Еще болит?

Он легкомысленно махнул рукой:

— Болит. Как это у вас говорят: то болит, то ноет...

— А у вас как говорят? — с интересом спросила она.

— У нас? По-разному. — уклончиво ответил раненый.

Люда увидела близко-близко его насмешливые глаза, отчего вдруг стало на душе тревожно и грустно.

— Ну, вот... Ты еще и умная, — он снова улыбнулся. — Опасная ты девушка. В таких влюбляются без памяти. И любовь бывает роковой.

Она нашла в себе силы рассмеяться. С детства за словом в карман не лезла:

— Как много вы знаете плохого... Вас хочется пожалеть.

— И говоришь ты, как взрослая.

— Хорошо училась в школе... Ладно, мне пора.

— Хочется узнать, как тебя зовут.

— Люда... А вы свое имя назовете?

— А ты хочешь?.. Константин.

— Думаю, вы говорите неправду, — Люда вздохнула. — Но я понимаю. Вы не просто так тут оказались... И ваши раны... не укусы комара... И вы ответили не сразу.

Он зашел со стороны солнца и с интересом разглядывал ее:

— И что ты думаешь по этому поводу?

Люда задумалась. Что он хочет услышать? Ведь ясно: вокруг опасности. Попробуй, угадай, кто он...

— Вот что... Мы помогаем вам по доброте. И не собираемся выяснять. Вы можете оказаться кем угодно. Вокруг такое творится... Вы пока в беспомощном состоянии. И мы рискнули. Но... Из нашей деревни уже двоих мужчин увезли... А в соседней застрелили человека... Якобы, за связь... Одну женщину задержали, заподозрили, что она меняла вещи на соль для партизан. А у нее на руках ребенок был... Полтора года девочке. И женщину так толкнули, что ребенок ударился головой о стенку... Два дня девочка пожила и скончалась. Это уму непостижимо... Вы понимаете?

— Да... — он ответил тихо, задумчиво. — А в вашей деревне немцы часто бывают?

— Нет, чаще в соседней. — Она махнула рукой в сторону заходящего солнца.

Странно, новый знакомый посмотрел туда, словно деревня была за кустами.

— А сколько до нее километров?

— Пять... Хотите прогуляться?

Он не ответил. О чем-то думал.

— Я пошла. До свидания.

Раненый встрепенулся:

— Я хочу тебя увидеть. Приходи, — в голосе его была просьба.

Люда не ответила. Перед тем, как повернуть на просеку, она оглянулась. Константин смотрел ей вслед. И снова стало тревожно и радостно. Странное сочетание... Ощущение опасности и душевного подъема. Начиталась Тургенева. Почти всю школьную библиотеку перетасила домой, спасала. Иначе сожгли бы.

В глазах отца тревога... Конечно, ждал, волновался...

— Все хорошо?

— Да.

— Ладно... А то долго ты ходила... Я уже жалел, что послал, — погладил ее по голове, как маленькую. Вдохнул. — Пап... а он кто?

— Кто-кто... Раз ранен, значит, воюет... Мне кажется, что тут дело непростое... Я у него спросил, свести с кем-нибудь... Нет, говорит... Никому не сообщай... Я, думаю, у него задание серьезнее, чем просто бегать с автоматом. А как-то обмолвился: еще немного... и Германии хребет сломаем... А мне что-то тревожно... Господи, только бы на нас не навлек беду. Поистине, *жил бы тихо, да от людей лихо.*

Он осторожно оглянулся на открытую дверь в кухню, где находилась мать.

— Никого не встретила?

Люда удивилась его многословию. Обычно он был скуп на слова.

— Я хочу, чтобы ты поняла... Это настолько опасно... Жизни можно лишиться... В общем, больше не пойдешь.

Но сходить ей пришлось... И не раз. Отца болезнь прихватила серьезно... Ночами надрывно кашлял. Местная целительница приносила травы... В доме витал горький и резкий запах. А новый знакомый шел на поправку. Люда радовалась, увидев на его щеках подобие румянца. Говорили о книгах, об истории... Ей нравилось, что он, такой умный, симпатичный, мужественный, беседует с ней на равных. Интересно, необычно... Только вопросы его личной, прежней жизни обходили. Однажды, она попыталась из любопытства что-нибудь узнать... Это было похоже на игру.

— Вы жили раньше в большом городе?

— В разных, — он смотрел на нее внимательно, улыбался. Видел, как она сердится. Вдохнул. Взял ее руку, погладил кисть: — Я хочу тебе сказать... Скоро мы попрощаемся... Сегодня я уже смог пройти несколько километров.

— Скоро? — помнится, стало трудно дышать.

— Да... Надо идти... Не думай ничего плохого. Время придет, я тебе все объясню... Когда-нибудь... — он снова вдохнул: — Надеюсь, скоро.

— Понятно... Я... Я рада, что довелось с Вами встретиться... И все понимаю... Наши разговоры такие душевные оттого, что вам не с кем было поговорить...

— Ты умница... Но совсем не потому... Мне, в самом деле, приятно говорить с тобой. И интересно. Ты уже взрослая, конечно... Только немножко маленькая, — заметил, как она нахмурилась: — шучу, шучу... И осторожно обнял ее.

Людмила Ивановна вспомнила, как закружилась у нее голова, как она уткнулась носом в его грудь, ощутила на своем виске горячие шершавые губы.

Ночью плакала... А утром, чуть свет, помчалась к Темному ручью. Шалаш был пуст. Она долго ждала. Словно что-то оборвалось внутри. Как дошла домой, не помнит.

— Что с тобой? — всполошилась мать. — Лица нет.

Вышел из комнаты встревоженный отец.

— Все хорошо... Голова что-то... Протянуло...

— Протянуло, — недовольно, но успокоенно проворчала мать. — Бегаешь где-то. Холодно уже...

Когда она вышла, Люда тихонько шепнула отцу:

— Ушел он.

— Понятно, — неожиданно с облегчением вздохнул тот. Потом посмотрел внимательно на дочь. — Вот что. Выбрось все из головы. И забудь. Ох, Господи... Дело не только в возрасте. Он кто? Понимаешь? Такая жизнь всегда на волоске. Его, может, через два дня... уже в живых... Снова взглянул на дочь... Осекся. — Надо реально... И даже, если у него все сложится хорошо... Он в генералах будет... Видела, какой он умный? А мы кто?..

Люда ничего не ответила. А что говорить? Все правильно. Но только с одной стороны. Вторая сторона — это то, что она ничего не может предпринять сейчас... Куда он пошел — на восток, на запад... Не найдешь иголку в стоге сена.

Поэтому внешне все осталось, как и раньше. А то, о чем она думала, это ее дело... Побежали-полетели дни и месяцы... Много чего произошло за это время... Кое-что и вспоминать тяжело. Жизнь...

Замуж она вышла поздно. За своего, деревенского. Все чего-то ждала. Никуда не уезжала. Потом муж загорелся желанием вырваться из деревни. Сначала строил большой завод. Получил квартиру. Уже дочка была. Военное время стало притупляться в памяти. Но однажды разговор с приехавшим в гости отцом заставил отчетливо вспомнить все, всколыхнул сознание, расстроил.

Помнится, был День Победы, в комнате шумели гости, первый телевизор показывал военный фильм. Может быть, фильм и подтолкнул отца к откровению. Или застолье... Не захотел держать груз на душе. Она резала хлеб в кухне. Отец вошел, сел, глядя на нее, потом невнятно произнес:

— Я ведь, видел его потом...

— Как! — Люда сразу поняла, о ком идет речь. Кольнуло в груди. Села, придавив боль рукой.

— Да... Помнишь, ездил я в город... В конце сорок второго... Дарью хоронить... Уже домой собирался... Иду по улице... Немцы навстречу... Видно, пьяные, хохочут... Я думаю, как бы своей кривой ногой их не зацепить... Сошел с тротуара от греха подальше. И вдруг один останавливается около меня. Ну, думаю, какого лешего... Глаза поднимаю... Он! Я даже вздрогнул. А он смотрит... вроде грустно... Может, почувствовал мою неприязнь. Ну, какой может быть

разговор... К тому же, он не один... Дал мне деньги... всунул в руку. Я взял машинально. Помнишь, сказал, что нашел. А он тогда сказал: «Передайте Люде, что я приеду и все объясню». И ушел...

Я домой добрался... Смотрю, ты спокойная... Думаю, ну чего тебя тревожить зря... Дитя ты еще. А судьба выпадет... если приедет, все и решится... Но, вон сколько лет. Да и где там выжить в этой мясорубке? И кто он был? Некого спросить... Если немец — за решетку попадешь в два счета. А русский — приехал бы, если живой... Вот и гадай. Э-хе-хе... А я устал от этих размышлений.

Вот такой разговор состоялся. Отца она ни в чем не винит. Ну, что изменилось бы, расскажи он тогда всю правду. Вряд ли она поехала бы искать немца по имени Костя. Нелепо все... А может... Но все сложилось именно так, как сложилось. Муж вскоре уехал в деревню... На родину. Его тоже не за что винить. Он сказал:

— Живем мы вместе, а ты, вроде, где-то далеко... Равнодушная.

Что ж поделать... Она же не специально. Пусть только у дочери и у внуки все будет хорошо.

Надо же... Как все помнится. Словно незримые нити через годы и расстояния связывают людей, события. Вот вспомнились же удивительно сладкие страдания, даже лицо с устремленным взглядом на светлые пятна облаков...

А вокруг играли солнечные блики — на сосновом стволе, на руках, на лице... Словно зыбкие символы несбывшихся надежд.

Ирина МАСТЕРМАН

/ Вильнюс /



Родилась в 1945 году. В Литве живёт с 1952 г. Возглавляла лит-студию «Созвучие». Член МАПП. Публиковалась в периодической печати, в сборнике поэзии «Созвучие», в «Провинциальном альманахе» (Даугавпилс), в поэтическом альманахе «Письмена» (Рига), в журналах «Северная Аврора» и «Невский проспект» (Санкт-Петербург), а также в изданиях МАПП.

К ПЛУТАРХУ

Кто помнил бы непобедимых римлян?
Кто знал непревзойдённых греков,
когда бы не Плутарх?

И, если б не Плутарх,
с каким сомнением и укоризной
многие смотрели бы
на отпрысков великих предков,
перво-наперво,
на близнецов, зачатых в блуде:
тех, кому вчера,
теперь
и завтра будет
Мир обязан зарождением Рима;
тех,
кого на неминуемую смерть
в дырявой мусорной корзине,
как котят,
несли топить к бушующему Тибру.
Именно тех самых двух младенцев,
плоть от плоти Телемаха,
внуков Одиссея, вскормленных волчицей.

Бесспорно, с недоверием взирали бы
на энного потомка самого Геракла.
Однажды полубог, побив кентавров,
сам пленился
рыженькой лесною нимфой.
Возле Тибра...
он чресла возложил на златовласку.
Наяды пристально следили за событием.
Однако,
кроме парочки завистливых наяд,
нашлись другие очевидцы.
Они-то и клялись,
что вовсе там была не нимфа, а туземка.
Ну что с того?
Здесь важен не кувшин,
а чьё в посудину попало семя.
Здесь главное — вослед совокуплению
на свете появился кудреватый мальчик.
Его праправнук — римский консул
и диктатор — Фабий
ловко разогнал по взгорьям и долинам
войско Ганнибала.
О, если бы не ты, Плутарх!
Кто сопоставил бы, сравнил кумиров
и в череде диковинных историй
заприметил
параллели в жизни прародителей,
исчезнувших до Рождества Христова?
Но я — в плену других сравнений.

По-прежнему
из века в век Земля в своей бескрайней одиссее
движется к созвездию Геракла,
а Сириус
(во времена твои ещё вишнёво-красный)
оголяется,
становится всё меньше, дальше...
Хотя и до сих пор
прекраснее звезды на небе не было и нет,
вот то, из-за чего хотелось бы к тебе,
философ,
без малого — на два тысячелетия назад.
А так...
У нас такие же лощины в рощах.
От зноя точно так же листья сохнут —
вот-вот и превратятся в прах.

И равным образом мы радуемся сходству
мыслей и поступков,
но чаще попадаетесь различие
непримиримое, мыслитель.

Я знаю: много лучше —
наведаться в ночной овраг
с таким же другом, как и твой,
отъявленным ревнивцем. Там, у родника
в излучине, похожей на глазницу,
касаясь звёздной плоти светляков,
с беспечностью бессмертных обсуждать:
«Откуда эти неприкаянные души?»

Они ... являются из области прозрений.
Напоминают, что разлука неизбежна.
Душа — ночная птица
(знать бы от чего) болит,
горюет о вчерашнем.

А нынче? Нынче — пансион,
где вдоль аллеи, будто неземные лица,
в сумраке белеют мраморные чаши,
где не успеет лечь на старую кровать
ночная мгла,
как тут же
верная старуха — неизбывная вина —
вязальной спицей мне пытается душу,
и... мерещатся, мерещатся мой друг
и светлячки — лесная голытьба.

ЗЕБРА

Между странствий она Вера,
но не сейчас,
когда туфли в походной пыли,
когда застыла на обочине
дорожным знаком.
И в постановке ног, и в осанке
есть что-то от балерины на сцене,
готовой к глубокому реверансу.

Да, дорога. Это не те цены.
Да, холод, жара, дожди.

И вместе с тем пропахший
дизельным маслом водила
лучше, чем наглый мент, бандит
или психованный наркоман.

На ней всегда полосатые гетры
и, возможно, из-за этой детали
для дальнбойщиков она Зебра.
Караван машин проезжает мимо,
сигналит не потому, что сегодня Вербное
или едут по парам. Нет.
Начался футбольный чемпионат,
и мужчины жаждут зрелищ и пива.

У Зебры в сумочке предметы
первой необходимости:
жевательная резинка, полотенце,
презервативы, alochol, mildronate.
Пилюли, предупреждающие несварение
и инфаркт, даёт Вере старый провизор.

К ней спешит блаженный Димыч.
Он кормится подаванием.
Монашки ордена Терезы
(белые косынки, синие канты)
подарили
ему
Евангелие.
Ноевой голубицей,
несущей в клюве ветку оливы,
Дмитрий,
вынув книгу из-под свитера
и указывая на небо,
объявляет радостную новость:
«Первыми войдут в рай
блудницы и мытари!»

ПИЛИГРИМ

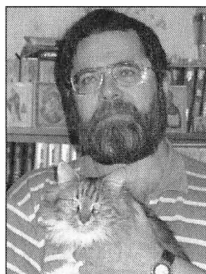
И этот день пройдёт,
и тоже мимо.
Поднимет прах столбом,
как пилигрим.

И я, вдыхая запах тлена и
дорожной пыли,
послушно побреду за ним.
Туда, где иновёрный муэдзин
гортанью обагрят
неба голубую глину.
Туда, где всё ещё пустой престол
хранит любви святыи мощи
и исподлобья
на ночной постой скребётся
память —
из собачьей плошки...

ХВОРОСТ

Шея в морщинах.
Съехавший ворот.
Боже,
неужто и мне
вот так же
таскать из оврага хворост?
Так же будет треножить
лесная поросль,
и я,
с валежником на спине,
чтобы не рухнуть,
приткнусь к берёзе.
Неужто и мне такая участь:
как беглой, оглядываться
на каждый шорох,
не опуская клади,
шарить в карманах,
искать конфету
вместо глюкозы?
Семенить дальше в гору?..

Всё без обмана:
ложе оврага,
старая женщина в слякоть
и в пекло тащит сушняк
на костлявых закорках.



Георгий ГЕОРГИЕВСКИЙ

/ Йыхви, Эстония /

Георгиевский Георгий Владимирович (1958), поэт-песенник, член Союза писателей России (Эстонское отделение) и Объединения русских литераторов Эстонии. Литературная деятельность — с начала 1980-х годов. Публиковался в литературной периодике Эстонии, Латвии и России. Руководитель творческого объединения «Полисветие». Живёт в гор. Йыхви, Эстония. О своём творчестве поэт говорит: «Сразу же, с появлением первых песен, открылся сам собой интерес к древнерусской литературе. Поразила и ослепила не только красота старославянского и старинного русского (не древнерусского, потому что язык, отстоящий от нас всего на несколько столетий, не древний) языков, но и могучая душевная сила авторов прошлых столетий, рождённая исключительно верой не оскудевающей, когда в Боге ничего не страшно и всё возможно, и всё от Бога».

Русские псалмы

I РУССКИЙ ПСАЛОМ

В небо путь безжалостен и тесен,
хоть и нету благодатней доли.
На крылах сквозь тьму прозябших песен
проплывём бездушные юдоли.

Зреют в душах день уже не первый,
хоть и нрав без усталости уросит,
адаманти, яхонты и перлы.
Только бисер свиньям бы не бросить.

Тьме простим, учуяв скорый полдень —
нам ли ввысь с обидами ломиться,
коли зрети очно лик Господень!
Только бесам бы не поклониться.

Убежим урчащих чревом буден.
Но, когда восстанем из геенны,
и в превыспренних не позабудем
муки всех безвинно убиенных.

Восприяв, как милость, унижение,
слезно вымолим, не взвидя света,
не ярлык от хана на княжение —
долю Сергия и Пересвета...

...Божьей лестницею заплетаем
вурдалачьи похоти и ковы.
Помолясь, небось не заплутаем
по дороге к полю Куликову.

II РУССКИЙ ПСАЛОМ

Где мудрец? где книжник?
где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие?

1-е послание к коринфянам ап. Павла 1:20

Мы каиновы сбросили кафтаны,
на чёров клин сколоченные нам.
Ненажитых фрегатов капитаны,
как посуху шагаем по волнам.

По водам оседающего мира,
порвавши злую атомную цепь,
торопимся мы ввысь и вглубь, и мимо
евонных тронных и кабацких цен.

Возжаждал мир — и пил нас до кровинки,
ни капли не оставил на потом.
Мы — Богу обречённые травинки,
проросшие мольбою сквозь бетон.

С чужих отёков и своих окалин
сломавши зубы о мирской орех,
сей плод от древа знания о камень
расшибли мы как первородный грех.

Мы совопросных века сбили зуммер,
хотя и дул в нас аэры Борей.

Всю мудрость века сдюжило безумье
юродов мытарей и рыбарей.

Залечены, хоть и без полаганья,
живящим ядом смертоносных ран,
раздали пропуска на балаганье,
узревши душ нерукотворный храм.

У князя мира доли не спросили,
целя сердца надзвездной высотой:
сияющей нам во Христе Россией —
вселенской Незакатной Красотой!

III РУССКИЙ ПСАЛОМ

И вложи во уста Моя песнь нову,
пение Богу нашему.

XXXIX псалом, 4

Словно сыч одинокий в ночи, Я
всё башкой бесталанной седел.
Всё сидел и сидел на печи Я,
даже Муромца пересидел.

От ухабов, ушибов, уронов
Мне и разум, и сердце свело.
Но перо, аки жезл Ааронов,
выводя письма, расцвело.

Вышней силой и радостью пышет
и, десницу ведя за собой,
Голубиную книгу Мне пишет,
что повыслал Небесный Собор.

И крылами сгребает все сразу —
да за пазуху все за Мою —
сладко-горькие вещие сказы
птица знающая Гамаюн,

девы ликом смеётся Мне яро:
«Знай и верь, грешная борода:
Китеж-град не пропал Светлоярм,
за Непрядвою пала Орда.

О псалмы иступились дурманы,
коль молитва к мечам задана,
отступились пока басурманы,
обессилен пока сатана.

Расточились лукавые чары,
не зарезана Песня, не трусь,
воздыми Её, Божию чару,
за Святую и клятую Русь,

чтобы девою с красною вестью
по заречным лугам босиком
побежала по жилушкам Песня
далеко-глубоко-высоко.

Адов огонь и небесные беги
воздымают до века права.
Радости человеков и беды —
всё лишь в Божию печку дрова!»

Так крылами сгребает все сразу —
да за пазуху все за Мою —
сладко-горькие вещие сказы
птица знающая Гамаюн.

IV РУССКИЙ ПСАЛОМ

Начати же ся тѣмъ пѣснѣмъ
по былинамъ сего времени...

Мы средь княжеского пира
веселились, как тужили:
бешенство земного мира
сердца мукою тушили.

И — на глад неугомонный
был ли грошик медный, нет ли —
с душ, осиленных мамоной
рвали мы Иуды петли.

Сердца пламенные струи
в песнь живую стоны вили —
и волхвующие струны
сатану остановили.

С боли певческой не спросят
бесы каиновой пробы!
В темь кромешную не сбросят
нас повапленные гробы!

Пусть же вольно днесь и присно
Песня двигает горами!
Новой Песнью, старой — тризной,
будто пашенку взорали!

Абы ведьма, бес и леший
Бога и себя бояли,
рцы, ни комонный, ни пеший, —
токмо песенный — Бояне:

«Беса с ангелом сведу Ей
волю Божью в голос нежить.
И возлюбят Русь святую
половчин и печенежин.

Ею тридевятым странам
нас о дружестве просить и
всем, не помнящим родства, нам
Имя Божие кресити.

Смерти песенной заплатой
соскребя муторны ласки,
о Христе уже заплакал
и болван тьматороканский.

В громогласии подложья
несмолкаем, как учили,
щекот славий — свечка Божья
воску ярого в пучине!»

V РУССКИЙ ПСАЛОМ. БЕЛОВОДЬЕ

Что ль, с кручины мы видали:
чист от торжищ и от мыт,
остров белыми водами,
как душа слезьми, обмыт.

Сыплют выси звездным звоном
предо Мною и за Мной,
а на Беловодье оном
Ирий, сиречь рай земной.

Кус земли — Вселенной остов,
прибыль праведным с утрат —

распахал Ярило остров
светом Хорсовым с утра.

Долей — в радости как в муке —
во плоти душа видна! —
возросли Дажбожьи внуки
взорами от звезд до дна.

Здесь, с безгрешною опаской,
отворил небесный кран
не татарский, не лопарский —
святорусский светлый край.

С песенным огнём по жилам
ратай здесь и ратный муж.
Нету бесам на поживу
отродясь червивых душ!

Божий враг своё отблеял
и не застит белый свет.
Отличить зерно от плевел
просто, ибо плевел нет!

Ни Кашеи, ни Полканы —
не надёжа, не оплот
тем, кто песнею взалканной
сытят душеньку и плоть.

Вражьи искусы избыли,
что шипами отросли —
все, что будут и что были,
прахом с пяток отрясли!

Адский огонь в крови потушен
на сиротские гроши.
И не рыщут здесь по души
государевы шиши.

Каина тавро по-новой —
ни к груди и ни к челу.
И конвойный песий норов
тоже вроде никчему.

И про Ирий сей юдоли
Аз, рекущий, написах:

«Здесь любой пребудет волен —
в кандалах и в Небесах!»

Зван и я принесть посулы —
да не проклятым почтусь! —
да с мятущимися все
всё считаюсь, не сочтусь.

Но ужо себя допросит
нрав Мой — пламень на ветру, —
норовя украсть да бросить
весь блудливый навий труд —

да и в край — медовы дали, —
что от торжищ и от мыт,
будто белыми водами,
благодатию обмыт.

VI РУССКИЙ ПСАЛОМ

Кому повем печаль мою...

Дни безгрешные как гроши прожиты.
Вновь плюют в Христа распятого жида.
Бес залётный на иудины рубли
с бесами же Русь немую погребли
и уселися на домовине сей,
как татарове на Калке на князей.
Литургию правят мытарь и торгаш,
гопы-стопы, ваших нет и баш на баш.
То ль молись теперь нам, то ли посылай,
коль словес замест угоден песий лай.

Но Распятому смерть смертию поправить,
а иудам налететь на Божью рать
да от огненных клинков им — наполю,
чревобесию — с мальвазий на поlying.
И Державе домовину развалить —
лишь как следует плечми пошевелить,
чтобы всяк Непоклонившийся возмог
отрясти хвостатых с занемевших ног,
пробудить в груди с гортанью Божий зык:
колокол наш вечевой — родной язык.



Наталия ЛОМАЧЕНКОВА

/ Вильнюс /

Выпускница Вильнюсской русской гимназии «Ювента», в настоящее время сотрудник международной аудиторской компании «Deloitte» в Англии. Стихи и прозу пишет с 15 лет. Неоднократный лауреат конкурсов и олимпиад по русскому языку, в том числе победитель Международной олимпиады по русскому языку (Москва, 2008 год) и призёр Международной олимпиады по русскому языку «Светозар».

ЗАЧЕМ ТЫ ПРИШЁЛ?

Зачем ты пришёл к нам?

Глупец, сам же знаешь — таких было много, ты вовсе не первый, твердящий о долге и чести. Но стае давно не нужны ни пророки, ни вера. Здесь счастливы, правда. Смешным и неловким считается нынче стремиться к Граалю.

Мы их научили писать под диктовку. И жить под неё же.

Нет, вовсе не сталью, на самом-то деле — ты что не подумай! Всё мирно, достойно, прилично, по чеку. Они почитают министров и Думы и верят в «закон» и «права человека». И даже не помнят, о том, что «свобода» имела когда-то другое значение... не помню, подскажешь — какого там года?

Когда Вашингтон подписал назначение?

А, впрочем, неважно. Кто помнит Сократа, Спинозу и Ницше, и Канта, и прочих? Таких отмечают персоной нон-грата и ставят на личности жирную точку. Забавно — что даже без нашей подсказки. Ведь Павлов не лгал, говоря о дрессуре...

Мы создали им настоящую сказку, почти-панацею и чудомикстуру. Мы создали счастье на сотнях экранов, масс-медиа, прессу, картонную душу. Кто молится Библии, кто-то Корану.

Такую систему уже не разрушить.

Довольство и счастье у целых народов — зачем им твоя неприятная правда? Теперь зеркала уже вышли из моды — увы, зеркала

отражают их взгляды. Увы, зеркала исказить чуть сложнее... хоть, знаешь, над этим работаем тоже. Уже есть рецепты успешной идеи, пусть даже и выйдет немного дороже.

Хотя, нам не к спеху. В свою амальгаму они же не смотрят... точнее, не видят — того, что поэты все пишут о драмах; того, что в рассказах творцы ненавидят; того, что искусство давно не смеётся, а только рисует мир грязью и кровью... Им легче, пойми, жить с придуманным солнцем, с придуманной нами «великой любовью».

Зачем ты пришёл? Мне тебя даже жалко. Ты мог стать полезным и нам, и системе. Ты с нами бы выбрался из этой свалки и понял, как чётко работает схема — мы всё рассчитали, людей и ресурсы.

Я сам был, как ты, — где-то в прошлом. И всё же...

Ты следуешь чётко проверенным курсом.

Они, несомненно, тебя уничтожат.

ПРИГРАНИЧЬЕ

Поэтическая проза

На Приграничье попасть несложно.

Весь путь, пожалуй, чуть дольше мига. Там нет заводов, витрин и денег — того, что, в общем-то, значит жизнь. Там позабыли про осторожность, глотая жадно мечты и книги, меридианы — лучи идеи — ведут на новые рубежи...

На Приграничье людей немного — свобода, знаешь, она такая... Свобода значит, что нету дома и нет причала родной земли. Что остаётся — одна дорога, которой там не находят края. Сгрузив пятнадцать бутылок рома, в аврору тянутся корабли... Всё Приграничье — как альма-матер, но опасайся подставить спину — по позвоночнику в двести двадцать пройдёт особо опасный ток. Тебя уже не запишут в паттерн — так слушай левую половину.

Здесь позволительно ошибаться — лишь за безделье положен срок.

Здесь нет, конечно, тюрьмы и казней, ты лишь окажешься в прежнем-прошлом. Но депортация — я проверил — страшнее самых суровых мер.

Под языком, как наркотик, *разность* меж Настоящим и Невозможным.

...пусть кто-то шепчет про суеверья — она сильнее всех прочих вер.

Кому-то Будда, кому-то Кришна, кому-то «бог» — это просто выход в рудник Минроуд, в седую фазу, где сохранились осколки

снов. Они научат молчать и слышать, писать по звёздам закон и прихоть — ...и каждый миг проживать ту *разность*, как начинание всех основ...

Конечно, можно и по-другому. Шагнуть назад в свой уют квартиры, обрезать провод у телеграфа, лифт на Последние Этажи. Смолчать однажды, остаться дома, смотреть про выборы и кумиров, платить налоги, сбегать от штрафов... забудь Границу и откажись. Я не сказал бы, что это плохо — на самом деле, вполне достойно: член коллектива и гордость рода, семья и дети, эн-значный счет. Жить по законам своей эпохи, вещать о мире, жалеть о войнах, о наводнениях, власти, моде...

Что в жизни нужно тебе ещё?

Но если... что-то, наверно, нужно, чего-то вроде бы не хватает — насквозь, навывлет, неумолимо стремленьем, что не имеет дна — бери свой компас, рюкзак и душу и просигналь «девять-девять» стая.

Вы с Приграничьем неразделимы — там твоя новая *Глубина*.



Сергей СМИРНОВ

/ Вильнюс /

Сергей Смирнов родился в Вильнюсе в 1954 году. Служил в Военно-морском флоте, работал на предприятиях Вильнюса. Лауреат поэтических конкурсов и фестивалей русской авторской песни Литвы. Член Балтийской Гильдии поэтов. Печатался в альманахах «Вильнюс», «Литера», «Ступени», «Письмена», «Академия поэзии», «Планета поэтов», «Настоящее время», «Северная Аврора» и др.

ЦИКЛОН

В мокрый снег оделись склоны,
в небе — облачный редут.
Скандинавские циклоны
как разбойники идут.
Всяк — буйан, и смотрит букой,
может выкинуть, что хошь:
сдуру выхватит пуукко,
чирк по горлу — и хорош...

Ну, пуукко — не пуукко,
а швырнет в лицо снежком —
непутевому наука:
не броди в ночи пешком!
Не тревожь густой, как ретушь,
скандинавский полудождь:
кто ушел — того не встретишь,
что пропало — не найдешь.

В дождь со снегом сладко спится —
коли время улучил...
Прибалтийская столица
словно вымерла в ночи.

Вечер начисто угроблен,
час-другой — и ночь долой.
Заноси, мужик, оглобли,
поворачивай домой!

В доме сухо, в доме пусто,
пыль на письменном столе.
Давний запах щей капустных —
лучший запах на земле...
Хочешь — влезь в халат китайский,
хочешь — рюмочку налей.
Вот скажи — чего скитался?
Что искал-то, дуралей?

* * *

Вечер, морось... Вот теперь и погуляем.
Поглядим, как ветер клены оголяет,
как летят листы с готической резьбой,
тихо сетуя на ветер за разбой.

А разбоем этим правит не ненастье,
не холодный горизонт, разверстый настезь:
тут другая ощущается рука —
та, что вечность размечает на срока!

Исдержался вам отмеренный кусочек —
и пожалуйста с верхушки на песочек!
И еще такого не было пока,
чтоб обратно на верхушку и песка.

А над городом такая тьма глухая!
Лишь на западе полоска полыхает.
Постоим на виадукe, подождем,
поглядим, как будет гаснуть под дождем...

Вот погасла. Только тьма и только листья,
по обочинам блестящие смолисто.
Светофоры одинокие горят,
ветер морось гонит... Только и гулять.

СТАРАЯ ОТКРЫТКА

Зимнее солнце садится над Вильной.
Цвет горизонта изысканно-винный:

кажется — с неба на город течет
порто, бордо, или что там еще...

Чинный жандарм раскурил папироску.
Он не на службе, как видно, а просто
к вечеру вышел испить коньячку.
В позе довольство, а глаз начеку!

Фурман в поддевке и драном тулупе,
делая вид, что кобылочку лупит,
щурится с козел, как с горних высот —
двух офицеров в Сафьянки везет.

Дети в картузах, дворяночка в шляпке,
песик, застывший с приподнятой лапкой.
Синий покой уходящего дня.
Смотришь — и слышишь: к вечерне звонят...

Вывески:

«Платье парижскихъ фасоновъ».
«Лавка товаровъ купца Фейгельсона».
«Мятныя капли, зубной порошокъ»

Господи, Боже мой — как хорошо!

* * *

«Тьма над бездною»... Откуда эта фраза?
Где-то читана, да разве вспомнишь сразу...
Чуть нелепая, хотя писал не бездарь —
слово чувствовал... Послушай: «Тьма... над бездной...»

Вот сказали б: опишите Вечность кратко,
чтоб слова легли, как каменная кладка!
Первым стал бы написавший «Тьма над бездной».
Кто бы ни был ты — респект тебе, любезный!

* * *

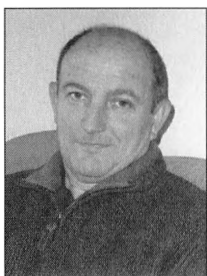
У правды жесткие глаза,
в них серый сумрак стали.
У лжи глаза — как бирюза,
как сказочные дали!

И хоть вожжами их секи,
чтоб к коже прилипало —
в те дали глянут дураки,
и все — пиши пропало.

Глядел и я — не оторвешь,
аж челюсть нараспашку!
А ложь поглаживала нож
под шелковой рубашкой,
и вдруг, умильная с лица,
мне чиркнула по горлу!
Я лишь проблеял, как овца,
негромко и покорно.

Крепчала боль, сгущался мрак,
был привкус крови пряный.
Но я не просто был дурак —
я был дурак упрямый,
и все кричал, что должен свет
развеять сумрак ночи:
да как же жить, коль правды нет,
а ложь творит, что хочет!

Вранье, что правды под Луной
искать и звать напрасно —
вот он склонился надо мной,
прищур ее прекрасный!
— Спаси! — я выдохнул едва;
она кивнула кротко
и, вынув нож из рукава,
дорезала мне глотку.



Евгений ГОЛУБЕВ

/ Даугавпилс /

Голубев Евгений Георгиевич родился 14.07.1950 г. в Риге. Окончил исторический факультет Даугавпилсского педагогического института. С 1991 года живёт и работает в Даугавпилсе». Состоит в СП РФ и МАПП, член рижского Союза литераторов «Светоч» и ассоциации детских писателей, руководитель ассоциации творческой интеллигенции Даугавпилса «DINA-ART», историк-краевед, поэт, автор 5 поэтических книг и 5 книг для детей младшего и среднего возраста, редактор и составитель литературной странички газеты «Динабург», публиковался в СМИ России, Беларуси, Болгарии—Латвии, некоторые его произведения переведены на белорусский, немецкий, болгарский, латышский и латгальский языки. Является соавтором и переводчиком четырех книг, изданных совместно с латышской поэтессой Лидией Васараудзе. Подборки его стихов включены в десятки различных журналов и поэтические сборников. Участник Пражского поэтического фестиваля «Связующее слово».

* * *

Что отболело — всё в костёр,
устав от суетных повторов,
сжигаю всех сомнений ворох,
и открываю вновь простор.
Жить стану у морской косы
и может быть нас станет двое,
идущих на призыв прибой,
по тонким лезвиям росы.

* * *

Ты паутинную порвала сеть
и даже не заметила что где-то
заголосила лиственная медь
и вздох последний проронило лето.

Что ничего уже не возвратить —
в прикосновении незрима боль утраты.
И вьётся на ветру холодном нить,
которой были мы когда-то рады.

* * *

Когда-то горожане в «Эден»¹ ходили дружно.
Там варьете гремело, трещала синема.
Шарманщики стояли возле дверей наружных,
и запахи жасмина сводили дам с ума.

Напротив жизнь крутила базарные виденья.
Над гулом, гамом, лязгом всем колокол звонил.
В питейных и публичных соседних заведеньях
порою не хватало ни браги, ни чернил.

Мещане, офицеры, юнцы и писаришки
водили юных фурий² за трёшку в номера.
С гитарами цыгане, дворяне и купчишки
на белом пароходе катались до утра.

Кипела жизнь, и город рос в новые форштадты,
ломаая строгость линий, архитектурных схем.
С Варшавского вокзала железный век, двадцатый,
уже гремел на стыках и покидал Эдем³.

Детские стихи

* * *

Отпустил жук бороду
и ползёт по городу,
машет длинной
и седой,
тяжеленной, бородой.

¹ 1 октября 1909 года на углу улиц Рижской и Александровской открыл свои двери иллюзион «Эден». Накануне Первой мировой войны Динабург не только занимал первое место между уездными городами своей губернии, но даже нисколько не уступал, по красоте зданий и торговле, Витебску.

² Фурия — лат. furia — неистовство, исступление, безумство.

³ Эдем — согласно Библии, место первоначального обитания людей, страна, где обитали Адам и Ева, райский сад. Слово Эдем израильтяне сближали со словом e'den — «наслаждение».

Туда-сюда, туда-сюда
ходит эта борода.
Еле носят его ножки —
ей он вымел все дорожки,
сел в тенёчек под лопух,
вытер пот, со вздохом: «Ух!»
Да, такая борода —
настоящая беда!!!

* * *

«Мы с папой двойняшки», — сказала дворняжка —
Нас путают люди, коты и соседи.
Нас путают птицы и даже букашки.
Нет более точного сходства на свете!
Отличие есть, но оно неприметно.
Всем очень непросто его распознать.
Мне год исполняется солнечным летом,
А папа постарше — ему уже пять!»

* * *

Капли вышли на прогулку,
всем своим семейством гулким.
Булькали, толкались,
в ручейки стекались,
мчались по аллее,
а потом смелее
полетели к нам во двор,
где играют до сих пор.
Даже солнца
не боятся,
а в его лучах
искрятся!

* * *

Как-то кот пришёл на рынок,
облизал полсотни крынок,
и в сметану сунул лапу,
но упала банка на пол.
Кот подальше от беды
двинул в рыбные ряды,
размышляя вслух о том,
что вкусней сметаны сом.

Татьяна НАДАЛЬЯК

/ Рига /



Родилась во Львове, после окончания Ленинградского института киноинженеров работала на Чукотке, с 1992 года живёт в Риге. Здесь до конца 2013 года работала журналистом, редактором и главным редактором в различных русскоязычных журналах: «Ева и Адам», Kosmetik Baltikum, «Счастливые люди», «Стиль жизни», «Люблю!», Vip Lounge, публиковалась в газетах «Час», «Суббота», «Вести», «Бизнес & Балтия». С 2014 года сконцентрировалась на свободном литературном творчестве. Написала несколько книг: эссе, рассказы, повести, стихи, одна из которых — «Азбука моей жизни» — издана в Риге в 2014 г.

ЖИЛИ-БЫЛИ

Эта история не имеет особого сюжета, как, собственно, не имеет его и сама жизнь обычных людей, если только они не прославились на каком-то заметном поприще. Тогда непременно появляется сюжет, а в нём, как положено, — завязка, кульминация и развязка. В остальном же о большинстве из нас можно просто сказать: жили-были. И это именно то, что вмещает потом чёрточка между датами рождения и смерти.

Бронислава родилась в польской семье, но в исконно русском городе Тула — родине самовара и славных оружейников. Дома у них говорили по-польски и по-русски, поскольку дети учились в русской школе, но впитать в себя русский дух девочка так и не успела: в 1918 году, когда ей было двенадцать, её отец, тоже Бронислав, увёз семью от не понравившегося ему большевистского режима в столицу буржуазной Латвии Ригу. Не суждено ему было узнать, что этот режим когда-то благополучно настигнет беглецов и здесь — вскоре по приезду умер. Жене и трём дочерям пришлось самим зарабатывать на жизнь, и им вполне хватало. Мать и старшие сёстры шили на заказ модные наряды и шляпки, а младшая Броня, которая в 15 лет выглядела вполне созревшей, устроилась

танцовщицей в варьете. Здесь ей дали сценическое имя Габи, и с ним она прожила до конца своих дней. В пожилом возрасте, когда в поликлинике или домоуправлении её называли Брониславой Брониславовной, как указано в паспорте, она не сразу понимала, что это относится к ней.

Габи так и не получила образования, зато была очень миловидна, а главные её достоинства — высокая грудь, тонкая талия и стройные ноги как нельзя лучше соответствовали весёлому нраву и пикантному легкомыслию. Танцы были её страстью, а в варьете за это ещё и неплохо платили. Гости приглашали её за столики, щедро совали купюры в декольте и отвозили домой в автомобилях. Габи обожала свою работу, охотно принимала ухаживания и считала успех более ценным капиталом для красивой девушки, чем целомудрие. Эту установку она благополучно пронесла через всю жизнь, до смертного часа не утратив вкуса к развлечениям, способности любить мужчин и быть ими любимой. И на восьмом десятке продолжала успешно флиртовать с сорокалетними и крутить бурные романы. Редкий случай!

При всей своей природной ветрености, однажды Габи всё-таки не на шутку влюбилась. По сравнению с ней её Гвидо был огромен и носил маленькую Габи на руках, как куколку. Он состоял на службе коммивояжером в приличной фирме, хорошо зарабатывал и мог достойно содержать семью. Счастливейшей невесте исполнилось двадцать три. Насладившись путешествиями и блаженным бездельем, через пару лет решилась, наконец, стать матерью, — говорят, роды очень омолаживают женщину. Дочь Сандра родилась в 1930-м. К досаде матери, она не унаследовала её миловидности и весёлого характера. Бровки девочки часто хмурились, а губки кривились в плаксивой гримасе. Должно быть, дитя чувствовало, что не вызывает у матери той любви, какую ей дарит отец. Но Гвидо редко бывает дома, и Габи, не спросив согласия мужа, вернулась в варьете.

Какую пышную встречу ей тогда устроили завсегдатаи, об этом она вспоминала с удовольствием. Но приехал муж и начались ссоры, конца которым не предвиделось, потому что Габи твёрдо решила не оставлять сцену. Гвидо пришлось смириться, и теперь вечера он проводил не с доченькой, а в ревнивом наблюдении за женой с дальнего столика в углу зала. Это не способствовало улучшению семейных отношений, и они расстались.

Недостатка в поклонниках у Габи никогда не было, а после рождения ребёнка она стала ещё более привлекательна для мужчин. Лёгкость характера позволяла ей отвечать взаимностью всем, кто был влюблён в неё, потому что больше их всех вместе взятых она любила себя. По-своему любила она и Гвидо, так что не гнала его, когда приходил повидаться с дочкой, и в такие дни дарила ему ласки от чистого сердца.

Кто знает, чем бы всё это кончилось, если бы не война. Гвидо призвали в армию, и он погиб в первую же неделю на фронте.

Когда в Ригу вошли войска вермахта, для Габи начались самые счастливые дни, о чём она признавалась в старости, уже не боясь, что советская власть как-то её накажет. Бойко болтать по-немецки она научилась ещё в юности, и с господами офицерами, приходившими в варьете, щебетала, как рейнский соловей.

— Ах, какие они были галантные! — восхищённо вспоминала Габи, — не то, что советские солдаты в вонючих кирзовых сапогах. Как они красиво ухаживали, руки целовали! А какие богатые корзины со снедью присылали с шофёром ко мне домой: там и коньяк, и шампанское, чистый шоколад, копчёный окорок, колбасы, фрукты!

То, что шла война, гибли люди, горели города, несколько не касалось Габи. Каждый вечер после работы она изящно сервировала стол старинным серебром, подаренным ей немецкими ухажорами, и предпочитала делать вид, что не знает, откуда взялись все эти ложки, вилки, ножи, щипчики и лопаточки с чужими монограммами. Столовый набор был большим и очень красивым. На склоне лет, живя вдвоём с пятидесятилетней дочерью, она предлагала ей выкупить эти предметы, хотя в деньгах особо не нуждалась. Просто было жаль, что после её смерти это богатство незаслуженно достанется дочке даром. Но об этом речь впереди.

Почти также как и мать, Сандра рано начала работать. Но, не обладая ветреностью Габи, она с детства трудилась до седьмого пота, обучаясь опасной профессии цирковой воздушной акробатки. Травма помешала ей стать циркачкой, и всю дальнейшую жизнь она провела в неустроенности и поиске подходящего рабочего места для женщины без профессии. В память о цирке у неё была одна фотография в рамке, стоящая на комод, где фотограф запечатлел Сандру в трико и коротком платьице с блёстками. Когда в Ригу вошли советские войска, молоденький солдатик из патруля, обходившего квартиры горожан, взял эту фотографию себе. Откуда ему было знать, как она дорога хозяйке комнаты, что это она и есть та самая циркачка на фото. Не рискнув поговорить с парнем по-человечески, объяснить, что значит для неё эта фотография, Сандра до конца дней пылала ненавистью к тому пареньку, успевшему узнать пекло войны, и в первые мирные дни польстившегося всего лишь на фотографию хорошенькой девочки-акробатки, — какое ужасное преступление! Ненависть к солдату Сандра перенесла на всю советскую армию — навсегда.

Для Габи смена режимов и властей проходила легко и непринуждённо. Из любой ситуации она всегда находила самый приятный выход. При Советах, когда растленные варьете прикрыли, она прибилась к киноиндустрии, где её неуёмная энергия, обширные знакомства в богемных кругах и умение обаять любого, нашли отличное

применение. Похоже, что Габи была незаменима в разных вопросах, касающихся организации киносъёмок массовки, и даже сама частенько снималась в эпизодах. Ценность её, как сотрудника, была ещё и в том, что она многое знала о человеческих слабостях и всегда была готова им потакать. За небольшую плату предоставляла свою идеально чистую и уютную комнату в центре города для амурных свиданий режиссёров с актрисами, актёров с бывшими возлюбленными, да мало ли ещё кому, — главное, что это были исключительно люди искусства. Сама она в такие ночи спала в кухне на раскладушке, а к завтраку готовила гостям кофе с гренками.

Ах, как она всё это любила, как вдохновлялась чужими амурями, и неутомимо крутила свои. Всегда ухоженная, красиво причёсанная, нарядная, с самого утра на каблучках, Габи источала манящие флюиды, которые тонко улавливались знатоками. Раз в неделю, а то и чаще, к ней зааживал влюблённый сосед по этажу — статный сорокапятителетний красавец с претенциозным именем Наполеон. Между прочим, Габи тогда было семьдесят пять. Юбилейную дату она с размахом отметила в финской бане, и, как свидетельствовали фотографии, лихо трянула стариной, отплясывая чечётку прямо на столе. Годы не брали эту легковесную даму, она бы ещё могла дойти до всяких безумств, если бы вдруг однажды к ней не приехала Сандра — насовсем, жить. До этого горе мыкала в Резекне с пьяницей-мужем и непутёвым сыном. Но мужа убили в пьяной драке, а сын вскоре привёл в дом женщину, и Сандра оказалась лишней. Габи не возражала, чтобы дочь поселилась у неё, — она имела свои расчёты на это, ввиду неизбежно грядущей старости, но они так и не оправдались. В свои сорок восемь Сандра выглядела чуть ли не старше матери. Она располнела, страдала от варикоза и астмы, передвигалась тяжёлой поступью в растоптаных башмаках на низком ходу, не скрывала своей седины. С работой в Риге у неё никак не складывалось. Перебрав несколько мест в торговле, где почему-то, при всей своей честности и аккуратности, всякий раз оказывалась должна, Сандра не придумала ничего лучше, как пойти на завод ученицей фрезеровщика. Её пальцы воспалились и опухли от мелкой металлической стружки, проникшей под кожу, ноги к концу дня становились колодами. Габи сердилась, что дочь не такая, как ей хотелось бы, что даже толковой домработницы для матери из неё не вышло. И вечно у неё нет денег! А она так надеялась, что Сандра будет каждый месяц понемногу платить ей в рассрочку за столовое серебро, за колючку с тремя бриллиантиками, один — с трещинкой, за старинный перстень с топазом коньячного цвета.

— Всё равно, когда я умру, это тебе достанется! — не утруждая себя логикой, твердила Габи. Но у Сандры не было денег и на приличные туфли.

Питались они врозь — Габи любила побаловать себя гастрономическими изысками, а делиться скупилась. Оправдывала себя тем,

что Сандра ещё молодая, а ей, в её возрасте, хорошее питание нужно. Когда уставшая до изнеможения дочь возвращалась с работы, в кухне аппетитно пахло жареной гусятиной, хотя с продуктами в то время было туго. Но Габи находила способы их доставать: бегала на автовокзал получать передачи от кого-то из сельской местности, навещалась в лучшие гастрономы к самому открытию, пока народ не вернулся с работы и не расхватал мясное и молочное. Бедная Сандра питалась ароматами материнских пиршеств, а себе могла приготовить только незатейливый суп, кашу да картошку.

Так они и жили. Друг от друга отдыхали по воскресеньям: Габи дышала курортным воздухом в Юрмале, Сандра лежала на раскладном кресле с книжкой, подрёмывала, ведь в понедельник предстоял ранний подъём. В одно из воскресений Габи нашла свою дочь уснувшей вечным сном. Дочери едва перевалило за пятьдесят, возраст матери приближался к восьмидесяти годам. Хоронить дочь Габи никак не планировала, — какая же это неблагодарность с её стороны! Кто будет ухаживать за ней, когда она станет старой? Сейчас Габи старой себя не считала, но понимала, что избежать старости и немощи всё равно не удастся. Прописывая дочь у себя, она предполагала, что та все её будущие возрастные проблемы возьмёт на себя, будет ухаживать за матерью, готовить еду, содержать квартиру в порядке. И вот получается, что теперь ей придётся искать кого-то другого! А как же будет дальше?

Но никакого дальше не было. Ровно через неделю, день в день, Габи умерла в том же самом кресле, что и дочь. Это обнаружила соседка, заглянувшая к ней со свежими новостями. Внук, приехавший из Резекне хоронить бабуку, никакого столового серебра в её комоде не обнаружил. Не было на месте ни колечка с тремя бриллиантами, один — с трещинкой, ни перстня с топазом коньячного цвета. Кто знает, куда они делись. Может, Габи кому-то продала их, отчаявшись получить деньги от дочери, а может... Надо полагать, что все эти ценности и поныне живы, — вещи всегда долговечнее своих хозяев. Хотя нас это совершенно не касается.

ТАЛОЧКА И КИМА

В каждом маленьком городке и в каждом микрорайоне большого города есть свои местные сумасшедшие — чудаки, блаженные, странные или душевно больные люди, не похожие на других внешним видом и поведением. Так, ходит в Риге, на Югле, нелепый старик, заросший по самые глаза клочковатыми седыми космами, весь, с ног до головы, вроде огородного пугала, обвязанный множеством пёстрых ленточек, нарезанных из чьих-то старых платьев, и доброй дюжиной торчащих во все стороны прозрачных полиэтиленовых па-

кетов. Ноги его поверх дырявых башмаков, на манер медицинских бахил, обёрнуты такими же пакетами и перетянуты ленточками у щиколоток. Обычно в руках у этого странного человека большой мешок из супермаркета, наполненный каким-то загадочным скрабом. Он идёт торопливо и озабоченно, будто его ждут неотложные дела. Встречные стыдливо отводят взгляд: лучше не смотреть, раз смотреть, как на должное, не получается.

Другой чудак лет сорока часто встречается мне в автобусе у Тейки. Круглый год, в жару и в стужу, он носит на голове сложенный вчетверо джемпер, водрузив его на макушку, словно на полочку шкафа. Чудак непрерывно разговаривает сам с собой, и его тоже все стараются не замечать.

В украинском городке моего детства сумасшедших было двое: Талочка и Кима. И если в мегаполисе на таких персонажей можно не обращать внимания, то в маленьких городках они — местная достопримечательность. Когда говорится: «городской сумасшедший», то «городской» подразумевается по принадлежности, как некое достояние этого города, придающее ему своеобразие. Провинциальные чудачки вынуждены нести бремя звёздности: как и звёздам, им не дают проходу. Стоит появиться на улице, сразу раздаётся свист. Какой-нибудь голосистый пацан тут же успевает кликнуть клич: «Кима идёт!», или: «Талочка идёт!» Откуда ни возьмись, собирается улюлюкающая ватага, и в сторону несчастного летит всё, что под руку попадёт, так что надо пускаться наутёк. Взрослые, конечно, не одобряли такого отношения, однако не припомню, чтобы хоть раз вступились за обижаемого.

Жизнь и судьба местечковых блаженных окутана туманом загадочности. Как, почему, из-за чего они таковы — об этом можно было только гадать, а версии строили — кто во что горазд, давая волю фантазии, распаляя любопытство слушателей. Но решительно никого не интересовало, как живут эти бедолаги, как умудряются справляться с бытовыми проблемами, сыты ли они.

О Талочке говорили, что её сумасшествие — следствие родовой травмы. Она была, что называется, тихо помешанной. Ходила, смиренно опустив голову, шаркающей походкой, на носочках, не касаясь пятками земли. Руки держала перед собой, как зайчик лапки, — согнутыми в локтях, с безвольно повисшими кистями. Всегда — бессловесная, опрятная, с коротко подстриженными редкими волосами, скреплёнными гребешком на затылке. Возраст её определить сложно — просто большое неразумное дитя. В городке её имя стало нарицательным, и тех, кто заслуживал слова «дура», мягко называли: талочка.

С чьей-то подачи считалось, что для этой душевно больной есть магические слова: «Талочка, отдай беленький воротничок!» Стоит их произнести, как кроткий зайчик превращается в разъярённую

тигрицу, и тогда — спасайся, кто может. — Враньё. При этих словах распаялись как раз те, кто их выкрикивал с недобрым азартом, напрасно ожидая бурной реакции. И тогда в ход шли снежки или комья земли — в зависимости от времени года, а бедная Талочка, плача, уносила ноги. В её сознании было темно, она не понимала происходящего и никак не могла себя защитить. Про таких людей есть украинское слово: божевольна, то есть вольна от Бога, не способна осознать Его своим непросветлённым разумом.

Кима не был свободен от Бога — он молился ему, крестился на Вознесенскую церковь, чуть не каждый день заходил туда, потому что вся его жизнь протекала у этого кладбищенского храма. Согласно людской молве, Кима в детстве был вундеркиндом. Наши родители, сверстником которым он приходился, помнят по слухам печальную историю, как приключилось у Кимы горе от ума. Чуть ли не в дошкольном возрасте он читал философские труды из библиотеки деда, сочинял вполне серьёзные стихи, играл на фортепиано, поражая всех талантом, умом и необычайно ранними познаниями. Кто знает, что там произошло в его удивительном мозге, но он слишком скоро дал сбой. Кима, а на самом деле его имя Тимофей, смог закончить только начальную школу и затем погрузился во мглу безумия, сохраняя миролюбие и кротость, никому не причиняя вреда. Грянувшая война, смерть близких, череда похорон тех, кто был ему дорог, сузили сознание безумца, замкнув его на теме погребения.

Каждый день в городке кого-то хоронили, везли на кладбище с духовым оркестром, под нестройные звуки похоронного марша. Эта надрывная мелодия действовала на Киму, как походная труба на полкового скакуна. Он вскидывал на плечо лопату и во весь опор мчался к месту события, — в дождь, в метель, в зной. В хорошую погоду, от весны до осени, проводил на кладбище у церкви целые дни, ожидая работы могильщика, — лопата всегда наготове. Люди, не считая глупых мальчишек, не обижали его, за работу платили, кормили на поминках, не скупясь, и давали еды с собой.

Лет тридцать, если не больше, нёс Кима свою добровольную службу, пока не состарился. Но и стариком какое-то время ещё ковылял проторённой дорожкой, сгибаясь от тяжести неизменной лопаты на плече. Мальчишки дразнили его издалека, опасаясь лопаты. Кима только самых докучливых пугал обманным угрожающим жестом: мол, сейчас вы у меня получите. Но никогда и никого не тронул.

Как-то незаметно исчезли сначала Талочка, потом Кима. Кажется, он помогал копать для неё могилу, а могила самого Кимы, возможно, была первой в городе, вырытой без его участия. С течением времени о них забыли, местных дур перестали называть талочками, а непослушных детей никто больше не пугает тем, что придёт Кима с лопатой. Кима больше не придёт.



Елена ШЕРЕМЕТ

/ Вильнюс /

Член Союза писателей России, председатель Ассоциации русских писателей Литвы. Автор двух поэтических сборников. Дипломант республиканских конкурсов поэзии. Публиковалась в международных поэтических сборниках Литвы, Латвии и России, периодических изданиях и сборниках поэзии в Литве и Латвии. Активно занимается издательством книг, в том числе авторских, являясь составителем и редактором. Одни из последних — сборники «МАПП. 5 лет в Литве» и «День вдохновенный...».

* * *

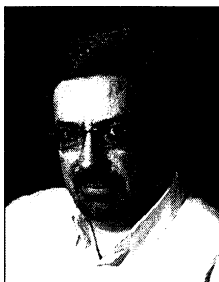
Ревность.
 Тоска.
 Одиночество.
 Любовь.
 Идолопоклонничество.
 Тревога.
 Сомнения.
 Стыд.
 Однообразие.
 Быт.
 Обида.
 Злость.
 Раздражение.
 Безысходность.
 Поражение.
 Скучаю.
 Надеюсь.
 Жду.
 Верю.
 Стерплю. —
 Люблю.

* * *

Вероны аромат — не надышусь!
Здесь камень мостовых хранит легенды.
Прокручиваю в мыслях киноленту,
В душе — Верона. Сладок счастья вкус!..
Верона! Разве выразишь в стихах
То совершенство линий, дух эпохи!
И трепет эха — то Ромео вздохи:
Балкон Джульетты в нескольких шагах...
И кованых решёток кружева,
И фресок акварель, ажур лепнины,
Изысканных сеньор прямые спины
Чаруют, словно силы колдовства!
...Садилось солнце, будто в нежный мусс
Опущен плод малинового цвета,
Как поцелуй Ромео и Джульетты...
Смотрю в окно. Нет-нет, да улыбнусь.

* * *

Липы в платьях оттенков охры,
Палантином — ночное небо.
Сбросит осень наряды в небыль...
Силуэты плащей, намокших
От дождей и туманов росных,
Их заменят. И, на потребу
Меланхолии, серым крепом
Окантованы туч наброски
На осеннем холсте неброском...
Солнца золото, столь нелепо
На пейзаже, давно не летнем,
Застывает, как капля воска...
Так тепла осень просит слёзно,
Но не жаль ветру голых веток.
Под ногами лист, будто слепок
Прожитого... Метаморфозы.



Владимир СОЛЯР

/ Даугавпилс /

Родился в 1959 году, в России. С 1976 по 1977 гг. жил и работал в Виннице, на Украине. С 1977 года проживает в Латвии, где окончил историко-филологический факультет Даугавпилсского университета. Преподавал историю и литературу в школе. В 2010 году создал свой культурно-образовательный и продюсерский центр: «Музыкально-поэтический салон Эклектика». Песни звучали в эфире радиостанций России, Латвии, Эстонии, Украины. Лауреат и член жюри поэтических конкурсов и фестивалей авторской песни в Прибалтике, России, Белоруссии, Чехии. Печатался в поэтических альманахах: «Балтика» — С-Петербург; «Seminarium hortis humanitates» — Рига; «Русский мир» — Санкт-Петербург — Таллин; «Балтийский мир» — Рига; «Родники любви» — Узбекистан — Россия; «Золотая строфа» — Москва; «Письмена № 1–5», Рига; «Светоч» — Рига; «Под небом Балтики» — Таллин. Издал два сборника стихов и записал четыре диска собственных песен.

ВЯЛОТЕКУЩИЙ АРМАГЕДДОН

Как не устать от звона
телефонов и колоколов,
вещающих без конца
о скорой кончине Света?
О чём не молчит икона —
молчание громче слов —
может о том, что мы ищем
во всех приметах?
Но ветер листву унёс
и скомкал листы газет,
где на шести полосах —
переговоры о мире...
Мы изучаем спрос
на желание жить без бед.

Мы созерцаем мир,
сидя в своей квартире.
Я выхожу из дома.
Я покупаю хлеб.
Кажется, что живу,
иногда обо всём забывая,
но с дальнего космодрома
Святые Борис и Глеб
смотрят, как в небо взвилась
церковка их святая...
И если сначала начать,
с ветхозаветных дней,
с ведающих судьбу
оракулов-звездочётов,
как вовремя обуздать
Апокалиптических коней
у этой последней черты,
у этой точки отсчёта?!

.

В доме ребёнок спит.
В комнатах тишина.
Город полон забот
о предстоящей зиме.
Мой телефон молчит
и ты не удивлена тому,
что царит покоем.

МУЗЫКА ФЕВРАЛЯ

Она жила,
она цвела
узором на февральских окнах,
писала вязью на полотнах
заиндепевшего стекла.

Она хрусталиками льда
похрустывала в хрупких лужах,
в них, наспех застеклённых стужей,
ещё вчера была вода...

Метель замаялась уже
метаться в пляске ми минора...
В портал продрогшего собора
вмерзали льдинки витражей.

Пурга кружилась в кураже.
В органных трубах выла вьюга.
То ли соната, то ли fuga
вещала песней ворожей...

И вот,
войдя в ажиотаж,
во двор, под арку, проскользнула,
но не умолкла, не уснула,
а поднялась на мой этаж...

И притаилась в тишине,
и в скрипе половиц в прихожей;
и, кажется, была похожей
на дрожь — ознобом по спине...

Озябших клавиш белизна
и пальцев нервное касанье
не нарушали допоздна
её прихода ожиданье.

...И звук, рождаясь, замирал,
хоть тишины и не боится,
как в дом влетающая птица,
в холодной комнате дрожал,

и в разлинованных листах,
томящихся в плену дремоты,
где птицами на проводах,
ещё не сыгранные ноты...

ПАМЯТИ ДРУГА

Взволнован был. Легко шутил.
Смеялся.
Курил и пеплом насорил,
и извинялся.
Тем бытовых не разрешил
коснуться.
В себя ушёл и не спешил
вернуться.
Бокал со всеми поднимал
за счастье!
Стихи какие-то читал
о власти...
Рассеяннo в окно смотрел
и в лица.

Хотел, но так и не сумел
напиться.
Кого-то в чём-то убедить
пытался,
собрался было уходить —
остался.
И был смешон, и даже глуп
однажды,
когда слова слетели с губ
о важном...
И душу вывернуть хотел
наружу.
Смолчал. Пальто своё надел —
и в стужу...
А за окном зима брела
в белом.
И до него ей не было
дела...

Печально, но никто из нас
не догадался,
что это всё в последний раз,
что он прощался...

ОНА — ВОДА

Она — бурлящая вода
в необозримой чаше моря:
то в мире с берегом, то в ссоре;
то льнёт к нему, то бьёт волна...
А то, в двустворчатой горсти,
ракушки из моих ладоней
смирненной затихает соней,
а то стремится обрести
свободу —
но не покорится,
а между пальцев просочится...

И не пленить, и не обнять,
и жажду ею не унять,
и неподвластна, и прекрасна:
смотреть — смотри,
а плыть опасно...



Мария РОЗЕНБЛИТ

/ Таллин /

Мария Алексеевна Розенблит (1943), Таллин, Эстония. Член Объединения русских литераторов Эстонии, Союза писателей Москвы. Печатается в литературной периодике Эстонии и России с середины 2000 годов.

«МАЛЬЧИШКУ ЖАЛКО...»

Из цикла «Невыдуманные истории прошлого времени»

Домов под жестяными крышами в селе мало: раз-два, и обчёлся. Поэтому их владельцы считали себя рангом выше других односельчан. Девушка на выданье в таком доме считалась завидной невестой, даже несмотря на неприглядную внешность. Люди в них обосновались зажиточные и, как правило, безупречной нравственности, особенно девушки.

Степанидину Таську, жившую в доме под жестяной крышей, все матери взрослым девицам ставили в пример:

— Ты только погляди, какая скромная девка эта Таська! Никогда никто не видел, чтобы она заигрывала, как другие, с парнями! Со старшими всегда поздороваётся, а хромой бабке Анисье каждый день воды с колодца принесёт.

Девушки пренебрежительно отмахивались:

— Хочешь, не хочешь, а будешь скромницей. Каланча, а не девка, кто с ней станет заигрывать?

Таисия действительно — высокого роста девушка, но лицо — миловидное, а застенчивость ещё больше его украшала. Если бы художник рисовал на полотне лики святых, там обязательно оказалось бы лицо Таисии. Отец девушки, Захар Антонович — уважаемый в селе человек. Если кто начинал строительство дома или покупал корову — всегда советовались и с Захар-Антонычем. Степанида, мать Таисии, степенная женщина, гордилась своим Захарком и детьми — Тасенькой и сыном Павлушкой.

Двор у Захара со Степанидой огромный. Часть его осталась Захару от отца. Там ещё сохранились старые деревья — яблони, гру-

ши. В углу двора — довольно глубокий колодец. Когда его выкопали, определить невозможно: Захар помнил его с детства. Долгое время вся семья им пользовалась, брала воду. Но поскольку всё подворье располагалось на взгорке, к лету колодец пересыхал и воды становилось мало. Пришлось от старого колодца отказаться и выкопать новый, поближе к дому. Захар Антоныч даже пригласил деда Трифона, обладателя магической веточки. С её помощью старый Трифон указывал точно, где следует копать колодец.

На то время, о котором ведётся рассказ, Тасе исполнилось двадцать лет. Младший брат Павлушка заканчивал десятилетку и мечтал поступить в художественное училище. Только не на художника, нет! Увлекался Павел разными поделками из дерева. Все подоконники в доме заставлены хитроумными фигурками, а крышку колодца парень украсил кружевным узором из дерева. Правда, в этом ему помог сосед, Артём Денисович, живший по соседству с женой Нюской. Детей у них отродясь не было и все силы Артём отдавал любимому занятию — резьбе по дереву.

Собственно Павлика приобщил к этому он же, Артём, что всех удивило: молчун Артём ни с кем не общался. Их с женой в селе прозвали бобылями. Павлик же с дядей Артёмом нашёл общий язык. Оба что-то строгаи, выпиливали, замачивали в бочке с водой — и всё это молча.

Однажды Пашка принёс домой на небольшой дощечке изображение женского лица и гордый, преподнёс его сестре Таске. Та изумилась — это её портрет! Она себе о-очень понравилась на этой дощечке.

— Павчик, неужели это ты сделал? Но это же очень здорово! Вот увидишь, тебя зачислят в училище без экзаменов!

Павлуша смутился, порывался что-то объяснить, но сам себя обрывал на полуслове, затем видя искреннюю восторженность сестры, не выдержал:

— Тася, я тебе открою секрет, но ты никому об этом не скажешь! Договорились?

Таисия, любуясь своим, таким привлекательным изображением, со всем соглашалась, кивая головой:

— Конечно, Павлик, не скажу никому. А о чём не сказать?

Павел набрался духу и выпалил:

— Этот портрет сделал дядя Артём. Но дощечку готовил я! Она — кленовая. Знаешь, сколько её надо вымачивать в ольховом настое, чтобы получился вот такой фон? Это Артём Денисович меня научил. А сегодня он передал её тебе. Только просил не говорить, что это он сделал.

Таска продолжала держать портрет, но глядела на него совершенно по-другому. Её губы улыбались, а взгляд устремился далеко-далеко и, казалось, видел то, что никому не увидеть... Пашка поглядел на сестру и с удивлением воскликнул:

— Тась, ты, оказывается, такая красивая! А я и не замечал.

* * *

Лето подошло к концу. Павел уехал в город, он поступил в училище. Настала горячая пора уборки огородов. И вдруг совершенно неожиданно исчезла Таисия. Первые два дня надеялись — ушла девушка к кому-то из родственников: их великое множество во всех окрестных сёлах. Время шло, но Тася не появлялась. Подключились к поискам все соседи, близкие и дальние. Даже Анька Артёма Денисыча помогала искать. Сам Артемий лежал уже который день в горячке, фельдшер ходил ежедневно делать уколы.

Поехали, кто на велосипедах, кто лошадьми в другие деревни, спрашивали — всё бесполезно — девицы никто не видел. Тревогу ещё вызывало то, что Тася никогда без спросу не уходила из дома, даже к соседкам-подругам. В конце концов Захар Антонович написал заявление в милицию. Заявление приняли, посоветовали ждать, объяснив: молодая девушка, может, с каким парнем уехала, вскоре объявится и посоветовали не волноваться.

Время шло. Девушка не объявлялась ни с парнем, ни — одна. Степанида с Захаром ходили потерянные, никакая работа не ладилась, картошка в огороде так и стояла невыкопанная. А тут ещё повадились ночью собаки выть у заброшенного колодца. Оно хоть и на отшибе, а всё равно слышно и покоя по ночам нет. Как-то днём Захар пошёл к старому колодцу. Ещё не подойдя близко, почувствовал смрадное, ни с чем другим не сравнимое, зловоние...

* * *

Огородив колодец красной лентой от любопытных, милиционеры вытащили на поверхность жуткую находку, сразу же запаковав её в клеёчатый мешок. Затем погрузили в стоящую рядом закрытую, с за решёченными окнами, машину. Степаниде и Захару сказали:

— Ждите, вас вызовут. Будет экспертиза, будет следствие — может, это ещё и не ваша дочь.

Через неделю их вызвали в район. Принимал потерпевших в кабинете начальник райотдела милиции, капитан. Он жалел этих людей. В его бытность на службе правопорядка такое несчастье случилось впервые. Как поступать дальше, он уже определился. Конечно же, всё будет по закону. Сейчас главное рассказать всё родителям. Капитан озабоченно взглянул на полочку с нашатырём, валидолом, отметив для себя, что пора бы обновить набор медикаментов.

Степанида и Захар, не отводя взгляда от лица начальника, сидели в ожидании.

— Уважаемые, — капитан заглянул в бумагу, прочитав имена уважаемых, — Степанида Андреевна и Захар Антонович! Примите соболезнования по поводу трагической смерти вашей дочери Таисии Захаровны Лисовицкой. Это он прочитал без бумаги, за время ведения дела — выучил.

Старики опустили головы и безучастно глядели в пол. А капитан продолжал:

— Но это ещё не всё. После вскрытия обнаружено: — ваша дочь была на пятом месяце беременности. Плод был мужского пола. Глубина воды в колодце — немного меньше метра. Насилия на трупе не обнаружено, кроме ушибов от падения, поэтому следствие пришло к выводу — самоубийство. Это подтверждает и наполовину отодвинутая крышка на колодце. Напоминаю, что тайны следствия и медэкспертизы соблюдаются строго, и я советую выдать это страшное происшествие за несчастный случай. Даже если бы мы выяснили отца неродившегося младенца, предъявить ему претензии оснований нет — ваша дочь была совершеннолетней. Ну и потом, немаловажно — захоронение на кладбище... Хотя у нас теперь и новое время, но в сельских местностях мракобесия ещё достаточно — самоубийц не хоронят на кладбищах. Да вы и сами знаете... Ещё раз — мои соболезнования. Тело получите в морге. Конечно, в закрытом гробу, сами понимаете. Там же какой-то узел с вещами, они уже истлевшие, но похоже, это — одежда покойной. Вам тоже его отдадут.

* * *

На похороны Таси, казалось, пришло всё село. Все сожалели и обвиняли Захара, что не засыпал вовремя старый колодец, в итоге, видите, какое несчастье случилось...

Гроб закрытый сверху, на крышке лежало во всю длину подвенечное платье, перевязанное посередине розовой лентой, а сверху, на уровне головы пришили фату. Она окутывала портрет Таси на кленовой дощечке. На этом настоял Павел, приехавший сразу же, узнав о, постигшем семью горе.

Степанида и Захар шли за гробом с окаменевшими лицами. Казалось, они не осознавали, что происходит.

— Хоть бы Степанида заплакала, — шептались соседи, вытирая глаза. — А то надо же — ни единой тебе слезинки!

На девять дней сошлись все родственники: стали что-то готовить на поминки.

Захар и Степанида время от времени спрашивали: что те делают у них в доме?

Павел перед отъездом на учёбу сходил проведать соседа дядю Артёма, тот не подымался, болел. Даже на похороны не смог пойти, была одна Нюска. Несмотря на горе, Пашка привёз с собой зачётную работу показать Артём-Денисычу, чего достиг — миниатюрную фигуру коня. Только не того, из конюшни, а степного скакуна, который, казалось, летит стрелой прямо на тебя!.. В зачётке Пашке поставили пятёрку, но он не сказал об этом дяде Артёму, ждал его оценки. А дядя Артём всего лишь и сказал: «Я никогда в тебе не со-

мневался!» И всё. А Паше хотелось ещё что-то услышать по поводу его работы! Вместо этого Артём Денисович, явно превозмогая себя, с трудом проговорил:

— Павел, помнишь, я колыбельку делал? Ты мне тоже помогал.

— Конечно, помню, дядя Тёма! Как забыть? Она така-ая... Показать бы её в училище, вас бы сразу зачислили без экзаменов, — затем с сожалением переспросил: — Наверное, у вас её купили — кто же от такой откажется? Ну, хотя бы не продешевили, дядя Тёма?

Артём вяло махнул рукой:

— Ну что ты, Павел? Бог с тобой! Я ничего не продаю... Ты послушай, что скажу. Забирай колыбельку сейчас к себе. Нюська, жена моя, знает. Перечить не будет. Я ей сказал, что там больше твоей работы.

Заметив, что Павел хочет возражать, продолжил:

— Женишься, пообещай мне — первенца положишь в эту колыбельку... — больной замолчал, затем как бы в бреду продолжил, — Колыбелька целебная. Там веточки калиновые, берёзовые, даже дубовые... Она настаивала.

Больной явно стал заговариваться, и Павел ушёл домой, взяв колыбельку. Поставил в мастерскую, сказав, что это его работа, до сих пор стояла у дяди Артёма. Вскоре Паша уехал на учёбу.

Степанида с Захаром между собой научились обходиться без слов. Жили молча, оберегая тайну. Они уже боялись что-либо произносить вслух. Мыслями тоже не делились, понимая друг друга и так. Постепенно всё притуплялось. Захар засыпал старый колодец, набросав сверху камней и отгородился от него, отказавшись от этого куска земли, предварительно закрепив между камнями деревянный крест.

Дожили до следующего лета. Пашка сообщил — уехал на практику куда-то на Урал. Соседи, Нюська с Артёмом, беспокоили мало. Нюська иногда бегала по двору, а Артёма редко видели собирающим то ли — травы, то ли — корни.

Неожиданно по ночам возобновился возле старого, теперь уже засыпанного, колодца вой. Захар несколько раз выходил ночью и бросал издали камнями, прогоняя, как думал, собаку. Но на следующую ночь повторилось то же самое. И мужчина решился на более строгие меры. Услышав вой (а это было за полночь), Захар взял в руки вилы и пошёл к старому колодцу — точнее к куче камней с крестом посередине. Старался идти тихо, чтобы загоя не спугнуть. Подходя ближе, услышал даже не вой, а человеческие стоны. Машинально перекрестился, хотя, пережив горе, Захар не боялся ничего.

На камне сидел человек и с подвываниями стонал. Звуки издавал охрипшие — стонал давно. Обхваченная руками голова моталась из стороны в сторону. Захар стоял позади сидевшего мужчины, держа наготове вилы. Сидевший перестал стонать и начал увещевать неизвестно кого (вокруг никого не было):

— Почему так долго не прилетаешь? Если тебя нет, тогда я зову мальчика и вою — никак не сдержаться. А он разве четырёхмесячный придёт?.. — говоривший на минуту умолк, затем жутко хихикнул и продолжил, — Я согласен, прилетай вороной. Помнишь, прошлый раз? Думала, я не узнаю?.. Пожалей маленького, прилети сама — его не дозваться.... Лучше всего, когда ты — голубка...

Не боявшийся ничего Захар вдруг испугался и уронил вилы. Послышался резкий, скребущий звук железа о камень. Сидящий мужчина встрепенулся и быстро вскочил. Они, ничего не соображая, глядели друг на друга. Один — по неведению, другой — по безумию. Первым очнулся Захар:

— Артём Денисыч, ты почему здесь? Может заблудился?

Захар слышал: у соседа бывали приступы горячки.

— Может у тебя температура повысилась? Давай помогу тебе домой дойти.

Неизвестно, за кого принял Артём Денисыч соседа Захара, но, проглатывая окончания слов, спешил всё рассказать:

— Тася! Моя Тасенька! Она же прилетает ко мне — то синичкой, то голубкой... А однажды, такая проказница, прилетела старой вороной. Представляешь? И села рядом в грязной шубе, молчит, думая, что не узнаю её... Она когда прилетает, мы сидим здесь до утра и всё говорим-говорим. Надо же всё решить. Мальчишка всё крупнее делается, и Тасю скоро видно будет... И вот уже несколько ночей она не прилетает. А когда её нет, у меня внутри, между рёбер что-то рвётся, не выдержать. Тогда я вою и зову нашего мальчика, а ему всего четыре месяца, он же ещё нерождённый. Как его дозовёшься? Мы с Тасей нашли, куда уйти — в Большаково. Я там дом приглядел. Ходил накануне. Должны выйти в полночь, а к утру — уже на месте... Вот, по этой дороге, она ведёт прямо к Большакову, видишь? Тася ждала меня здесь. И мальчишечка с нею. Он же нерождённый, у неё внутри, понимаешь?.. А колыбелька ему уже готова... Я её Павлику отдал.

Говоривший остановился, ему тяжело продолжать дальше и, передохнув, внимательно посмотрел на Захара и промолвил:

— Где-то я тебя видел, только не помню, где? Ну, да ладно. Так вот — надо же такому случиться, только выхожу из дома, моя Нюся-ка (жена моя) криком кричит:

«Артемию, позови фельшара, пусть укол от сердца сделает. Так жалко, что умру сейчас! Да бегом беги, а то не выдержу!» А к фельдшеру бежать через всё село. А потом обратно... Не состоялся наш уход тогда с моей Тасенькой. Опоздал я, уже стало светать. Но она меня простила. Поверила. Решили ждать другого случая.

Захар сначала стоял оторопевший. Затем понял, что перед ним — больной. Но дальше почему-то этот больной начал слишком

часто повторять имя «Тася», более того — «моя Тасенька». Допустим, ещё где-то есть Тася, другая. Но откуда он знает о неродившемся мальчике?!

Значит... Что же это значит?! Что вот он — убийца, изверг, причина их горя!

А изверг продолжал:

— И мы с Тасей решили на этот раз уже всё чётко, точно. Потому, что мальчишка-то растёт, скоро все увидят.

Дальше Захар не смог слушать:

— Ах ты, мозгляк, падаль! Сейчас ты будешь там, где погибла моя дочь. Всё испытаеть, сполна! Уж я постараюсь!

И Захар начал остервенело откидывать камни, делая посредине углубление.

— Живым тебя здесь забросаю!

Артём Денисыч с блаженной улыбкой присоединился к Захару, помогая тому делать углубление, не забывая рассказывать дальше:

— И вот в ночь, когда Тася меня здесь с вещами ждала, опять, только я вышел, а Нюська выбегает из сарая с криком: «Артемий, корова телится! Уже ножки видны, надо потянуть, помочь, а то не растелится, как в прошлый раз!». Я быстро пошёл, но... быстро не получилось. Пришлось бежать за ветеринаром... А на этот раз Тася мне не поверила. Подумала, что я обманываю её...

Камни в четыре руки разбрасывались в разные стороны. Артём радовался, что яма делается всё глубже, ещё немножко и будет в его рост!

А рассказ продолжался:

— Но я потом телка на бойню сдал!

Большой камень сдвинулся и покатился, зацепляя по пути мелкие...

— И корову тоже на бойню сдал, а Нюську не приняли!..

Захар, услышав последнюю фразу, остановился с камнем в руках. Постоял. Затем злобно начал забрасывать яму обратно. Артём путался, бросал камни то в одну сторону, то в другую, пока Захар не крикнул:

— Бросай туда, где были, дурак!

Артём Денисыч, не соображая, согласно кивал головой, усердно работая.

Наконец всё стало, как и раньше. Захар обложил более крупными камнями крест для прочности и направился к своему двору. Повернулся к, опять сидящему на камне, Артёму и нехотя промолвил:

— Не вой так громко! Зашибет кто-нибудь вместо собаки!

Тот подобострастно кивнул головой и вполголоса, чуть ли не шепотом, молвил:

— Мальчишку жалко...

ЕЁ ПАПА

Из цикла «Невыдуманные истории прошлого времени»

Девочка была ещё маленькой и многого не понимала. Почему всё время хочется есть, а нечего?

Её младшая сестричка — совсем несмышлёныш. И говорить не умела, а слово «дай!» знала. Тоже — непонятно.

И ещё она не понимала, почему у неё, и у малышки — сестры, нет папы. Мама — есть, а папы нет. У многих детей есть и папы и мамы. У них и еда была. Как-то она ждала под дверью Катюку Полькину, идти на улицу играть и услышала тако-ое:

— Катюня, ещё один оладушек съешь. Никуда твоя улица не денется! А то худющая, как тростиночка. Пожалуюсь папке — не слушаешься!..

В семье девочку не жаловали, однажды она при посторонних выдала:

— Мама, наш папа скоро придёт! Это так всегда — папы немножко где-то поживут-поживут, а потом приходят!

Как-то, мама, выбрав момент, когда они были вдвоём, посадила её к себе на колени и попросила:

— Ты не вспоминай о папке. Его убили на войне. За нашим огородом в поле большая насыпь. Называется — военвед. Сейчас всё рожью засеяно, а в войну там жуткий бой шёл. Много людей полегло... В братскую могилу всех перезахоронили около сельсовета. Камень с выбитыми фамилиями поставлен. Только нашего папы там нет. Но он погиб, я знаю, чтобы кто ни говорил!

И задумала девочка совершить поход на высокую насыпь, военвед. Она как-нибудь проберётся сквозь рожь.

Если папа убит, значит — лежит в этой огромной могиле. Не нашли — плохо искали. Или же он живой — где-то поживёт-поживёт, и придёт.

На могилу обязательно что-то надо покласть. У неё же ничего нет. Хлеб в доме закончился, только завтра бабушка будет печь.

Девочка ходила по двору, ко всему приглядываясь. По ту сторону забора, у соседей, что-то стукнуло. Оказалось — упала с дерева большая груша. Лизавета дорожила своими грушами, меняла на них соль, керосин.

И девочка решилась. Пролезла под забор, схватила свой трофей, сразу же сунув его за пазуху и повернулась лезть в обратную сторону... Стукнула входная дверь у Лизаветы, девочка в испуге поспешила так, что платице на спине зацепилось за гвоздь и с треском порвалось. Ничего, зашьёт сама, никто и не узнает!

Зажав в руках грушу, девочка по тропинке, через огород побежала в поле. Она вошла в рожь и полностью скрылась, даже головы

не видно. Чтобы знать, куда идти, ей приходилось время от времени подпрыгивать. Один раз увидела верхом на лошади бригадира дядю Гришу, охранявшего ржаное поле от воров.

Всю дорогу она вдыхала запах груши. Как хотелось откусить хоть малюсенький кусочек!.. Но она устояла! Только осторожно, боясь сделать надкус, облизывала румяный бочок груши.

Наконец добралась до самого высокого места в поле. Даже свою хату отсюда видно. Грушу держала в подоле платица. Сделав маленькое углубление в земле, девочка торжественно положила её туда и умиротворённо глядела, подперев кулачком щеку.

Вот теперь всё правильно. И её папка тоже получил подношение, как и все!

Есть хотелось нестерпимо, она сорвала несколько колосков, помяла их в ладонях и высыпала в рот зёрна. Затем, отряхнув платицу, бросив прощальный взгляд на грушу, вслух проговорила: «Я буду часто приходить, папка! А завтра, может, хлебушка принесу».

Интересно, куда всё-таки деваются с могилок все эти вкусоности?

В это время чья-то рука просунулась между стеблями ржи, схватила грушу и исчезла. Девочка даже рот раскрыла от неожиданности. Нет, она не испугалась, а сразу ринулась в то место, где исчезла рука с грушей.

Старик сидел и жадно поедал грушу. Сок тёк по его грязной, всклокоченной бороде. Корешок он тоже пожевал и выплюнул, утёршись замусоленным рукавом рубахи.

Застывшая девочка, молча, во все глаза глядела на него. Тот, чувствуя ноловкость, произнёс:

— Вкусная была груша! Лизаветина наверное?

Не отрывая взгляда от мужчины, девочка молвила:

— Эта груша была для моего папки! Я думала, он лежит здесь в могиле, убитый. Значит он не убитый, а вы мой папа, раз грушу съели?.. А глаз вам в войну фашисты выбили, да?

Старик опасливо оглянувшись, вполголоса попросил:

— Ты, девочка, потише разговаривай — Грицько объезжает сейчас поле. А у меня мешок колосьев набран. Поймает — засадят, вот и будет тебе папка! А глаз у меня ещё в молодости, по дурости выбит. Тогда же и ногу поломал. Ну, бывай!

И, полусогнувшись, с мешком на спине, скрылся во ржи.

Это был хромой дед Михей, восьмидесяти лет от роду, слепой ещё с детства на один глаз. Жил он со своей, злой на язык, бабой Дуськой. Жили бобылями, без детей. Более нищего дома, чем у них, в селе не было.

Домой девочка не бежала — летела! У неё есть папа! Ничего, что он выдаёт себя за деда Михея. (Она деда узнала сразу). Это

так надо. Она понимает. Откуда бы дед Михей знал, что она сегодня придёт на военвед, принесёт грушу и он её съест, если бы не был её папой?

Никому нельзя об этом рассказывать... Она дожждётся, когда дед Михей превратится в настоящего папу — красивого, сильного!

На второй день, получив от бабушки положенный кусочек хлеба, она разделила его пополам, одну половинку съела сразу же, вторую, прижав к груди, побежала по знакомой тропинке.

Место, нашла сразу. Торжественно положила туда хлебушек и села в ожидании. Послышался шелест раздвигаемой ржи и показался сначала мешок с колосьями, потом дед Михей, весь взмокший — сильно палило солнце. Девочка вскочила и, показывая на хлеб, предложила:

— Вот, ешьте! Я знала, что вы придёте и принесла хлебушек, он ещё тёпленький... А вы настоящим папкой скоро станете? А то только я одна знаю, а больше никто не догадывается.

Дед Михей был голоден всегда. Его Дунька казанок баланды варила раз в два дня, других изысков не было. Поэтому он с жадностью жевал кусок тёплого хлеба.

Девочка с умилением глядела на жующего мужчину и вместо одноголазого, грязного, хромого старика представляла красавца-папку...

— Вот удивится тогда Катька Полькина! И у меня будут оладушки!

Дед Михей вытряхнув с бороды крошки, отправив их также в рот, спросил:

— А чего-нибудь выпить ты можешь принести, своему папке?

Девочка живо нашлась:

— Я сейчас, живо сбегая за водичкой!

— Да не-ет! Водички я и сам могу попить. Поищи в доме, может в бутылке стоит горилка. Ты отлей в маленькую чекушку и принеси. А я буду ждать.

Что такое горилка, девочка не знала. Нашла небольшую, наполненную жидкостью бутылку и отлила, как дед Михей велел, в маленькую чекушку. Закрыла горлышко кукурузным кочаном (бабушка так делала) и, радостная, понеслась по полю. Дед Михей ждал. Увидев девочку, единственный глаз Михея засветился в предвкушении. Девочка вытащила бутылку из кармана платица и торжественно воскликнула: «Вот!»

Старик выхватил чекушку, почему-то сразу поднёс её к носу и его восторженный взгляд потух:

— Ты чего это принесла, девка?!

Он выдернул кукурузную пробку, принялся и сердито бросил:

— Это же керосин!

Затем, не обращая внимания на поникшую девочку, под нос себе, проворчал:

— Я-то сразу понял, что девка у Настуньки малость того..., но она, оказывается, совсем дурковатая!

Видя, что девочка вот-вот расплачется, дед Михей снисходительно молвил:

— Ладно, давай возьму. Не пропадать же добру. Дунька зальёт в лампу, керосин давно закончился.

* * *

Наступила осень, пошли дожди. Рожь была скошена.

Однажды девочка с мамой вышла из магазина и увидела в толпе мужчин деда Михея. Забыв обо всём, радостно подбежала к старику, сунув ему в руку обе конфетки, которые так долго ждала от мамы, со словами:

— Это вам!

По дороге домой мама выговаривала девочке:

— Зачем ты обе конфеты отдала этому оборванцу? Он самогон лакает, а не конфеты!

Девочка печально поглядела на маму и тихо молвила:

— Я папе дала.

Мать растерялась, затем схватила девочку за тощее плечико и стала тормошить, словно взрослую, приговаривая:

— Ты опять за своё?! Позоришь меня, дурища! Слепого, восьмидесятилетнего инвалида называет папой! У него вши в бороде бегают! В углу сегодня будешь стоять до утра!

В углу девочка постояла немного — бабушка пожалела, сказав матери:

— Скажи спасибо, что у неё в голове дед Михей засел. А если бы она объявила «папкой» Павла, агронома нашего? Так Павлиха тебе все волосы бы выдрала и окна побила... Люди злые, не разбираются, что дитё придумывает для себя сказки.

Помолчав, добавила:

— Не трогай девку больше. Повзрослеет, поймёт всё.

* * *

Она повзрослела, когда на сельсовет пришло сообщение: «Младший лейтенант Крачинский Владимир Данилович геройски погиб под селом Сахновка на Брянщине». Мама уже не боялась разговоров о папе.

Девушка ездила на Брянщину, почитала на камне выбитую фамилию своего папы.

Жила в городе, училась в институте.

Деду Михею на то время было за девяносто. Его Дунька отошла в мир иной. Соседи по очереди заносили деду миску супа, да следили, чтобы в доме всегда была водичка.

Как-то, на каникулах, девушка узнала, что дед Михай болеет. Собрала всего в сумку и пошла. Дед был один. Девушка, молча выкладывала на стол свежие булочки, масло, сыр. Поставила бытылку сока, предварительно открыв её. Потом решила спросить:

— Может вам подвинуть всё ближе к кровати?

Единственный глаз деда следил за девушкой, и он, неожиданно бодрым голосом, ответил:

— Нет, дочка, не надо. Я сам пока встаю. А, что проведала — спасибо! Как узнал, что в город уехала, думал, так и умру — не дожусь. Мне отдать тебе надо кое-что. Берёг для тебя... Самое трудное было — от Дуньки упрятать!

Дед Михай пошарил рукой под подушкой и вытащил замусоленный узелочек. Дрожащей рукой он подал девушке со словами: «Возьми! Купи себе колечко или брошку — что понравится».

Девушка машинально взяла узелок и так же машинально развязала его. Там лежала, в несколько раз сложенная денежная сторублёвая купюра...

Деньги были старого образца, и давным-давно изъяты из оборота. Но глаз деда Михея светился таким торжеством, что девушка искренне произнесла:

— Спасибо большое! Обязательно куплю колечко, будет память о вас!

А дед Михай умиротворённо произнёс:

— Сподобил меня Бог, дождался!

МАНЬКА — ПРИНЦЕССА

Анютка дождалась паузы, когда бабушка перестала ворчать и подбежала к ней. Для убедительности взялась за конец её фартука и, просительно заглядывая в глаза, стала канючить:

— Бабушка Лена! Дай нам с Маней шарф, что на верхней полке в шкафу. Мы его не испортим... Манька в нём замуж выйдет, и я тебе его сразу верну!

Баба Лена, выдернув фартук из рук девочки, сердито ответила:

— Не дам! Ишь, чего ещё придумала! Шарф ей подавай! Ты же знаешь, это для меня память... За сорок лет труда моего добросовестного сотрудники подарили. — Потом, помолчав, горестно добавила. — И на пенсию отправили. А я могла бы ещё поработать.

Женщина, вымыв последнюю тарелку и вытерев о фартук руки, присела на табуретку. Ещё пару лет назад могла целый день крутиться по хозяйству и ничего. А в последнее время стала уставать, и это вызывало тревогу у Елены Антоновны. Ей надо быть в форме ещё долго. На её руках — пятилетняя внучка. Ребёнка надо растить,

на ноги ставить. На мать — надежды нет. Не так давно заявила в дом с красными волосами на голове и в юбке (прости Господи, если это юбка!) почти не прикрывающей срамное место. Анютка тогда не узнала маму, приняла её за чужую тётю. Сама же Елена Антоновна сначала остолбенела, а потом, горестно вздохнув, окончательно поняла, что растить Анютку придётся одной.

Во время этих печальных раздумий в прихожей послышалась какая-то возня, Анюта оставив свои игрушки, бросилась к двери и попала в расставленные руки своей мамы — Жени. Бабушка Лена, всплеснув руками, воскликнула:

— Батюшки-светы! Вот уж не знаешь, что ожидать от этой непутёвой! Ну, хорошо, что приехала, всё ребёнку — радость. Она же тебя постоянно ждёт.

Елена Антоновна, заворчала, как всегда, но и сама была рада приезду дочери. Тем более, на этот раз вид у Женьки был вполне приличный: волосы — естественного цвета, одета — в брюки и кофту. Она бросила на детскую кровать какое-то чудische ядовитого цвета — то ли крокодила, то ли жабу. Баба Лена, оправившись от неожиданности, опять начала ворчать:

— Женька, тебе уже тридцатник стукнул, а ума никак не набралась. Какую-то каракатицу ребёнку привезла! Только деньги истратила, она ею не будет играть. У ребёнка кукла с отбитой головой. Я пришила голову из тряпок. Вот она ею и играет. Лучше бы ей новую купила.

Но Анюткина мама этого не слушала: она бухнулась в кровать и почти сразу уснула. Оно бы — ничего, с дороги надо поспать, но не целый же день. А Анютка так и просидела всё это время около кровати. Отломала из вербы веточку и отгоняла мух от маминого лица. Ей хотелось погладить маму, но она боялась её разбудить.

Тогда стала раскладывать около неё своё богатство — куклу Маню, какой-то потемневший от времени деревянный чурбачок — его Анюта всегда ставила напротив куклы и уверяла её, что это принц. Принц не удержался и свалился на руку спящей мамы. От испуга девочка замерла, потом невольно выронила из руки ветку — она упала на маму, и та окончательно проснулась.

Можно бы ещё поспать, но разве дадут? Устаёт она, работает за двоих, хотя получает одну ставку. И ничего не поделаешь, хочешь зацепиться в городе — на всё согласишься. Поэтому и домой навдывается редко — жизнь надо устраивать. Но, кажется, у неё появился шанс — мужчина. Может на этот раз повезёт. Ничего, что разведенный, а то, что старше её, так даже лучше. Сам он хочет жениться на молодой. Вроде бы ему Женька понравилась...

Пока так размышляла, в комнату зашла бабушка Лена. Женька поднялась и села в кровати, отшвырнув на пол, оказавшуюся на кровати деревяшку. Анюта коршуном бросилась поднимать с пола чурбачок, потом прижала его к себе двумя руками, объясняя маме:

— Мама, это — принц. За него моя Маня замуж пойдёт.

Женька озадаченно переспросила:

— Что ещё за принц?

Бабушка Лена решила вмешаться:

— Сказки ребёнку на ночь читаю, вот и принц оттуда! Пусть хоть сказки послушает, если родителей нету... Как у тебя, Женька, сердце не болит — не понимаю.

К этому времени Женька уже поднялась и озабоченно обратилась к матери:

— Мам, ты меня не называй Женькой, я теперь — Анжела, и не забудь, что мне двадцать три года.

Мать замахала руками:

— Совсем баба рехнулась! Какие двадцать три года? Когда это было? Тогда ещё и Анютка не родилась! И что за Андела такая?!

— Мама, перестань издеваться, ты прекрасно выговариваешь слово «Анжела»! Ну, что тебе, жалко? Я через неделю приеду с мужчиной. Возможно, выйду за него замуж.

Баба Лена, присев на диван, произнесла:

— Да приезжала ты уже с мужчинами... А толку с того? — и, скорбно вздохнув, махнула рукой:

— Делай, что хочешь!

Женька с воодушевлением стала наводить порядок в доме. Всё свелось к тому, что она набросала кучу, на её взгляд, ненужного хлама. Под руку опять попалась злополучная деревянная чурка-принц.. Женька стала объяснять дочери, что это только чурбак, им толкли картошку. Он когда-то треснул пополам, а этот кусок остался — вот тебе и принц. Она бросила деревяшку в общую кучу, туда же полетела и кукла с тряпичной головой. Анютке мама пообещала сегодня же купить настоящую куклу — её не стыдно будет показать приличным людям!

Девочка молча вытирала время от времени набегавшие слёзы и старалась из последних сил улыбаться. Баба Лена ходила по пятам за дочерью, поочерёдно отбирая то старый фартук, то тряпку — всё это ещё пригодится в хозяйстве. Потом рассудительно, с надеждой в голосе, проговорила:

— Вышла бы ты замуж за Петьку, пока его не подобрала умная девка. Вон Тоська Иванихина каждый раз его матери сумку из магазина несёт! А Петька всё тебя ждёт... Но это до поры до времени ждёт!

Женька перебила мать:

— Пусть забирает Тоська этого тюфяка. Мне он даром не нужен. С ним я буду всю жизнь в этом захолустье прозябать. А я хочу свет повидать и жить не так, как вы все!

Она вынесла собранное в сарай и затолкала в жестяный бак, куда мать высыпала золу из печки. Анюта провожала маму в сарай

и обратно, каждый раз стараясь обнять её, словно случайно. Ей жалко было куклу Маню и принца, но если мама их выбросила — значит, так надо...

На второй день, когда Анютка проснулась, в углу её кровати сидела большая пластмассовая кукла с синими глазами и хлопающими ресницами. Кукла — в розовом воздушном платье с бантом — глаза девочки загорелись. Ей теперь не надо выпрашивать у бабушки шарф для свадьбы. Но тут Анюта вспомнила, что Мани больше нету, замуж выдавать некого и её радость потускнела. В это время зашла бабушка Лена, привычно бранясь на непутёвую дочь. На вопрос внучки: «А где мама?», ответила:

— Укатила рано утром. Всё ей некогда. Пообещала, что скоро приедет. Но мы уже слышали про это «Скоро». Вон, для тебя куклу вчера купила — велела отдать сегодня.

Сложив Анюткину кофточку, бабушка спросила:

— Нравится кукла-то? Вишь, как глазами лупает, не то, что твоя тряпичная Манька! Ну поиграй, я пойду завтрак готовить.

Анютка глядела на сверкающую красотой куклу, потом опасливо притронулась к ней пальцами. Взять её целиком в руки не рискнула — слишком красиво.

Девочка вышла во двор, машинально зашла в сарай, где в углу стоял бачок — в него мама вчера выбросила весь хлам. Анютка подошла к нему ближе — сверху всё было засыпано золой. Бабушка утром выгребла её из печки. Мани видно не было. Девочка неожиданно запустила руки по локотки в золу, перебирая пальцами всё, что ей попадалось. От золы поднялась пыль, она попадала в нос, глаза. По чумазому лицу Анютки клейкими дорожками потекли слёзы. Вдруг её пальцы нащупали что-то похожее на игрушечную ногу, и она, что есть силы, дёрнула за неё. В руке оказалась её старая кукла. Хотя понять это могла только Анюта. Ранее нарисованные бабой Леной брови, рот, нос превратились в сплошное грязное пятно. Девочка присела на корточки, положила куклу на землю и стала пальцами тереть там, где раньше было нарисовано лицо её Мани. Грязное пятно стало ещё грязнее. Во дворе послышался голос бабушки Лены, она звала завтракать, и Анютка, сунув старую куклу в угол под сломанный табурет, побежала в дом. По дороге она зачерпнула ладонями из ведра воды, сполоснув руки и лицо. Бабушка Лена, подозрительно поглядев на внучку, спросила:

— Ты куда бегала? Вся красная, запыхалась.

Анютка, замаявшись, вышла из положения, сказав, что очень хочет есть...

* * *

Это был целый ритуал — завтрак. На одном конце стола Анюта сажала куклу Маню, рядом с нею принца — чтобы не упал, его под-

пирала высокая кружка. Перед ними девочка ставила блюдечко, куда клала еду. Но сегодня ничего этого не было. Бабушка Лена, по привычке, взглянув на конец стола, хотела было спросить, но умолкла на полуслове. Анютка сидела перед тарелкой, потупив глаза, молча ковыряла ложкой. Не выдержав, бабушка решительно поднялась и прошла в комнату, где спала внучка. Оттуда она вынесла новую куклу и водрузила её на то место, где раньше была Маня. Затем поставила блюдце и предложила Анюте положить туда кушанье. Девочка подняла глаза от тарелки и буркнула:

— Не буду я её кормить!

Потом, уронив голову на руки, откровенно заревела. Елена Антоновна подошла к ней, прижав девочку к груди, стала сокрушаться:

— Ну вот, что мне с тобой делать, а? Здесь мать нужна, чтобы тебя воспитывать! А я — старая, не знаю, что — к чему!.. Теперь всё невозможное.

Она посадила Анютку на колени, одновременно укачивая её и жалуясь на неудавшуюся жизнь. Затем, увидев, что после переживаний и горьких слёз, девочка уснула, отнесла её в кроватку.

Проснулась Анюта нескоро, в окна светило солнце. В углу на верхней полке этажерки с застывшими глазами сидела новая кукла — вся в розовом. Девочка, равнодушно хмыкнув, отвела от неё взгляд. И вдруг замерла — рядом с кроваткой на столике сидела её Маня. У Анюты захватило дух — на Мане было платье и бант из бабушкиного светло-зеленого шарфа, что всегда лежал на верхней полке в шкафу! Напротив Мани, опираясь о высокую кружку, стоял деревянный чурбачок, подпоясанный вишнёвого цвета тесёмкой — принц. На лице Мани неумелой бабушкиной рукой химическим карандашом были нарисованы брови, глаза, нос...

От восторга девочка онемела. В комнату зашла бабушка Лена. Губы её были синими от карандаша. Она, как всегда, ворчала:

— Куда мне такой длинный шарф? Не думали, когда дарили, лишь бы быстрее отделаться да отправить на отдых! Вот обрезала, теперь будет в самый раз!

Внучка повернулась к бабушке и, обретя голос, восторженно, захлёбываясь, выпалила:

— Бабочка Леночка, я тебя люблю! — больше ничего не смогла выговорить, хотя сказать хотела многое...

Ведь её Манька наконец-то стала принцессой! Анютка её сегодня же выдаст замуж. Раньше не могла — не было платья... А эта новая кукла... Андела, пусть пока посидит. Может, позже ещё один принц найдётся.



Наталья БЕЛЬСКАЯ

/ Рига /

Бельская Наталья Дмитриевна родилась в Астрахани. По образованию инженер-технолог. Стихи начала писать в зрелом возрасте. Публиковалась в периодической печати и альманахах. Автор поэтических сборников «Бессонница» и «Старая пристань». Член Союза Писателей России. Живёт в Риге.

* * *

Предвещая близость ливня,
 Две вороны импульсивно
 Будоражат криком двор.
 На погоду не надейся —
 Туча в мантии судейской
 Дню выносит приговор.
 Но судьба не безнадежна.
 Плащ — достойная одежда,
 Если выпал долгий путь.
 И, когда гремят раскаты,
 Зонтик старенький горбатый
 Впопыхах не позабудь.
 Кружит где-то над Парижем
 Солнца диск в берете рыжем,
 А у нас опять напасть —
 Небо злится, как обычно,
 Но чудак, к плащам привычный,
 Извлекая опыт личный,
 Не даёт себе пропасть.

* * *

Баловень лета, июль, босиком,
 Зноем изрядно оплавлен,

В комнату нашу крадётся тайком,
Дышит сквозь плотные ставни,
Липнет тягучей ириской к зубам,
На подоконнике виснет,
Струйкой горячей стекая со лба,
Исподволь путает мысли.
Даже слегка повзрослевшая тень
От духоты не излечит.
С крыши на запад сползающий день
Переплавляется в вечер.
Неба лоскут, укрывающий двор,
Тонок. Он выгорел напрочь.
Сменит его звёздно-синий декор,
Зорями вытканый на ночь.

* * *

Между небом и степью летит на восток кобылица —
То ли топот копыт, то ли сердца взволнованный стук.
Вот бы вдоволь весенних тюльпановых далей напиться
И уткнуться в суглинки знакомых натруженных рук.
Улыбнётся судьбе кареглазая вечность степная
И вселенской любовью зажжёт золотой окоём.
Я дыханье её среди тысяч дыханий узнаю
И навечно оставлю зарубку на сердце своём.

АСТРАХАНСКОЕ ЛЕТНЕЕ

За Казачьим плыли дачи,
Льнули к ласковой воде.
Там под солнышком горячим
Мы купались на Балде,
Где проворные моторки
Спор вели наперебой,
Волн весёлые оборки
Оставляя за собой.
Млели лодки у причала
От буксирного гудка.
Их отчаянно качала
Простодушная река.
Зрел беспечно вечер новый
У июля на руках
В абрикосово-вишнёвых
Астраханских облаках.

* * *

Дерзко напасти стучат в окно,
Но не сбивают пульс.
Сгинули страхи мои давно.
Я уже не боюсь.
Пули-слова, как чужая тень,
Глухо ушли в песок,
Не надорвав мой осенний день,
Не зацепив висок.
Ветер лютует. Но даже он
Не омрачает сны.
Всё ещё жив за бронёй времён
Хрупкий цветок весны.

* * *

Две дороги — две реки,
Как от сердца две руки,
На пути моём тернистом выставляют маяки.
Волга, матушка-река,
Держит путь через века —
Первородное начало, жизни красная строка.
А сестра её Двина
Мне в наперсницы дана,
Чтоб в судьбе не умолкала песни звонкая струна.
Много зим и много лет
По земле струится свет
От валдайского истока — бережёт меня от бед.

* * *

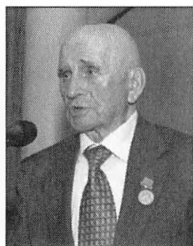
Бродили клёны в Верманском саду,
Касались лип руками, как повесы,
И рассыпали рифмы на ходу
Под каблучки знакомой поэтессы.
Ах, что за вечер! Что за дивный сад!
Луны проросшей робкое кажденье.
Вдруг среди звёзд блеснул забытый взгляд
И в душу заглянул, как наважденье.
Былое, растворённое во мне,
Звучит под стать сиянью звёздной пыли.
Я проплываю парком, как во сне,
Где клёны мою исповедь хранили.

НАКАНУНЕ ПОЛОВОДЬЯ

Студёный март заснежил землю.
Во льдах на Волге шлюзы дремлют.
Но скоро-скоро грянет срок
И, выйдя из оцепененья,
Помчит на юг без промедленья
Неунывающий поток.
С диктатором льдин нещадно споря,
Наверняка пробьётся к морю.
С великим множеством проток
Делясь российской водою,
Войдёт весенним тамадою,
Снискав под южным небом кров,
Чтоб, коронуя Каспий вязью,
Напевами Суры и Клязьмы
Пленять персидских осетров.

* * *

Словно малый осколок ушедшей страны,
По которой печалиться поздно,
Я плыву сквозь забытые детские сны,
Свой маршрут выверяя по звёздам.
Среди тысячи зол, окруживших кольцом,
Под ногами планета иная.
Но исток свой, меняющий в спешке лицо,
Всё равно по осанке узнаю.
Там трамвайные рельсы ушли в никуда,
Покоряясь закону плавильни.
Молчаливой слезою бывая звезда
Окропила пригорок ковыльный.
Но всё так же лучами обласкан восток
И названия улиц, как песни.
Мне б тот воздух вдохнуть, сделав жадный глоток,
Вспомнить всё и запеть с ними вместе.
Ну, а если лихой неизбежности срок
Оборвёт путеводные нити,
Моего старомодного сердца цветок
Среди строчек стихов сохраните.



Василий САЗОНОВ

/ Таллин /

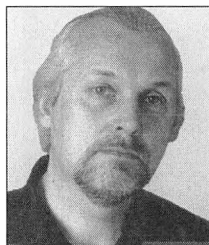
Сазонов Василий Андреевич (1931). Член Союза писателей России (Эстонское отделение) и Объединения русских литераторов Эстонии, руководитель Литобъединения Эстонии (поэзия), литературная деятельность — с начала 1960-х годов, печатается почти 50 лет в российских и эстонских поэтических сборниках и периодике, пять авторских сборников (первый — под редакцией В.Сосюры, Ленинград, 1976), дипломант премии им. И. Северянина и международной литпремии им. Ф.М. Достоевского (Эстония).

* * *

Как голос встречи и разлуки,
И вечной тайны бытия —
Ночные трепетные звуки
У каменистого ручья,
Лепечет тихое течение
Сквозь сумрак ночи о былом,
О невозвратном и весеннем,
О тайном, грешном и святом.
Живая музыка природы
Чарует душу и томит,
И мирозданье взором звёздным
Со всех сторон в тебя глядит.
И времени не замечаешь,
Такими чувствами живёшь,
Что от восторга и печали —
Каким-то чудом не умрёшь.

Александр УРИС

/ Нарва /



Урис Александр Владимирович (1959), Нарва, Эстония. Член Союза писателей России (Эстонское отделение), Объединения русских литераторов Эстонии. Печатается в периодических изданиях Эстонии с середины 1990-х годов. Автор книги «Вернуться из никуда» (2001, Таллин) и цикла рассказов в журнале «Балтика» (с 2004 года). Лауреат государственной лит. премии Эстонии «Культууркапитал» (2006).

ПЕРСОНАЖИ

(Из цикла «Лавка»)

— У тебя как сегодня торговля? — спрашивает соседка-парикмахер, арендующая помещение рядом. — У меня за весь день одна старушка подстриглась и все.

— У меня не лучше, — отвечаю. — Конец месяца, этим все сказано.

Повздыхали, посмотрели в окно на пустынную улицу, попили чайку. Так рабочий день к концу и подошел. А как закрываться — посетитель заходит. Живописный донельзя: низкорослый, заросший до глаз черной включенной бородой. Из-под нахлобученной на самые брови мокрой черной заячьей шапки смотрят черные, как смоль глаза. Мокрая фуфайка перетянута выдавшим виды кожаными узкими ремешком. Топора лишь не хватает за поясом — а так ни дать ни взять лесной разбойничек из фильма-сказки «Морозко»: «Ох и холодно нам, ох и голодно нам...» И такое явление в начале третьего тысячелетия.

— Фонарик пришел у вас купить, — после некоторого молчаливого стояния напротив меня то ли виновато, то ли, напротив, насмешливо произносит этот человек из безвременья.

— Купить? — едва дыша от бомжовского аромата переспрашиваю я. Ведь обычно бомжи что-то приносят, чтобы получить деньги. А тут — хочу купить. И важно так, с достоинством. Хотя это понятно — возможность что-то покупать скоро станет особой привилегией у зем-

лян. Остается совсем немного — отменить наличные и закрепить не-что с числом на руку и на чело. Не примешь клейма — лишишься возможности покупать и продавать. Тонкая штука — не жизни лишишься вроде, а всего лишь покупать и продавать. Эдакий юридический трюк. Назвался по другому и не попал под статью. Иисус разгадал эти трюки и не стал заповеди перечислять. — Две заповеди даю вам, в которых все, — говорит. Ведь убить можно и не убивая. Перекрыть человеку все его платежные каналы, да каналы поступления на работу и все — как ему. Выхода-то нет. Кругом безналичка и господство юристов-финансистов. А поклонись: и работа тебе, и счет в банке, и возможность кредита. Все удовольствия, в общем.

Выставляю перед «разбойничком» несколько фонариков. А он на них даже и не смотрит, словно и не за ними пришел.

— Вот, можете выбирать. Все по одной цене, — начинаю поторавливать его. А он не торопится. Рассказывать начинает, зачем ему фонарик понадобился:

— Я бы и не пришел. Был у меня фонарик. Украли. Я ведь на лестнице под мостом ночую...

— А фонарь там зачем?

— Как зачем? А почитать? Я читаю много, чуть ли не до полуночи. Тут фонарь нужен. Что читаю? Разное. Детективы люблю. Фантастику. У меня и приемник есть, радио слушаю. Карманный. С батарейками проблемы? Никаких! Их столько «плюс-минус электроника» выбрасывает, что и на фонарик есть сколько надо и на приемник. Так украли...

— Кто украл-то? Вас, что, под мостом много?

— Нет. Я привык один. Ну, разве что с кем выпьешь. А тут случайно парень один примостился...

— ПриМОСТИЛСЯ?

— Ну да. Я не гоню. Пусть себе в другом углу ночует. А утром: ни его, ни фонарика.

Слушаю и живо представляю лестницу под мостом и бомжа с фонариком и книгой. Горьковский образ. Ругают классика, что революцию приветствовал. Так и он себя после ругал. Не того он хотел, а, как все, перемен. Как Виктор Цой. Не к худшему же. Опасаться надо тех, кто желающих перемен использует.

— Олега помните? — неожиданно, будто вспоминая зачем пришел на самом деле, меняет тему «разбойничек». — Сталбота?

— Сталбота?

— Его. Он вам еще сто крон не отдал. Взял разменять и не вернулся, — бомж усмехнулся то ли неприсутствующему Сталботу, то ли надо мной. Сам-то он сюда к вам больше не показывался. Боялся. Надо что-то сдать — меня посылал. Я ведь не сам по себе к вам иногда приходил, а когда он попросит. Пойди, говорит, отнеси товар этому клоуну, может возьмет. На язык-то он был того, — этому клоуну, го-

ворит. Вам то есть. Хе-хе-кх-х. А я чего пришел-то. Сказать, что умер уже Сталбот. Нет его. В январе в морозы замерз. Вот за этим и пришел. Сказать. Меня пошлет к вам, а сам за домом дожидается...

— К клоуну, говоришь? А Любка его как, страшенькая такая?

— Эта? Эта живет. Да... а на слово-то он был того. Все вас клоуном называл. Такой вот был. Ну все, я пошел.

Так мы и расстались, клоун с разбойничком.

ФАМИЛИЯ

Слово за слово, и вот уже случайно заглянувшая по пути с курсов уборщиц от Биржи труда (— И такое бывает — удивился я. — И такие готовят уборщиц евростандарта, по всем правилам) добродушная полная женщина разговорилась. Оказалось, что попала она под сокращение на Кренгольме, а от Биржи пошла на курсы уборщиц. — Мне уже скоро сорок пять. На какие мне курсы ещё идти? Пошла на какие предложили. Заканчиваем уже. Обещают послать на практику в Таллин, в гостиницу «Олимпия».

— А вы не отказывайтесь. Вдруг понравится, и останетесь там работать. Гостиничный бизнес сейчас крепнет, это не транзит. Да и гостиница эта не плохая, бывал там, знакомые горничными работали...

— Так вы в талине жили? — интересуется женщина.

— Жил.

— И я в талине жила. В детстве. Знаете, как спускаться вниз с Вышгорода слева памятник стоит, женщина с кувшином?

— Знаю. Там за ней внизу теннисные корты были?

— Ну да... Так вот, раньше там дом стоял деревянный. Баронский ещё. Потом его снесли. А до этого мы в нём жили. Комнаты в нём огромные. Одна так вообще 30 метров. Коммунальный дом был. На несколько семей разделён... А потом мы в Ленинград переехали. Посёлок под Ленинградом есть, Вырица. Не знаете?

— Нет, не знаю.

— Курортный. Сосны. Как в Усть-Нарве... Жили все дружно. Дети по вечерам на общей улице. Там улица одна большая, а от неё дома в стороны. Дружно жили. Никто никого не обижал. Все работали. Это сейчас молодёжь каждая за своим забором. А заботы-то в два роста! Вообще-то мы, наша семья до войны в Питере жили. Вы Питер знаете? Станция такая есть, Елизаровская. Там у деда моего дом был свой. А вот война началась, и мы выехали в деревню. Но не отметились в ЖЭКе, ЖЭУ, как там они назывались? В жилконторе, в общем. Дом в войну разбомбили. А закон тогда какой был — если не отметились, что выехали, то считается, что семья погибла. Можно было бы конечно поискать документы и вернуть землю. Представляете? В Петербурге своя земля, дом!

— Представляю.

— Но конечно не до этого было. Да и воспитаны мы уже по-другому стали... А раньше мы были не из простых — бабушка была вологодской, дедушка — тульский. Взял семью в Тулу, где он работал инженером на одном из оружейных заводов. В перчатках белых ходил. За обедом дома прислуга обслуживала... В общем кого только у нас в родне нет. Говорят, что почти у всех русских в родне евреи и татары есть. А дед сказал — ни евреев, ни татар. Тётю его вот цыгане увезли с собой, поэтому часть из нас с карими глазами. А остальные — с зелёными. Так что мог быть дом в Питере. Но тогда родителям не до этого было, да и воспитаны, повторяю, мы уже по-другому стали...

— По-другому?

— Ну, как объяснить? Друг детства у меня был, Сашка Дубов, в будущем известный городской комсомольский функционер, а сейчас стал Александр Тамм — бизнесмен. Я бы ни за что свою фамилию вот так, из-за смены строя, не поменяла. Своей фамилией надо гордиться.

После разговора размышляю — что бы это значило — да и воспитаны мы по-другому стали? Если бы сказала Были, а то Стали. Получается, что Советская власть буржуев перевоспитала, а своих комсомольских функционеров в беспринципных буржуев превратила. Теперь что. Ждать нового реванша? А разве по другому нельзя? Ведь Новый Завет нам предложили, а мы две тысячи лет все от Ветхого мозга не прочистим. Всё в ВТО просимся. В ВТО не прошли, а кризис уже заработали.

НАДЫБАТЬ ШВЕДА

(Из цикла «Дачные истории»)

От разноголосицы пробудившихся птиц, от подкравшегося к даче рассвета мы проснулись очень рано и как-то растерянно лежали рядышком несколько минут, дожидаясь окончательного подъёма и пытаясь, сколько возможно, удержать уплывающий туман снов. Явь, приносимая постепенно обволоком утренней зари, будила обязанностями обыденности. Мы словно в очередной раз вновь рождались днём. День был нашей матерью. Однажды родившись встречать и провожать дни, с годами мы разучились кричать и сопротивляться.

— Почему ты хочешь уехать именно в Германию? — наконец спрашиваю я её, глядя за окно на цветущий куст шиповника. Она глядит в белый потолок, время от времени прикрывая глаза.

— Туда все сейчас едут. Полгорода подруг там... — через некоторое время произносит она. — Надо подниматься, скоро на работу.

— Но почему именно в Германию едут? — спрашиваю, натягивая брюки.

— Германия лучше...

— Но ведь туда уже столько немцев вернулось из России, Прибалтики, Казахстана... Им бы устроиться на работу... Иностранцы вот всякие-турки... И вы туда же... Чем лучше? — пью чай на залитой утренними лучами солнца веранде.

— Нет, не пойму. Почему не в Швецию, к примеру? Тоже богатая страна...

— В Швецию... В Швецию можно...Если в Германии ничего не выйдет. Что эта Швеция?

Шведа надыбать себе легко — это все знают. А вот немца! — из залитой солнцем веранды видно, как удаляется в сторону остановки она, слегка помахав мне рукой. Стройная, в облегающих голубых джинсах, коротенькой до пупа модной курточке, в раскосых солнечных очках. В комнате рядом не заправленная ещё постель. Может, тоже мотануть? Но я — мужик, кого мне-то надыбывать, шведку, немку? Я остаюсь.

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

— Во! А это что за памятник? Лев... Это кому? — восхищенно спрашивает меня мой гость из Таллина, футболист-любитель, и тут же припадает к своей видеокамере, чтобы запечатлеть мемориал.

— Шведский Лев, — поясняю я. — В честь победы шведов под Нарвой в 1700 году.

— Вроде его раньше в Нарве не было или я просто не помню?

— В советское время не было. Памятник соорудили в буржуазное время. А после войны тут, знаешь, одни развалины, говорят, были.

— Понятно...

— На этом самом месте, помню, летом загорали. Внизу у воды, на песке, народа много, а здесь поспокойнее, да и обзор, не говоря уж о том, что и самих, если в рост встать, тоже хорошо видно. А это женщинам и нужно. Нас ведь, пацанов, сюда мамки приводили. Нарва что за город-второе Иваново-город невест — одни ткачихи, а мужиков мало, особенно толковых. Вот женщины и старались выделиться, кто как сможет. Как раз на этом месте, помню, в основном и загорали одинокие женщины. Авось кто клюнет, познакомится. Теперь вот Лев здесь. Облагораживают...

— Ориентацию сменили, шведов вспомнили, корону. А как же НЕ-ЗА-ВИ-СИ-МОСТЬ?

— Что вспомнили — это не плохо. Плохо, что одно вспоминаем, а другое тут же забываем.

— ...Тут помню, а тут не помню... Но все равно. Красота. Крепости. Старина, — мой гость прячет камеру в сумку и утирает пот. Лето в этом году жаркое как никогда. — Исккупаться бы. А в речке что уже нельзя, граница?

— Граница.

— В этом лягушатнике, конечно, не будем, в Липовке вашей. Народа столько... Поедем на море? Покажешь, какое оно у вас тут? А потом и по пиву можно где-нибудь, а?

— Чего далеко ходить, — предлагаю я, выжимая в будке мокрые после купания плавки. — Сейчас переоденемся и вон туда, в кафе. Прямо на берегу. На терраске сядем и будем морем любоваться.

— Как скажешь. Веди. Но угощаю я.

Устроились. Искристое прохладное эстонское пиво. Ида-вирума-ское, местное. Через несколько минут принесут горячее.

— Обалдеть! — восхищается мой гость. Ну и денек, ну и вид! А цены. Бокал пива — одиннадцать крон! Не то, что в Таллине. Смотри, смотри какая женщина!

— Да не кричи ты так громко, неудобно, — прошу его я.

— У вас не занято? Можно к вам присесть? — улыбаясь, спрашивает нас по-русски интересная загорелая пожилая женщина.

— Присаживайтесь. Место свободно, — отвечаю я.

— Вообще-то здесь обычно народа почти нет. Но сегодня выходной, да и день такой замечательный, — женщина легко заводит разговор. — Я отдыхаю в здешнем санатории. Несколько лет не была, а теперь вот вновь вернулась, как раньше...

— А вы откуда? — спрашивает мой таллинский гость.

— Из Санкт-Петербурга. Преподаю в университете... А вы?

— А мы из Эстонии. Я из Таллина, а он, — указывает на меня мой гость. — Он теперь из Нарвы. Сюда решил перебраться.

— Ну, и как вам Нарва? — спрашивает моего гостя женщина из Петербурга. — Понравилась?

— Понравилась.

— В крепости были, да?

— Были.

— А в Петербурге давно бывали?

— Давненько, — вспоминаем мы. — Я в 94-ом, а ты?

— Вот тут у меня с собой петербургские открытки есть. Всегда с собой беру, когда куда-то еду отдыхать. Для презентов так сказать. Хочу вам подарить. Это вам, а это вам, — протягивает она нам по фотографии с видами Питера.

— Красивая скульптура, — рассматривает открытку мой гость. — Женщина на шкуре льва. Это что-то древнегреческое? В старину любили такими статуями парки украшать?

— Это... — наклоняется над открыткой женщина и достает очки из футляра. — Эта скульптура, насколько я знаю, символизирует победу Петра I над шведами. Женщина — это Россия. А поверженный лев, на которого она опирается — это Швеция.

— Интересно, — удивляемся мы. — И не догадаешься сразу, что не просто скульптура, а со смыслом...

— Конечно, со смыслом. Раньше бессмысленного не создавали, — улыбается женщина-преподаватель. — Кстати, знаменитый Самсон в Петродворце, фонта, помните?..

— Что льву пасть разезает?

— ...Да. Так это тоже символ победы Петра над Швецией, над Шведским Львом.

— Это над каким львом, не над тем, что мы сегодня видели? — обращается ко мне гость.

— Над тем, наверное, — отвечаю я.

— О каком льве вы говорите, молодые люди? — интересуется женщина.

— В Нарве памятник установили, вернее возродили. Шведскому Льву. В честь победы над Петром под Нарвой в 1700 году.

— И давно? Наверное, недавно. Разве он в крепости? Я там недавно была, но не видела.

— Нет, не в крепости. На открытом месте, над Липовой Ямкой.

— Нет, тогда я там не была. Красивый памятник?

— Красивый лев, — киваем мы головами. — Но, судя по этим открыткам, именно на него наступает ногой эта обнаженная женщина-Россия. Тем более, вы говорите, Самсон. Не завидная у этого льва доля оказалась в 1703 году...

ПРАЗДНИЧЕК

— С праздничком! — говорит нам незнакомый пожилой дядечка невысокого роста в старом еще советских времен мальчишеском пальто синего цвета и с коричневым воротником. Он повстречался нам на пути, когда мы с Раилем прогуливались в районе Кренгольма и любовались выпавшим ранним снегом.

— С каким праздничком? — недоуменно спросили мы.

— С выборами же, — ответил маленький дядечка и улыбнулся счастливо и умиротворенно. Он был под хмельком.

— Значит, из-за этого флаги. А я-то думал, — говорит, отходя от мужичка, Раиль. — По старинке живут. Как когда-то. Выборы — значит праздник. Лишь бы повод был.

Через полтора часа Раиль уехал в Таллин.

— До встречи, — попрощался он. — Завтра на работу в Сахалоо. Кому-то фундамент делать.

— А мне завтра на биржу отмечаться. Счастливого пути.

На следующий день, в понедельник, собираюсь на биржу. Только собаку выгуляю и пойду. Конец октября, а на улице уже плотный снег. Морозно. Собака что-то разнюхала под снегом рядом с соседским домом и начала раскапывать.

— Должно быть кости кто-то из окна выбросил, вот она и роет, — донеслось до меня из-за спины. Пожилой сухощавый мужчина не спеша прогуливался невдалеке. — Лишь бы кости не куриные были.

Он остановился.

— Помню работал в Ивангороде, так там одна собака куриной костью подавилась... А был еще случай...

Мужчина явно никуда не торопился. Оказалось, живет он неподалеку. По возрасту — лет пятьдесят. Стоит, смотрит как роется в снегу собака, и рассказывает, что в голову взбредет о собаках, о своем детстве, о работе. Я в пол-уха слушаю.

— А голосовать вы вчера ходили? — меняет тему он.

— Ходил, — вздохнул я.

— А я вот не пошел. Чего голосовать-то? И так все ясно. Бумажку эту, с уведомлением, порвал, как получил, и сижу себе дома, телевизор смотрю. В середине дня звонок в дверь. Открываю. На пороге трое.

— Вы голосовать пойдете?

— Нет, — отвечаю.

— Даем двадцать пять крон, проголосуете за нашего кандидата?

— Предлагают. Двадцать пять! Ну мы тут сразу все собрались: дочка, жена, я. Каждому по четвертному. Еще и на машине к пункту привезли.

— И что за кандидат? — спрашиваю из любопытства.

— Не знаю я. Да и не смотрел. Номер только заполнил и все. Мужик вроде какой-то... Так я себе сразу две бутылки самогонки взял и домой. А сегодня с утра на биржу уже сходил, отметилсЯ и еще одну взял. Вот она тут со мной, — он похлопал себя по карману куртки и умиленно улыбнулся. — Сейчас домой пойду, телевизор включу.

Тут и я вспомнил, что мне на биржу пора отмечаться. Да, недооценили мы вчера с Раилем выборы. Праздничек же это для нарвитян. Праздничек.

ПАРКУР

Разводом кого нынче удивишь? Никого. Коммунизм! Коммунизм! Нет его, а всё одно, как Клара Цеткин сказала, так оно и выходит. Это я о её «глотке воды», т.е. о любви и браке. Сжились в общем с разводами, с безотцовщиной. Но ведь сколь волка не корми, а природа, т.е. кровные связи своего требуют. В телепередачи «Жди меня» только и ищут: то отцов, то братьев и сестёр после разводов. Через годы ищут. Также и мой сын. Как подросток, как стал из-под маминой опеки на самостоятельную дорогу выбираться, так и объявился. А до этого — ни гу-гу — мамина цензура все контакты под контролем держала. Благо теперь интернет появился, общаться проще.

— Привет, папа! — пишет сын из курортного черноморского города. — Как ты там? Мы хорошо. Учусь в колледже. Увлекаюсь паркуром. Свой сайт имею в «городском портале».

— А что такое паркур? — спрашиваю.

— Ну, папа, это вид спорта такой, городской экстрим, прыжки... зайди на сайт, посмотри. В Европе очень популярен. Особенно во Франции.

— Да, помню — ваш город побратим французского Ангулема. Даже улица в городе такая есть, к морю ведёт...

Так и переписывались с сыном. Не часто, конечно, одно письмо в месяц-полтора. На всю зиму растянули. Про паркур вот чуть подробнее узнал. Модное слово. А сын не отстаёт: «А у вас, в Эстонии, паркур популярен? Можно было бы связи через интернет наладить? Узнай, папа?»

В общем каждому своё: мне радостно, что сын объявился, общаться начал, а ему паркур подавай. У них весна чуть ли не с января начинается, на юге, а у нас ещё холода зимние не прошли к началу апреля. Зато к середине апреля началось. Весна? Какая к чёрту весна! Паркур! Век не забуду того парнишку с телеэкранов, во время той Бронзовой ночи. Его хватают, бьют одновременно, матёрые мужики-полицейники, а он вновь вырывается и, скатываясь кубарем, бежит от них и так несколько раз. Тысячи людей, кто смотрел телеэкраны — видели. Потом я фильм приобрёл об этой Бронзовой ночи, документальный. И всё на паренька этого смотрю, как те люди из песни про мать, увидевшую в документальном кино своего погибшего сына: «И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит». Слёзы на глаза наворачиваются. Ведь ровесник моему сыну, а если б не развод — так жил бы тоже в Таллине. Возможно также вырывался бы из рук озверелых стражей порядка.

Что ответить сыну в далёкий черноморский город? Завернул диск с фильмом о Бронзовой ночи и отправил ему, чтобы он посмотрел на наш паркур.



Витаутас БРЯНЦЮС

/ Клайпеда /

Перевод с литовского
Владимира Алейникова

Витаутас Ионович Брянциус. Родился в 1945 году. Профессиональный моряк. Несколько десятилетий плывал по морям и океанам на различных судах. Окончил Литературный институт. Автор многих книг стихов и прозы. Портрет Брянциуса — работы Игоря Ворошилова.

ЗАЩИТНОЕ СЛОВО ВЕТРАМ

О мои молчаливые ветры —
вы, пассаты, бризы, муссоны,
и сирокко, и все другие, —
вы, рождённые в небывалых,
первозданных своих страданиях
иль тугим крылом буревестника,
или смерчем, сверлящим небо,
где из поднятого над миром
золотого венка бытия
осыпаются лепестками
световые годы-скитальцы, —
бесконечные отголоски
непостижной сознанью вечности,
что раскаялась так неожиданно — —
Пусть сгорают в ней без остатка
все моря изумрудно-жемчужные,
имена позабывшие наши,
но зато уж в который раз
целовавшие лица до боли;
о попутчики наши добрые,
о лазутчики чьи-то злые,
о разбойники страшные, — все,
по морям безудержно гнавшие
можжевельника запах смолистый,

отдалённый младенческий смех,
в исступленье защекотавшие
небольшой кораблик надежды,
петли страха с маху набросившие
на поникшую сразу же шею
задохнувшейся птицы моей,
трепетавшей недавно в полёте,
в грозной бездне мольбу о помощи
утопившие бессердечно, —
о, скажите мне, — будет ли вас
кто-нибудь, хоть один человек,
так любить, как люблю вас я,
днесь застывший на притягательном,
презираемом берегу,
где таится в свежих следах
плач седеющего ребёнка...

В ОКЕАНЕ, РЯДОМ С ВЕЧНОСТЬЮ

О, насколько же грустная
и глубокая старость
поднимается постепенно
с океанского тёмного дна,
незаметно обросшего всюду
и ракушками, и черепами,
и крестами трагедий,
которых давно уже в памяти нет,
неизменно бросая в озноб
оживлённые зеркальца зародившихся волн,
заставляя растерянно вздрогнуть
тело судна, ещё молодое,
и едва прикасаясь
к светлым лицам матросов.

О, как медленно время течёт,
словно тихий туман
сквозь неплотную щёлку сомкнувшихся век
небосвода и смутной воды,
оставляя едва различаемый след —
будто тянет звенящую цепь
из заветных имён,
полированную на любом
из земных континентов

и хранящую благословение множества рук,
убедить надеясь в последний раз,
что оно, и только оно, —
уходящее время —
ближе всех, если вдуматься, к вечности.

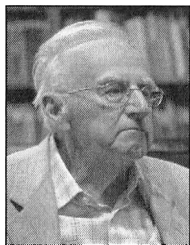
ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТАРЫЕ ПИСЬМА В СНЕГОПАД

Все сегодня ко мне собирайтесь —
все, кому пожимал я руки,
все, кого целовал в мечтах
или встарь от души любил,
по мостам пробежав иллюзорным,
опалённый сиянием северным —
из ревущего моря Баренцева
иль из дебрей тайги бескрайней,
сквозь простор енисейский сразу
ваши лица вдали разглядев;
все теперь приходите ко мне
в эту комнату — в эту обитель,
что давно холодна и пуста,
где, закутавшись в дым сигаретный,
я смотрю, как уже застилает зима
непроглядной, сплошной пеленою
ваши юные лица, отголоски речей
и красоты желаний благих;
приходите — увидите сами,
как вот это даримое щедро тепло
превратится в прекрасное что-то,
в то, что выразить словом так трудно,
в то, что схоже с сиянием лунным
на волшебном одном полотне —
откровенье Куинджи,
в то, к чему я, страшась,
что таким же стать не сумею,
не решаюсь рукой прикоснуться,
потому что оно оживёт...

КРЫМСКИЙ НОЯБРЬ

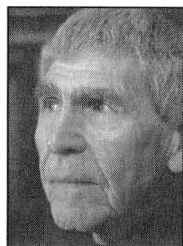
Я был ошеломлён виденьем светлым Крыма
и охмелел слегка, но всё же ощутило,
не от прибрежных скал, не от чинар дремотных,
не от ленивых пальм — недвижимых, беззаботных,

не от теней густых, упавших на аллеи,
где кипарисы врозь маячат, лиловея,
не от касанья губ иль парусов на шхунах,
совсем не от луны, мерцающей в лагунах,
подобно серебру заброшенной монеты
(чтоб возвратиться вновь — наивная примета!) —
я охмелел тогда от света ноября,
который принесла прозрачная заря, —
как буревестник, он был в подлинности всей
и смел и горделив средь невозвратных дней.
Ноябрь — мелодий гул, торжественные даты.
Вернуться в дом родной торопятся солдаты.
О расставанья час! Не Севастополь — сад,
где бескозырки вниз, как бабочки, летят
и падают, кружась по тёплым мостовым,
и руки второпях матросы тянут к ним,
обнимутся, вздохнут, задумчиво молчат...
А песни, как волна, туда уносят взгляд,
где зародится вдруг начало дружбы новой,
где новобранцев строй, где лист горит кленовый
алеющей звездой, где в воздухе дрожат
и отзвуки шагов, и музыки набат.
А утро ноября над кронами каштанов
напиток солнца пьёт, не веря мгле туманов, —
и льётся лёгкий хмель сквозь золотистый цвет,
и смерти в этот миг на свете вовсе нет.
Невесты, так милы в радушии старинном,
подобны кружевным пушинкам тополиным,
ноябрь наперебой на свадьбы приглашают,
за стол его ведут и щедро угощают.
Усталый стонет пирс. И кони водяные
на улицу, в толпу, проскачут, удалые,
и встанут на дыбы, и в пене захлебнутся —
и ринутся назад. И сейнеры вернутся —
в царапинах, рубцах, намного постарев,
но море победив и ветер одолев.
И время подошло — и штормы где-то рядом
с узорною листвою, с последним виноградом.



Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /



Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /

В СУМЕРКАХ БУДУЩЕГО

Старейшие писатели русского Зарубежья Борис Хазанов и Владимир Порудоминский (их имена хорошо известны читателям «Крещатика») отвечают на вопросы главного редактора журнала.

Борис Марковский

Кто Вы такой? Как и почему стали писателем?

Борис Хазанов

Я писатель, сочинитель. Другими словами — тот, кто провёл значительную часть своей жизни, согнувшись над листом бумаги с пером в руках, или постукивая клавишами пишущей машинки, или же, наконец, вперяясь в монитор компьютера. Древние говорили: *Fata volentem ducunt, nolentem trahunt*, судьбы ведут желающего и тащат не желающего. Думаю, что в выборе, сперва бессознательном, а затем сознательном, профессии или призвания сыграли роль наследственность и традиции культурного и национального круга, в котором я вырос и был воспитан. Мой отец происходил из уездного городка Новозыбков бывшей Брянской губернии, в черте еврейской оседлости, дед по отцу был ремесленником, знатоком Закона, потомком длинной череды согбенных книжников, бедствовал, рано умер и оставил без средств многодетную семью. От него я унаследовал, вместе с рыжей бородой, своё странное паспортное имя Героним (гибрид древнееврейского Грейнем и греческого Иероним) и любовь к Слову, тексту и письменности. Моя мать родилась в белорусском Гомеле, в еврейской, довольно состоятельной семье, что дало ей возможность окончить Петроградскую консерваторию, и в свою очередь передала мне по наследству близорукость и любовь к музыке. Я родился в русском языке и рано научился

читать и писать. Моя мама умерла молодой женщиной, меня воспитывали мой отец и наша домработница, русская крестьянка Анастасия Крылова, которая меня любила и которую я помню всю мою до неприличия долгую жизнь.

Меня потянуло сочинять, когда мне было 8 или 9 лет. Я писал что-то вроде рассказиков, основал киностудию «Самфильм» (фирменный знак — кремлёвская башня со звездой), придумывал и рисовал на рулонах бумаги приключенческий фильм «Загадочный портрет» и фильм «Верденская мельница» о Мировой (тогда ещё Первой) войне. Зрителями были папа и Настя. Потом началась новая, долгожданная война, которая вначале называлась Советско-германской; подростком в эвакуации на Каме в Татарской республике я писал, подражая классикам, стихи, прозу, пьесы, литературно-критические и учёные статьи, вообще был весьма плодовитым литератором, а также вёл дневник, переписывался с двоюродным дядей на литературные темы, редактировал самодельную газету, которой был единственным подписчиком, и т. п.

Владимир Порудоминский

Кто я такой?.. Вопрос очень непростой. Тем более в заголовке интервью названа моя фамилия, обозначена профессиональная принадлежность. Но почему-то этого мало.

Лев Толстой говорил: «Человек текуч». Человек меняется не только во времени, проживая жизнь («и много переменилось в жизни для меня, и сам, покорный общему закону, переменился я»), но и в каждый отдельный момент жизни под воздействием обстоятельств, внутренних и внешних. Человек различен в представлении о нем людей, его окружающих. Н.Н.Евреин в книге «Оригинал о портретистах», вглядываясь в свои портреты, исполненные разными художниками, рассказывал об особенностях личности каждого из авторов. Пушкин не жалел о потере записок Байрона: Байрон явил себя в своих стихах. Вересаев в трудах о Пушкине и Гоголе стремился доказать, что писатель существует «в двух планах» — творческом и житейском. Лотман писал о том, что писатель мифологизирует свою жизнь в творчестве. Но при всей этой «текучести» каждый человек есть не что иное как ОН. Или, может быть: в этой своей «текучести».

В Дневнике молодого Толстого находим отрывок, открывающийся вопросом — «Что я такое?». Отрывок — попытка понять себя, определить для себя же свое Я. Над этим вопросом Толстой не переставал биться всю жизнь — в художественных своих созданиях, публицистике, дневниках, письмах, сокровенных думах. За несколько дней до смерти, когда последняя болезнь принудила его прервать бегство из прошлой жизни на мало кому прежде ведомой станции Астапово, он, заполняя карточку железнодорожной амбулатории, на вопрос, кто он такой, ответил: «Пассажир поезда № 12»...

Как и почему я стал писателем?.. Наверно, я мог бы и не стать писателем. И это было бы для меня сегодняшнего самой тяжелой утратой моей жизни. В литературу я пришел, по принятым меркам, поздно: мне было уже слегка за тридцать. Своим началом я считаю книгу о дорогом мне человеке, писателе Всеволоде Гаршине, написанную для серии ЖЗЛ. Всё, что было написано до этого (юношеские стихи, какие-то пробы в прозе), ровным счетом ничего не стоило. Вообще-то писателем я хотел стать с детства, но шел к цели лениво, не направленнно; не шел даже, а дрейфовал. Внешние обстоятельства тоже не способствовали энергичному и целенаправленному движению. Некоторое время профессионально занимался журналистикой — дело интересное, но мне не по душе и не по натуре. Зато много поездил, повидал. Всё переменялось, перевернулось буквально в один день, когда моя не подкрепленная никакими усилиями, подступами, почти детская мечта написать книгу о Гаршине, по воле обстоятельств (по тогдашним временам — почти чудо), встретила с готовностью редакции ЖЗЛ такую книгу издать. В один поистине прекрасный день я сел за работу (писали мы тогда больше от руки) и вдруг с изумлением увидел, что у меня в первое же мгновение сам собой совершенно переменялся почерк.

В вопросе, мне заданном, я бы еще глагол перевел из совершенного вида в несовершенный: не «стал» писателем, а «становился». Со времени работы над первой книгой прошло шестьдесят лет, а я всё еще «становлюсь». Каждый новый замысел, каждая страница текста, над которой работаю, учит меня, открывает мне нечто новое.

Б. М.

Какова общественная необходимость литературы, если такая необходимость существует?

В. П.

Писатель — человек сам по себе и человек своего времени. Художественный текст неизбежно передает характер времени (это Лев Толстой говорил о задаче писателя передавать «характер времени»), отношение автора к миру вокруг и миру в себе. Не случайно образ, созданный литературой, становится типовым, знаковым определением этого отношения отдельного человека с самим собой и с миром (Гамлет и Дон-Кихот, «лишние люди», Вертер, Базаров и проч.). Литература оказывается для читателя важнейшим источником духовного и душевного опыта.

В России, где в силу исторических условий литература переняла, или почти переняла, задачу общественных наук, писатели ясно сознавали эту ее общественную необходимость.

Как только увидел свет роман «Бесы», Достоевский отправил экземпляр книги наследнику престола, будущему Александру Третьему: «Это почти исторический этюд, которым я желал объяснить

возможность в нашей стране и обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление». В предисловии к «Братьям Карамазовым» писатель предупреждает, что будет продолжение, второй, «главный» роман — «деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент». Даже Н.Н.Страхов, критик, полемически относившийся к школе, считавшей обязанностью художника «гоняться за современными явлениями», отмечал «великую нужность» угадывания «народившихся типов», выражения идей и смысла «движений нашей жизни».

Настороженное, а нередко и отрицательное отношение к понятию «общественная необходимость литературы» связано с тем, что на протяжении полутора веков требования «общественной необходимости» шумно подавляли у нас признание первоочередности творческого художественного начала. Вспомним прямолинейную разночинную и так называемую революционно-демократическую критику второй половины XIX-го столетия, в советские годы — догмы «социалистического реализма».

Б. Х.

Мы родились в эпоху величайшего умаления человека. Литература, для которой человек по-прежнему остаётся высшей ценностью, именно об этом и твердит. Наперекор всему она настаивает на том, что нет ничего важнее человеческой личности. Вот в чём я вижу, с вашего позволения, смысл работы писателя, резон литературы.

Б. М.

В чём оправдание литературы?

Б. Х.

Оправдание литературы содержится в ней самой, подобно самооправданию любви, филателии или страсти к путешествиям. Что касается общественной роли и значения литературы, то это — скорее тема для риторических упражнений, а по мне, дело тёмное и загадочное. На вопрос, для кого я пишу, ответил бы: для себя.

К сказанному как будто уже нечего прибавить.

Но — ещё два слова. Каждый, кто всерьёз занимается литературой, рано или поздно догадывается, что его суверенность — мнимая. На самом деле он находится в услужении. Не у государства, или общества, или у народа, — об этом и говорить сегодня как-то неловко. Литература предстаёт перед писателем как некая сущность или, если хотите, живое сверхсущество, наделённое вечной жизнью. Оно стоит над всеми современниками и соотечественниками. Все мы, великие и невеликие, знаменитые и неизвестные, пляшем под его дудку. Оно существовало до нас и переживёт нас всех. Мы умираем, сказал Блок, а искусство остаётся. Его конечные цели нам неизвестны.

В. П.

Я не думаю, что литература нуждается в оправдании. Творить — естественная, изначальная потребность человека. С первых своих шагов наши далекие предки знали эту потребность. Монументальное свидетельство этому — наскальные рисунки. Музыка и слово, несомненно, сопутствовали изобразительному искусству. Как только человек усвоил значение и возможности слова, он начал создавать мифы. В свое время я очень интересовался трудами ученых, представителей русской мифологической школы. Какие это увлекательные, увлеченные и, на мой взгляд, убедительные исследования!

Б. М.

Кто Ваши любимые, русские или иностранные, писатели (поэты)? Кого Вы охотнее или чаще перечитываете? За что Вы их любите, каковы Ваши литературные вкусы и предпочтения? Кто Вы в собственной Вашей работе: архаист или новатор (по терминологии Тынянова)?

В. П.

В 1891 году московский издатель М.М.Ледерле просил Л.Н.Толстого составить список книг, которые «от самых юных лет» произвели на него самое сильное впечатление. Откликаясь на просьбу, Толстой разделил свою жизнь на пять периодов. И правильно сделал. В разные периоды жизни — часто разные любимые. Были в моей жизни писатели, без которых я дня не мог прожить, но вот уже долгие годы редко о них вспоминаю. Из созданий одного писателя что-то остается с тобой как необходимое, другое уходит. Издавна люблю Тургенева и, если попадает в руки том его сочинений, как правило читаю охотно, радуясь встрече. Но за романами его (исключая «Дворянское гнездо») рука сама не тянется. А вот без «Записок охотника» долго существовать не могу. Несколько лет назад вдруг явилась неодолимая потребность перечитывать Бальзака — и не расставался с ним месяц или дольше. Диккенса перечитываю систематически. И т.д. Не буду составлять длинного списка: назову трех «самых главных», без которых — и это не преувеличение — не живу ни одного дня. Пушкин, Лев Толстой, Пастернак. С каждым из них у меня свои, нерасторжимые отношения, каждый по-своему создал меня, определил мою жизнь. Всегда рядом Лермонтов, Тютчев, Мандельштам. Бунин, Платонов. Из последних дорогих открытий — современный немецкий писатель В.Г.Зебальд (W.G.Seibold, 1944–2001). Лет пятнадцать назад впервые прочитал его книгу, и сразу стал он для меня неизменно интересным и необходимым.

Что касается терминологии Тынянова, то я архаист. Тынянов, впрочем, оговаривал относительную неточность, неполноту терминологии. Я бы лучше сказал о себе «классик», имея в виду ориентацию на традиции так называемой классической (прежде всего —

русской) литературы. Но определение это — «классик» — как правило употребляется теперь для обозначения места писателя в принятой таблице о рангах. Тут я не тяну.

Б. Х.

Перечисление имён, боюсь, уведёт меня далеко. Русские поэты — разумеется, Пушкин и Лермонтов. За ними вслед Некрасов, Тютчев, Фет, Блок, Мандельштам, Ахматова, Ходасевич.

Иноземцы — Гораций, Гёте, Гейне, Рембо, Бодлер.

Из прозаиков драгоценнейшие Лермонтов, Пушкин, Чехов. А также Флобер и Борхес. В литературе (говорю, прежде всего, о прозе) я ценю и выделяю безупречный слог, дисциплину, логику, сжатость, минимум выразительных средств, умение автора дистанцироваться от своих героев и то трудно формулируемое, но очевидное для квалифицированного читателя качество, которое называется музыкальностью.

По раскладу Юрия Тынянова числю себя в архаистах.

Б. М.

Как Вы смотрите на современную русскую литературу, какие имена хотели бы выделить? Сложилось ли у Вас представление о смене литературных поколений?

Б. Х.

Судить о нынешнем облике русской литературы мне трудно, так как я, к сожалению (что естественно в мои годы), плохо её знаю. Рискну лишь сознаться, что, по крайней мере, те её, подчас одарённые и многообещающие, представители, которые пользуются успехом, кажутся мне скучными, многословными, недостаточно культурными и провинциальными. Читая их, то и дело замечаешь, что я этот пирог уже ел.

Несчастье такой литературы — упадок и умирание критики.

О поколениях... Мне выпало быть очевидцем весьма сомнительного триумфа и постыднейшего финала советской русской литературы. Теперь её труп сменила словесность постсоветская. Но освободиться радикально от советского прошлого писателям нового поколения не удалось. Да и неясно, хотели ли они этого. Всё дело в том, что настоящего бескомпромиссного расчёта со страшным прошлым в стране так и не произошло. Сам я, однако, в собственной моей работе эксплуатирую ресурсы памяти, живу, можно сказать, в прошлом и уже по этой причине не могу стать благодарным читателем авторов, для которых мой товар — чуть ли не античная древность.

В. П.

В силу возраста, нынешних моих интересов и жизненных обстоятельств я не слежу за движением современной литературы,

многих имен не знаю, мало читаю периодику, критику. Ставлю это себе в вину, но утешаюсь надеждой, что, если появится произведение, без которого жить дальше будет уже невозможно, то мимо меня оно не пройдет. Из русских книг, прочитанных за последнее время, сильное впечатление всеми своими статьями произвела «Метель» Владимира Сорокина. В этой книге, на мой взгляд, как раз очень удачно соединяются традиция и новаторство. Соблазнившись «Метелью» взялся читать сборник рассказов Сорокина «Сахарный Кремль». Первый рассказ, давший название книге щемяще сильный, остальные — намного более слабые вариации на ту же тему.

Поколение сменилось, конечно; физически, во всяком случае. Большинство нынешних российских писателей родилось уже в пред- и послеперестроечные годы. Они живут в другой реальности и стараются в меру своих сил воспроизводить её. Когда я думаю о своей работе, я не могу не сознавать, что материал, с которым я работаю, для большинства сегодняшних читателей и, соответственно, писателей материал прошлого, можно сказать, исторический. Я рассказываю о своем времени, а темы и замыслы живут в литературе много дольше физических поколений, чем литература и держится. Если же говорить о смене поколений с точки зрения литературоведения, тут, мне кажется, хотя авторы подчас пробуют какие-то новые приемы, подлинной смены поколений не произошло.

Б. М.

Что Вы вкладываете в понятие родины?

В. П.

Я мог бы ответить, что родился и вырос в Москве, таким образом Москва — моя физическая и духовная родина. Добавлю (и это немаловажно!): у меня «московская походка». Еще добавлю (и это тоже немаловажно): я редкий москвич — от рождения и до эмиграции, шестьдесят шесть лет я прожил в той квартире, в той комнате, в которой родился.

Я думаю, надо говорить не о «понятии», а о «чувстве» родины. До войны официальной формулой родины была известная песня — «Широка страна моя родная...» и так далее: каждая строка — один из лозунгов, обозначенных в «сталинской конституции», которые нам предлагалось затвердить. Но во время войны, стало ясно, что такой официальной родины недостаточно. У Константина Симонова в пьесе «Русские люди», написанной в начале войны (эта пьеса как текст партийно-государственного значения была напечатана в газете «Правда»), появился образ «трех березок» в ка-

честве одного из важнейших символов родины. Солдат призывался воевать не только за «широку страну мою родную», но и за свои «три березки».

Мое чувство родины — это МОЯ Москва среди Москвы вообще, мои ежедневные маршруты, Историческая библиотека, посиделки в Музее Пушкина, залы Третьяковки, рукописный отдел Музея Толстого, скамья возле андреевского памятника Гоголю в тихом дворике на Суворовском бульваре, это дома моих друзей, в которых прожито вместе так много счастливых и трудных часов, это сами мои друзья, большинство которых уже ушло навсегда. Но это и МОЙ Петербург-Ленинград (одна квартира с окнами на место поединка Пушкина, в которой пришлось однажды целый месяц жить и работать, чего стоит!), и Святые Горы, куда я ездил почти ежегодно, и заснеженная Сибирь, где я отроком жил у бабушки (снег снится)... И т. д. Я не перечисляю: я пытаюсь наметить впечатления, из которых это чувство, это, если угодно, понятие складывается.

Точное определение, наверно, дать невозможно. Чувство родины иррационально.

В Литве я навестил однажды местечко Порудомины. Пробыл там, может быть, час, другой, не более. Фамилия у нас редкая, а отец мой родом из Литвы, из Вильны, два десятка километров от Порудомин. И хотя не только отец, но и мой дед в местечке этом не родился, нет сомнения, что именно оттуда, из этого местечка, мы, что называется «есть, пошли». В местечке ныне население в основном польское. Евреев после войны вовсе не осталось. Даже на кладбище нет больше еврейских могил. Попал я в Порудомины по случайности как раз в католический День поминовения усопших. Зашел в костел, интересно расписанный каким-то литовским Пиросмани. Там теснилось, наверно, всё население местечка. Свечи ярко и жарко горели. Я постоял немного в толпе молящихся. И навсегда уехал из Порудомин. И уже не в силах забыть их. Почему-то...

Б. Х.

Слово «родина» (да ещё с большой буквы) захватано до такой степени, что и пользоваться им стало как-то неловко. Да и было бы — в моём положении — чистейшей воды лицемерием называть родиной страну, которая наградила тебя пинком под зад, предварительно ограбив до нитки, зачеркнула все, что ты сделал, живя там, и лишила тебя твоего прошлого.

Patria, Heimatland... Я родился в Ленинграде, вырос в Москве. Для меня родина — это кусочек старой Москвы между Чистыми прудами и площадью Красных Ворот, Покровкой и Мясницкой, обломок той Москвы, которую помню до мельчайших подробно-

стей, о которой писал не раз и которая исчезла безвозвратно. Русский язык, русская гуманитарная культура и гуманистическая традиция — вот моё единственное отечество, и никто его у меня не отнимет.

Б. М.

Что побудило Вас эмигрировать из России?

Б. Х.

Сказано одним из величайших наших поэтов: «В Россию можно только верить». Кроме веры, ничего не осталось... сколько отчаяния в этих словах! Я был принужден оставить Советский Союз, так как больше в эту страну не верил. Бежал, уехал, потому что не мог жить и писать в этой стране. Я сделался там подпольным писателем, что неизбежно означало новые преследования, повторные обыски, конфискацию рукописей, слежку и так далее. Меня ожидал арест, инсценированный суд и второе заключение. Моего лагеря мне было достаточно. Жене моей дали понять, что нам надо убираться. Встала, со всей своей уродливой очевидностью, альтернатива: вон! — либо на Запад, либо на Восток. Наконец, и это главное, я не хотел, не мог допустить, чтобы мой сын повторил мою судьбу, я слишком хорошо понимал, что будущее для него в России ампутировано, и должен был избавить нашего сына от неизбежной нищеты и национальной дискриминации.

В. П.

Когда мы эмигрировали, наши дети уже несколько лет жили в Германии и не предполагали возвращаться. Я мог бы ограничиться таким ответом, но было еще нечто. Ко времени отъезда по причинам объективного и субъективного порядка у меня сложилось ясное, осознанное чувство, что жизнь, которой я так долго жил, изжита, и, несмотря на мой возраст, вдруг открывшиеся новые пути неодолимо манили меня.

Б. М.

Страдаете ли Вы от ностальгии? Считаете ли Вы, что эмиграция и жизнь за границей пошли Вам как литератору на пользу?

В. П.

Нет, не страдаю. Ни минуты не страдал. Если «ностальгия» понимается как, пусть необъяснимая, но никакими доводами не устранимая тоска. Вспоминаю, как я уже сказал, много и подробно. Того более: значительнейшую часть времени я живу в пространстве памяти, которое и дарит мне основной материал для работы. Поэтому ощущения отсутствия моего в прошлой моей жизни у меня нет.

Когда я уезжал из России, я, по неведению, не исключал, что моя профессиональная работа возможно завершена или почти завершена, и предполагал иные сценарии дальнейшей жизни. Но неожиданно для меня здесь, в Кёльне, в моем душевном состоянии произошли существенные перемены. Я почувствовал освобождение от многого, что годами, сознавал я это или нет, давило, связывало, ограничивало меня, определилась новая точка видения (помните, у Гоголя: могу писать о России только будучи в Риме?) — быстро вызрело новое, сильное побуждение к работе. Все эти годы я едва не всякий день подхожу «к верстаку», а тот день, когда мне это не удастся, ощущаю, как неполноценный день в моей жизни. Здесь я меньше занимаюсь биографическим жанром, историей культуры (в частности, из-за отсутствия нужных книг, архивов, общений), пишу больше рассказы, повествования, фрагменты воспоминаний, на которые в Москве часто не хватало времени и внутренней (да и внешней) свободы. Здесь я работаю много интереснее, чем прежде. И написал за годы эмиграции много больше. Как писателю эмиграция даровала мне только радость.

Б. Х.

Изгнание было счастливым завершением этой скучной истории. Германия дала нам возможность построить новую жизнь, позволила мне беспрепятственно заниматься делом моей жизни. Ностальгии я никогда не испытывал.

Б. М.

Каковы место и роль женщины в Вашем писательстве? Хотите ли Вы, умеете ли создавать женские образы в своей литературе? Занимают ли Вас как писателя старики, дети, подростки?

Б. Х.

Лев Толстой сказал: альков всегда будет темой литературы. Умение создать женский образ, по моему мнению, есть *experimentum crucis* (решающее испытание) для писателя. Женщина остаётся центральным персонажем словесности, спешу добавить — и для меня как сочинителя. Другой вопрос, сподобился ли я получить удовлетворительный балл на этом экзамене. Что же касается других действующих лиц, то меня всегда интересовали люди, которые в той или иной мере, по возрасту ли, по воле рока или высокого начальства, находятся вне общества. Те, кто ещё уцелел, на которых общество не наложило свою лапу, кто, по слову Державина, общей не ушёл судьбы: дети, подростки, школьники, студенты, зелёная молодёжь, диссиденты в широком смысле слова, заключённые тюрем и лагерей...

В. П.

Не совсем понял первую часть вопроса: речь о женских образах или о живой женщине, о любви как побуждении к творчеству?..

Умею ли я создавать женские образы в своих сочинениях, об этом судить не мне. Не создавать же их невозможно, поскольку в нашей жизни, о которой мы и пишем, женщина, хотя в чем-то и по-своему, неизменно и непременно обитает рядом с нами. Писать о женщинах, с этим их «по-своему», мне всегда интересно.

Отвечу так же, как на предыдущий вопрос: не могут не занимать, поскольку без них создание некой реальности, над чем и работает литератор, невозможно. У меня есть произведения, целиком посвященные старикам, детям. О стариках даже небольшой роман — «Короткая остановка на пути в Париж». О детях — повествование «Выбираясь из непостижимости». Название повествования, во многом автобиографического, явилось при обдумывании начатых, но оставленных, к сожалению, лишь начатыми, воспоминаний Л.Н.Толстого, где замечательно сказано: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость».

Б. М.

Поделитесь своими соображениями о русском языке, о языке и слоге прозы вообще.

В. П.

Русский язык — мой мир, моя жизнь, мое счастье. Чтение и изучение словарей — одно из любимейших занятий. Работа со словом — важнейшая часть моей писательской работы. Надеюсь, меня не причтут к националистом, если я повторю за Бродским, что «для духа, возможно, не существует лучшего пристанища», чем русский язык. Мне также дорога вера Бродского в главенствующую роль языка: не язык является инструментом поэта, а поэт — средством языка к продолжению своего существования (Нобелевская лекция).

Не могу не напомнить, что уже более полувека занимаюсь жизнью и творчеством Владимира Ивановича Даля, написал о нем несколько книг (в их числе первую полную его биографию, историю Толкового словаря), много статей.

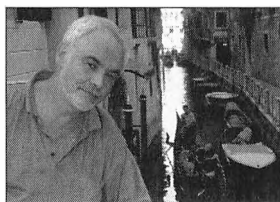
Что касается прозы, то тут лукавый Мольер всех нас порядком запутал. Проза — это то, что не стихи. И его Мещанин во дворянстве изрекает с горделивой радостью: «Значит, я говорю прозой». Похоже, точно так же полагают и иные (увы, немалочисленные) литераторы. Но проза — это не «не стихи», а нечто совсем иное...

Б. Х.

Современный русский язык переживает ломку. Крушение советской системы с её жёсткими идеологическими и языковыми табу, отмена цензуры, политические и социальные перемены и прежде всего появление на общественной авансцене так называемых новых русских — внезапно разбогатевших дельцов, рост организованной преступности и криминализация общества в целом — потрясли и изменили языковое сознание народа и интеллигенции. Нормы языкового поведения отменены. Происходит беспорядочное смешение различных слоёв языка. Жаргонная речь становится нормативной, непристойности — узаконенным элементом разговорного и даже письменного языка. Неизбежность постоянного обновления языка очевидна, но очевидна и опасность упадка языковой культуры и засилья варварства.

Нужно отдать себе отчёт в том, что надо называть слогом и стилем. Слог индивидуален. Стил — сверхиндивидуален. Стил предполагает умение продемонстрировать мудрость и красоту русского языка. Слово «красота» скомпрометировано. От него пахнет, как сказал бы незабвенный Гаев, пачулями, пахнет парикмахерской. И всё же эстетическое совершенство прозы (можно предложить другую дефиницию: музыкальность) остаётся незыблемым требованием, которое мы вправе предъявить писателю.

Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, краткостью, концентрацией. Не обольщаться иллюзией, будто в самой жизни можно отыскать некий порядок, но внести порядок в сумятицу жизни. Стил — это мораль художника; мы не имеем права писать плохо.



Михаил ГОФАЙЗЕН

/ Таллин /

Родился в Москве в середине 50-х, где и прожил первую часть своей жизни. Образование — ясли, детсад, школа, институт. Пытался образовывать других. Русская словесность и философия. По счастью для других — недолго. Волею судеб в 80-х оказался в Таллине, где и свил гнездо. В начале 90-х, не вставая с дивана, оказался в эмиграции. С ранних пор тцился рифмовать, но на вершинах Парнаса замечен не был. Старался изобрести паровоз — в области философии, порох — в области философии медицины, открыть Америку — в истории литературы и т.п., чем ни любви, ни благодарности современников не снискал. Стихи публиковались в сборниках и альманахах, в интернете и интернет-журналах, в журналах «Радуга», «Поэзия», «Таллинн», «Русское эхо в Израиле», «Северная Аврора», в «Литературной газете» и других коллективных захоронениях. Автор книг «День Восьмой» (2000), «Эмигранты из Эдема» (в книге «Другие Возможности» 2004), «Последняя метафизика» и «Новое тысячелетие» (2004–2012 в интернете). Автор статей в некоторых научных и популярных изданиях.

РОДОМ ИЗ ПРОШЛОГО

От н́оски все носки становятся узки —
вот и душе уже не по размеру тело.
Гоняет мелюзга, горланя, взапуски,
и ей пока ещё до этого нет дела.

В часах песочный бог притормозил песок,
чтоб память невпопад листала обретенья.
Сосед, садист(!), стучит — убил бы, если б мог,
но жизнь нельзя отнять. Пусть даже во спасенье.

В низине — долгострой, угрюмый как скелет.
Болотце было там. Три ивы да крапива.

А дальше пустота, в которой смысла нет,
где чудятся зрачки — две чёрные оливы.

Мой двор и детвора. Здесь креп мой дух в борьбе.
Какой там к бесу миг — остановись, столетье!
Мой дом... моя судьба... Природа лжёт себе,
поскольку мнится ей, что вот оно — бессмертье.

К ВОПРОСУ О МИРОЗДАНИИ

господи какое счастье дождик за окном с нашёптываньем штор
звуки долгожданных босоножек лунный свет в чернильницах озёр
поболеть чтоб хлопотала мама но не сильно так себе на треть
господи какое счастье ванна полежать послушать посмотреть
по́ сердцу черничка со сметаной бор осенний с горечью груздей
утренние брызги из-под крана смех детей и хохоток друзей
коньяка глотнуть и что есть силы покормить стареющую плоть
находить педантов и зоилов чтобы чушь им всякую пороть
гладить пса и вглядываться в море слушать книги время и бамбук
не копаться в чувствах и на горе всем буржуям закурить чубук
а ещё сосулькой гладить губы и когда полоть не нужно snyть...

Господи, скажи, ну, почему бы это всё не взять и не продлить?!

В ОЖИДАНИИ ГРАЧЕЙ

Снова слякоть. И маетный пух,
чуть достигнув земли, исчезает.
И пронзительный ветер-пастух
кошаков загоняет в сараи.
И сочится в сосульках печаль
по несбыточным льдам да кочевьям.
И дымится над домом спираль
в безвоздушном пространстве вечером.

С этим миром дружи — не дружи,
он по-своему делит недели
на кусты, где зимуют ежи,
и кусты, где грачи прилетели.
Пережить, переждать это всё —
не такое уж сложное дело,
если только осталось жильё,
и душа не забыла о теле.

Первогодкам пичуг, что на юг
не меняли своих параллелей,
дай, мой Боже, дожить до разлук
и в смертельных не сгинуть метелях.
Пусть достанет им в мире тепла
с незабудками в поле, полынью...
ибо нет абсолютного зла
там, где жизнь не иссякла поныне.

ДОМАШНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Пора-не пора, да на всех подвалила парах
какая-то хмарь на правах приживалки. И страх —
мол, больше она не уйдёт — испоганил мне ночь,
но биться с тем было, что скуку в кастрюле толочь.

Висел дирижабль, по пояс застряв в проводах.
Огонь парковался в подъездах его, как удав.
Глотал заходивших и где-то с минуту урчал.
Потом разгорался, чтоб строить сквозь линзы портал
меж мной в глубине дирижабля и той немотой,
что вскоре затопит сознание египетской тьмой.

А голос всё глуше, и всё неподатливей стих.
Стих чайник, что ставил я в мыслях всегда на двоих.
Поем напоследок. Прощусь с героиней поэм.
Исчезну из писем, счетов, поисковых систем.
Вот только понять бы, чем дорог (так дорог!) мой дом?
Сосед-параноик, война квартирантов, содом...
Какое мне дело, что станет потом не со мной,
а с этой матрёшкой, покрытой земною корой?

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ

От голода городом снег уходил.
Питался он холодом. Спал у могил,
где смёрзлись бессмертник в сугробе с плитой,
боярышник цепкий с оградой витой.
Там кошка в сторожке впадает в окот,
там гробокопатель фунфырик сосёт.

Он надпись любую прочтёт (полиглот!):
кто жил, и почил, и куда попадёт,

когда потускнеют совсем фонари,
и фурии ночи избегнут зари,
и явится нечисть за мной да тобой,
мой ангел любимый, мой ангел земной.

Ты спишь, улыбаясь, не ведая зла.
Смотрю я во двор, где метель отмела
последние песни свои. А тепло
в наш дом надышалось уже сквозь стекло.
Не верится мне (хотя тексты твердят...),
что нам за любовь причитается ад.

МОЕЙ ПЕНЕЛОПЕ

Циклоп и циклон помешали,
моя дорогая!
Дорога моя (вдоль портовых подворий да пёсего лая),
по-прежнему, ставит сюрпризы в своей путевой антрепризе,
но я доберусь, невзирая на лица... на визы.
Мне местный визирь, он у них отвечает за транспорт,
за малую мзду дал согласие выправить паспорт.
Осталось команду набрать да спроворить в заливе триеру.
Я верю в тебя, и другой мне не хочется веры.

Так много воды утекло с нашумевших троянских событий...
В Египте искал я наш дом, в Иудее, на Крите.
Вот странное дело,
где был он — не знаю,
но, где бы он ни был,
к нему одному облака устремлялись, и мысли, и рыбы.
Увядший вандал, повидавший развалины Рима,
девица, воровка из гетто, с глазами налима —
моложе меня на столетья, однако давно опочили,
а мне всё до дома никак не дойти — будто гири на киле.

Я скоро.

Клянусь!

Потерпи — подлатать нужно днище...

Ты ждёшь, значит, я всё ещё не бессмыслен. И чище,
светлее мой день, моё море, мой гром, моё небо, мой ветер.
Наш дом — это ты, и покуда ты ждёшь, я бессмертен.



Юрий СТРОГАНОВ

/ Вильнюс /

Гражданин России с постоянным видом на жительство в Литве... Журналист. В 2008-м выпустил повесть «Зеленый грипп, или Ощущение перезагрузки», в 2009-м — роман «Стела». В 2009-м награжден российской медалью Пушкина. Женат. Двое детей.

ПРО ДИНОЗАВРОВ

Пролог

Мой слух таинственно нежнеет,
когда в тумане бормотаний,
в невидимой оранжерее
слепцом встревоженным витаю.

И то ли нежный лист задену,
а может ус жука членистый?
В плену причудливых растений
плыву невольным колонистом.

Язык касаний заковырист.
Созвучий звон в туземном тоне.
Зачем мой сад во мне же вырос?
О чем туман тревожно стонет?

В палеонтологическом музее

Ящер когтистый,
чудо скелетное,
помнишь, неистовый,
марево летнее,

баню кровавую —
был там грозою,
помнишь ли пиршество, крик
мезозоя?

Время уныний
не для скелета.
Вижу: и ныне
глазницы свирепы.
Даже пустые
смерть источают.
Череп пустыни,
о чем он мечтает?

В страшной осанке
убийства энергия.
Что за останки,
рвущие нервы?
Жуткие чресла
ребрами стали.
Стаи исчезли.
Нравы остались.

Взгляд ящера

Осколок сердца ледянящий
таится тает на курке.
Надбровных дуг щерится ящер,
припав к безжалостной руке.
Конвульсий первобытной рвоты
бесстрастно ждет недвижный взор.
Стальным когтем рванет ворота,
где рвы, вороны и разор.

Пластмассовые лица

Пластмассовые лица,
пугающая аура,
прищурилась столица
глазами динозавров.

Под лоском от Армани
неласковые залы
в продуманном обмане
страну облобызали.

Конвейер технологий
политпиаргипноза
рождает злого бога
политпиарпрогноза.

Мечтай найти получше,
желай от них отбиться,
но все равно получишь
пластмассовые лица.

Желание самообмана

Кровью сладкой захлебнулся.
Думал, сахарной водой —
в лещ-притору окунулся.
Пахла ложью и бедой.
Но поверить так хотелось.
Острый нож — самообман —
мне вонзили словом в тело.
Кровь пошла душой и горлом.
Здесь беда такая — норма.
Виноват я в этом сам.

Рудимент перепонок

Растопырю ладонь.
Рудимент перепонок
мою пресной водой,
раня память дракона.
Силы хищной полны
лапы снулого ящера.
В атавизме волны
спят хрипящие пращуры.
Не в струе из-под крана
встрепенутся хребтами.
Горечь праокеана
ловят мертвыми ртами.
Кривь слепого оскала,
смертных линий обводы
ждут соленые валы,
жгут тяжелые воды.
Хрустный грохот брони.
Небо в красных нарывах.
Оживают они
в громе ядерных взрывов.

Эпилог

Устал метаться на постылых перекрестках.
Уста потрескались, целуя теплый крест.
Пустые станции, слепых перронов простынь.
Густые страхи, словно умер, но воскрес.

Тоской иссушенные записи листаю.
Простой ответ моим открытием не стал.
Тростинкой тонкою надежда прорастает.
Растает страх, как ледяной кристалл.

Путеводитель — странные страницы.
Пытаюсь строки опыта понять.
Запретных символов стараюсь сторониться.
От прежних снов себя оборонять.

ТАНЦОВЩИЦА БЕЗ НОГ

Танцовщица летела чудесною птицей.
Цепенеющий зритель не мог
отвернуться. В гипнозе сверкающих спиц
созерцал танцовщицу без ног.

Словно крыльями взмах. Лебединые руки
полетели в изысканном па,
прикасаясь к коляске, рисующей хрупкий
невозможный узор Петипа.

Танцовщица без ног,
танцовщица без ног.
Откровений изящных
щемящий озноб.

Танцовщица летела
как вещая птица.
Танцовщице хотелось
с бедою проститься.
Не пустить бы ее на порог!
Отпускай же, телесный порок!

Танцовщица хотела
исполнить, что снится.
Превращение тела
в мечту-колесницу

на глазах изумленно
застывшего зала
волшебством приземленным
под сердце вонзалось.

В инвалидной коляске
вращалось-летело,
будто в солнечной пляске,
воздушное тело.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФИЛЬМЫ

Невозможно смотреть черно-белые фильмы.
Покрываются нервы предутренним инеем.
Вспоминаешь не роли.
Вчерашние дни
оживляют герои
с чертами родни.

Ожидания прошлого мир бесполезный,
рецидивы мучительно-милрой болезни.
Отзвук сладко-постылый
курантов стальных
словно стоны настырно
звонящей струны.

Леденеют фигуры. Приятно и муторно.
Просыпаюсь с надеждой на мудрое утро.
Но в цветистом рассвете,
недаром не молод я,
не выходит согреться,
по-прежнему холодно.



Ольга МАЙЕР

/ Таллин /

**Владимир
ИЛЛЯШЕВИЧ**

/ Таллин /



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭСТОНИИ СЕГОДНЯ

Двадцать лет назад, с распадом Советского Союза, подавляющее большинство профессиональных литераторов, писавших на русском языке, было тихо изгнано из Союза писателей Эстонии (бывшей Эстонской ССР). За редким исключением некоторых русскоязычных переводчиков эстонской литературы и тех, кто сумел убедить эстонских коллег в своей «нерусскости». Русские же писатели очутились на распутье. Да кому нужна сейчас литература вообще, говорили некоторые из них. Литературный процесс оказался нарушен. Предстояло его воссоздать, невзирая на трудности и лишения. Отношение официальной Эстонии к России, к русской части народа Эстонии назвать дружелюбным трудно. До сих пор в политической верхушке и в определённых кругах республики процветает открытая русофобия. Тем не менее, русский литературный процесс в Эстонии и в Прибалтике в целом был всё-таки восстановлен и продолжает развиваться. Об этом беседуют руководитель Русской писательской организации Эстонии Владимир Илляшевич и литературный редактор международного литературного журнала «Балтика» Ольга Майер (Таллин).

Ольга Майер: Благодаря усилиям тех, кому не безразлична судьба русской литературы в Прибалтике, за прошедшие семнадцать лет вышло более 150 книг, что стало главным итогом деятельности Русской писательской организации в Эстонии. В 1995 году ты предложил Русской фракции Государственного собрания Эстонской Республики (парламент; эст. — Рийгикогу) учредить ежегодную Республиканскую общественную премию по культуре имени Игоря Северянина, которой вот уже 16 лет награждаются деятели, внесшие заметный вклад в развитие русской культуры Эстонии и в развитие связей между русской и эстонской культурами...

Владимир Илляшевич: ...Затем, в 1998 году, было создано Объединение русских литераторов Эстонии (ОРЛЭ), в который, для поддержки этого самостоятельного литературного объединения, вошли также несколько членов Союза писателей России. В начале 1999 года мы при поддержке СП России создали Международную литературную премию имени Ф.М.Достоевского, жизнь и раннее творчество которого были тесно связаны с Ревелем. К юбилейной дате — 180-летия со дня рождения великого писателя, 30 октября 2001 года — первыми лауреатами этой премии стали Валентин Распутин и известный норвежский русист, который перевёл более 60 книг русской классики на норвежский язык, профессор университета Осло Гейр Хьетсо, а дипломантами — писатели из Эстонии Уно Лахт и Иван Иванов. Впоследствии лауреатами избирались также российские писатели Борис Тарасов, нынешний ректор Литературного института им. Горького в Москве, автор романов из отечественной истории Валерий Ганичев, а 31 октября 2011 года в Таллине лауреатская награда была вручена писателю Альберту Лиханову, президенту Международной ассоциации Детских фондов. В числе обладателей дипломов премии — автор первого перевода на эстонский язык воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской (Сниткиной), Марет Кайк, председатель Ассоциации русских писателей Латвии Анатолий Буйлов, Ростислав Титов и Василий Сазонов (оба из Таллина).

В 2001 году была юридически зарегистрирована Русская писательская организация Эстонии под названием «Эстонское отделение Союза писателей России». Будучи инициатором её создания я пригласил Ростислава Титова (член СП СССР и Эстонии с 1965 года) и жившего в городе Пярну Ивана Гавриловича Иванова (член СПР; 1929–2009), природный прозаический талант которого так очевидно признавал в своё время Давид Самойлов. Немного позднее к ним присоединились известные эстонские писатели Уно Лахт (1924–2008), Велло Латтик (1935–2007) и Юри Пярни (1939–2009). Эти деятели эстонской литературы, люди очень совестливые, продолжали интересоваться русским литературным наследием и сегодняшним днём литературной жизни, как в России, так и в Прибалтике. Так было положено начало писательскому сообществу, члены которого ныне шефствуют над большинством действующих в настоящее время русских литературных объединений, клубов и кружков по всей республике.

О.М.: Примерно 100 литераторов, самых разных жанров и уровней мастерства, составляет Русское литературное сообщество Эстонии. В Эстонском отделении Союза писателей России — 12 человек, постоянно проживающих в Эстонии. Сложилось так, что это количество не меняется....

В.И.: Количество не меняется, но происходит процесс постоянного обновления.

Увы, человеческий век короток... Да и писательская организация никак не может быть массовой. Надо сказать, что, в отличие от поэта, прозаик, при всех литературных талантах и способностях, рождается всё же самой прожитой жизнью, опытом её. Поэзия — мистическое предвосхищение, проза — переживания и познание жизни. В отличие от всех других видов культурной деятельности человека, литература является системной, культуuroобразующей. Что скажет артист со сцены или с экрана, если писатель не напишет. Или что станцуют в балете, если нет либретто. Кто скажет «неудобную» правду правителю? При этом, именно в литературе, в диалоге писателя и читателя сохраняется духовная интимность общения, общих переживаний и, так сказать, «равенство, равноправие сторон». Читатель внутренне «беседует» с писателем, соглашается и спорит, а не просто созерцает и сопереживает.

Писатели — сложная публика, каждый из них, как говорится, «штучный». Отраднo, что у нас собираются люди искренне любящие русскую литературу и умеющие писать, им есть, что сказать.

В составе СП Эстонии, кстати, три сотни членов. Говоря об эстонском литературном наследии хочу отметить, что лично мне близко творчество Эдуарда Вильде, Лидии Койдулы, Оскара Лутса, Юхана Вийдинга, Арви Сийга, Раймонда Каугвера, Уно Лахта, Рудольфа Риммеля... Читаю, конечно, в оригинале, т.к. владею эстонским языком на уровне родного. Все они были предельно честны, по крайней мере, перед самими собой. Говоря о маститых современных эстонских писателях, следует отметить, что они, как говорится, ныне тоже не на слуху, хотя и сохранили свой прежний авторитет в народе и вклад их в сокровищницу национальной культуры не малый. Можно назвать, к примеру, имена Матса Траата, Яана Каплинского, Рейна Вейдеманна, Юло Туулика или Реэт Куду... На Реэт, между прочим, недавно обрушилась эстонская пресса за её честные и нелицеприятные для русофобствующей политической верхушки страны высказывания в защиту прав русского населения Эстонии, большинство из которого двадцать лет назад в одночасье превратили в «окупантов», в т.н. «неграждан» или, как у нас говорят «негров». ...Из эстонских поэтов более молодого поколения назвал бы Карла-Мартина Синиярва. Кстати, ныне он является председателем Союза писателей Эстонии, но о нём говорю вовсе не по поводу высокого литературного чина. Просто, как говорится, лично им всем, есть дело до человеческих душ, а это многого стоит...

О.М.: В 2004 году в Таллине появился на свет международный литературный журнал «Балтика». В Эстонии этот журнал сразу же нашёл своих почитателей. Люди постарше помнят, как «Балтика»

возмещала отсутствующую в стране русскую «некоммерческую» литературу, рассматривая произведения «не раскрученных» критикой писателей только с точки зрения эстетической и интеллектуальной ценности. Редакция «Балтики» выносила на журнальные страницы самую острую публицистику, давая возможность авторам сказать ту «горькую» правду, опубликовать которую решится не каждый журнал. «Балтика» — это и духовное наследие, накопленное в православной ипостаси прибалтийского бытия, начиная с X–XI веков, и диалоговая площадка между российской «материковой» и прибалтийской литературами.

Калининград, Псков, Москва, Петербург... и не перечислить сейчас всех регионов России, писатели которых публиковались в нашем журнале. Не могу не вспомнить далёкий Екатеринбург, где живёт наш друг, успешно работающий как в жанре поэзии, так и прозы, председатель Ассоциации писателей Сибири и Урала Александр Кердан. Публиковались в «Балтике» Валентин Распутин и Борис Тарасов, посетившие республику по приглашению писательской организации. За десять лет у нас в гостях побывало не менее пяти десятков очень авторитетных российских писателей. Сравнительно недавно с успехом выступил перед читательской аудиторией Эстонии Юрий Поляков, главный редактор «ЛГ»...

В.И.: По поводу «горькой правды» и власти: в конце 1980-х годов эстонский интеллектуал и настоящий учёный, академик АН СССР Густав Наан в одной нашей беседе выразился в том смысле, что в извечном и диалектическом противостоянии власти и духа, в конечном итоге, всё равно победит дух. «Все помнят Сократа, но кто помнит о тех, кто властвовал во времена Сократа?» — иронично добавлял он, когда критиковал не в меру расхоронившихся в национальном ажиотаже и в русофобии представителей власти. Эстонская литература выросла из русской. Вряд ли кто-нибудь из эстонских писателей и литературоведов осмелится оспаривать этот довод. Необходим диалог с эстонской национальной творческой элитой. Сейчас вся проблема упирается в один вопрос — готова ли она, со своей стороны, к такому диалогу? Вопрос, к сожалению, пока остаётся риторическим.

О.М.: В 2005 году в России, под эгидой Российской Академии Наук (РАН) и Правительства Москвы, вышел 1-й том семитомной Антологии «Современное русское зарубежье» (Проза и поэзия). В нём достойно были представлены образцы современного литературного творчества из Эстонии — рассказы и новеллы Владимира Илляшевича и Александра Уриса, повесть Юрия Васильевича Фролова (1930–2009), эмоционально яркая и «жёсткая» в правде поэзия Геннадия Верещагина (Пярну), наполненные жизненной мудрости стихи Вла-

димира Александровича Жилкина (1937–2009) из Кохтла-Ярве и тонкие лиричные и ироничные поэтические произведения Геннадия Кузнецова. В 4-м томе Антологии (Публицистика) в 2008 году — одна из публицистических работ В.Илляшевича. Очень удачны, судя по интересу со стороны читателей, историко-биографические книги Геннадия Кузнецова и Марата Гайнуллина, лауреата Северянинской премии за книгу (в соавторстве с Валерией Бобылёвой) «Эстонская Пушкиниана».

О публицистическом жанре историко-биографической прозы, содержащем достаточно фундаментальные выводы и наблюдения историософского уровня, следует сказать особо. Именно эти книги в наибольшей степени востребованы сейчас активной частью русского сообщества, читательской аудиторией, так как они содержат очень много информации и осмысливают понятие «Русской Прибалтики». По-моему, популяризации этого жанра в Прибалтике постсоветского периода положили начало Ваши работы, начиная с 1994 года, когда ты начал в местной периодике серию публикаций материалов на эту тему под рубрикой «Эстляндские были». Сегодня востребованность такой литературы очевидна, и многие авторы начали писать на тему истории культуры. Людям необходимо чувствовать себя не «чужаками», а укоренёнными, и через такое ощущение принять прибалтийскую землю, как родную — переплестись корнями. Личность человека начинается с самоопределения в плане культурно-исторической принадлежности.

В.И.: Десять веков назад, с началом христианизации большей части нынешней Прибалтики силами православной Церкви и её миссионеров, началась и христианская, а значит, собственно, и европейская часть истории прибалтийских народов и живших здесь предков русских, которые отнюдь не являются «пришлыми», а вполне коренным населением или, как принято говорить в научной среде, автохтонным. Формальной точкой отсчёта христианства в Эстонии и Латвии (Ливонии) принято считать установленный факт: строительство в 1030 году киевским князем Ярославом Мудрым (в крещении — Георгием, Юрием) двух храмов — во имя Св. Георгия Победоносца и Св. Николая в местечке Тарбату, на месте нынешнего Тарту, а также основание этого города под названием «Юрьев». Церковь была тогда единой, и собственно католицизма ещё не существовало. Не случайно в эстонском языке есть слова, несущие цивилизационные смыслы, и пришли они именно из русского языка: «рист» — от «крест», «раамат» (книга!) — от «грамота»... На латышском языке тоже есть такие слова — от русского «свеча», например. На финском языке — «рааматту» — «книга книг», Библия, ведь юго-восточные земли нынешней Финляндии были под влиянием Новгородского княжества.

СOLIDНАЯ историко-биографическая публицистика и исследования помогают самоопределиться русскому прибалтийскому сообществу, а также помогают эстонцам и интересующимся россиянам понимать, что Прибалтика не была и не будет «отрезанным ломтем» или явлением «чужеродным» в русском этнокультурном и духовном ареале.

О.М.: Русские писатели Эстонии, привыкли выживать сами. Ни какой серьёзной материальной поддержки ни от России, ни тем более от Эстонии, они не получают. Тем не менее, литература живёт. Выразительны стихи Василия Сазонова, поэта точного в метафорах, строгого к пустословию. Обращение к чудесному образному языку русской былины, к нормам русской оды и знание исторического материала свойственны творчеству поэта-песенника Георгия Георгиевского (Кохтла-Ярве), «цветаевский» акварельный колорит присущ поэзии Авроры Невмержицкой, а тихая пронзительность — творчеству Людмилы Семёновой. «Срезы реальной жизни» в прозе Ростислава Титова, три автобиографические книги о жизни моряков Эстонии во второй половине 20-го века Льва Веселова и «картинки из современной жизни» Александра Уриса увлекают нас неброской романтической героев, не утеравших вкуса к жизни, несмотря на все пережитые невзгоды, лишения и испытания.

В.И.: Если не считать весьма и весьма эпизодического участия в реализации некоторых разовых проектов со стороны фонда «Русский Мир» и Московского Дома соотечественника, то выживаем все эти годы, конечно, сами. Не без поддержки нынешнего российского посла Ю.Н.Мерзлякова и российских коллег, которые тоже не богаты и поэтому их поддержка, пусть лишь моральная, очень важна. Что же касается в целом каких-то материальных средств для поддержки русского языка и литературы зарубежья, то иной раз мне представляется каким-то театром абсурда, когда всё время слышишь из уст высоких российских начальников о необходимости такой поддержки и при этом неизменно приводятся ссылки на великих русских писателей, а средства часто выделяются не на содействие реальным проектам русского зарубежья, таким как международный литературный журнал «Балтика» и другие издания, а на какую-нибудь формальную конференцию или «учебный процесс» типа «русский язык как иностранный для глухонемых иностранцев». Вместо того, чтобы доводить до учительства, до молодёжи, интеллигенции и вообще читателей Эстонии, Прибалтики образцы добротной литературы и честной публицистики, включая российских авторов, как говорится, без купюр и цензуры, или исследования о плодотворной совместной русско-прибалтийской истории, в том числе новейшей, то и дело сталкиваешься с совсем иным, например, с показушными мероприя-

тиями наподобие «пушкины всей Земли — объединяйтесь!». Шоу, да и только. Кому это надо? Самим организаторам? Для чего — догадайтесь сами... А ведь средства Россия выделяет просто громадные, да только мы их, в сущности, не видим, в том числе по проектам, совместным с российскими коллегами-писателями.

Здесь особое значение имеет также работа по переводу на прибалтийские и другие языки качественной русской литературы. Таковая сейчас, можно сказать, напрочь отсутствует. Тем временем у нас есть примеры несомненных удач — перевод на эстонский язык Юри Пярни «Огненного ангела» Валерия Брюсова и сборника рассказов и повестей Валентина Распутина, составленная автором и изданная специально для эстонского читателя (кстати, мы профинансировали издание за свой счёт!). Юри Августович, до своей кончины, успел почти завершить работу над первым переводом на эстонский язык «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя в год празднования 200-летия с рождения писателя (2009), но интерес с российской стороны, в первую очередь, посольства, как-то вдруг пропал.

Очевидно, что минимальное воспроизводство русской интеллектуальной элиты возможно лишь при поддержке реальных процессов, в первую очередь русского литературного процесса. Ведь посредством русской литературы прививаются определённые ценности всей интеллигенции, включая научную, художественную и театральную. А как влиять, в конструктивном плане, на эстонскую общественность, если не посредством переводов на эстонский язык лучших образцов современной русской прозы, поэзии и ныне очень востребованной историко-биографической публицистики?...

О.М.: Нет-нет да приходит в голову любопытное сопоставление: ты — писатель эстонско-украинско-польского происхождения, посвятил себя русской литературе, называешь себя русским писателем...

В.И.: ... Ты тоже, совершенно русский человек немецко-руско-турецкого замеса, в недалёком прошлом была лауреатом международного Пушкинского конкурса среди представителей именно русской словесности. Национальность не является абсолютным критерием принадлежности к определённой культуре. Здесь имеет значение уникальный критерий, сформулированный потомком петровского «эффиопа» Абрама Ганнибала и эстляндки Христины фон Шёберг — Пушкиным: «был эхо русского народа». Ревельский командант Ганнибал завёл в своём имении Суйда первые в российской империи картофельные поля, а его правнук стал «наше всё». В нём, в пушкинском критерии, весь смысл культурного самоопределения любого человека. Исконный москвич Лев Тарасов известен как французский писатель Анри Труайя, а Алексей Долгошев — как Алексис

Раннит, эстонский писатель и литературовед, после войны — преподаватель американских университетов середины прошлого века. Чьим эхо являешься, тому и принадлежишь. Не национальность и даже не язык определяет культурный код личности, а принадлежность к системе духовно-культурных ценностей определённого народа. У нас в Эстонии есть деятели, которые иными языками, кроме как русским, не владеют, но «эхом русского народа» назвать их никак нельзя в силу антироссийских и антирусских взглядов и ценностей, которые они отстаивают.

О.М.: Летом прошлого года ты был награждён Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым государственной наградой — медалью Пушкина. Указ был именной и подписан 22 июня, в день 70-летия с начала Великой Отечественной войны. К тому времени вышла твоя новая книга «Прибалтийцы в Отечественную войну 1812 года». Грядёт празднование 200-летия победы над Наполеоном. Такое своеобразное совпадение получилось....

В.И.: Книга вышла из печати к 9 мая 2011 года, а представление на награду готовилось осенью 2010 — зимой 2011 года. У меня на тему Русской Прибалтики, российско-прибалтийских связей за минувшие пятнадцать лет вышло с десяток книг. В том числе четыре последние составили серию — «Прибалтийцы на российской дипломатической службе» (2005), «Русские судьбы Эстонии» (2007), «Прибалтийцы на российской государственной службе» (2009) и ныне — последняя, о 1812 годе. Кстати о прибалтийцах — старых прибалтийских родах, которых почему-то называют «прибалтийскими немцами», хоть по происхождению они не меньше русские, чем «немецкие». Большая часть родов пошла от родства с владетельными русскими княжескими фамилиями. С полоцкими, например. Зять Кутузова — Фердинанд (Фёдор) фон Тизенгаузен стал прообразом князя Болконского в эпизоде его ранения при Аустерлице, а бабушка у Фёдора — Иоанна Елизавета фон Баранова, а сам прибалтийский род Тизенгаузенів изначально пошёл от родства с внучкой полоцкого князя Вячко Борисовича, который, погиб в 1224 году при обороне Юрьева Ливонского (Тарту) от наседавших крестоносцев.

Хоть пишу также художественную прозу, но сейчас на первом месте — миссия. Восстановление исторического наследия и справедливости — это не просто «любовь к отеческим гробам», а прежде всего осмысление истоков настоящей жизни и основа для понимания того, что ждёт нас в будущем, своего рода «воспоминание о будущем», на чём зиждется знаменитое пушкинское «самостоянье человека». Этому очень способствует увлекательнейшее занятие генеалогией, нашими корнями, «ретроразведкой», как это называет наш петербургский коллега Дмитрий Каралис, с целью прогнозов состоя-

ния общества в будущем. Не столь интересует «что, кто, где и когда», а ответы на вопросы «почему». Почему мы и общество такие, а не иные, и к чему можем прийти. Это — область не истории, а скорее историософии, философии истории в прикладном значении, это, прежде всего, влечёт писателя, а не «дорогие сердцу камни».

Награда носит имя русского гения — Пушкина, и это ко многому обязывает. Воспринимаю награду как знак признания заслуг всей писательской организации на поприще восстановления русского литературного процесса прибалтийском в зарубежье. Хочется ещё раз поблагодарить российского посла Юрия Николаевича Мерзлякова и сотрудников посольства за то, что они приняли ходатайства российских деятелей культуры, учли мои скромные труды и за внимание к русским прибалтийским писателям. Увы, не часто писателей награждают в наше время. Впрочем, оно и понятно. Писатели, чаще всего, «неудобные» люди. Вспомнить, хотя бы, «Дневник писателя» Достоевского и полемику, которая длится вокруг «Дневника» полтора столетия.



Алексей СОЛОВЬЁВ

/ Даугавпилс /

Алексей Соловьёв, почётный гражданин города Даугавпилса, в течение многих лет работал в городских газетах, получил звание заслуженного журналиста Латвии. Бывший член Союза писателей Латвии. Долгие годы руководил городским литературным объединением. Автор книг «Земля моя, Латгалия...» (1958), «Простые чудеса» (1971), «Солнечная нить» (1986), «Вечное небо» (2000), «Город чаек и лебедей» (2005), «На берегу большой реки» (2012), «По ступеням лет» (2013). Публиковался в периодической печати, в разных журналах, альманахах, коллективных сборниках. А. Соловьёв, потомок древних староверческих родов России и Латвии.

ПАРКОВЫЙ ФОНТАН

Сбегаю от уличных толп
В зелёное логово парка,
Где высится зримо и ярко
Фонтана серебряный столп, —
Воздвигнутый в центре пространства,
Сомкнувший вокруг себя близь,
Мой взгляд увлекающий ввысь,
Непрочный фантом постоянства.
Здесь явь превращается в быль,
Губясь, возрождаясь повторно,
Дробясь, рассыпаясь, как зёрна.
И сеется влажная пыль...

* * *

...Тонут улицы в тумане,
Оседающем, густом,
Комковатом, будто вата.
Пахнет, как в остывшей бане,

Паром, дымом горьковатым
И берёзовым листом.
И река в дремотной рани
Плещет глухо под мостом.
Пробуждается лениво
От рассветного луча,
Распрямляет вольно спину,
Дыбит пенистую гриву,
Увлекает вод лавину,
Груз столетий волоча.
И блеснувшее с обрыва
Солнце —
Как удар меча...

* * *

Где Восток, где Европа?..
Землю кутает мгла.
Как в пещеру циклопа
Жизнь забрела.
В ожидании бедствий
Ускользаем во мглу,
Укрываясь от бестий
В тёмном углу.
Есть ли шанс на спасенье?
Всюду риск — здесь и там.
Что ж, твори Одиссею
Заново сам.
То ли явь, то ли небыль —
Океанский простор...
Одноглазое небо
Смотрит в упор.

* * *

Полночный город в законье.
Реклам холодные костры,
Многоголовые кусты
К земле припали по-драконьи.
Как заколдованные кем-то,
Оцепенелые дома,
Чернея, прячутся в туман.
Теней скрещенных турникеты
Бродягам преградили путь
И перекрыли входы в зданья.

Невидимых не скинуть пут
Заторможённому сознанию.
Я в сказку вдруг перенесен
По воле самовластной феи.
Пустынны улицы, аллеи.
Весь город погрузился в сон.
Округа замково темна.
Недвижны люди в башнях спящих.
И словно лишь один я спасся
От колкого веретена.
...Дремотой скованный свинцовой,
Давно привычный мир дневной
Во тьме ночной совсем иной —
Он вывернут, перелицован.
И с той, обратной стороны
Заворожённо смотрит в вечность,
Где к сущему приобщены
Земные существа и вещи.
Где глубь времен видна до дна,
Где спит бывшее в настоящем.
Где Слово кроется, как ящер,
В руинах суетного дня...

* * *

Прощанье возвестив картаво,
Отходит поезд от перрона,
И заслоняет хвост состава
Развесистого клёна крона.
Стуча по рельсам, скорый поезд,
Нечётким становясь для взора,
Уходит, набирая скорость,
Туда, где даль грозит грозою.
Врезаясь в небо, пропадает
За тучевой угрюмой чернью.
Всегда нас что-то покидает,
Не обещая возвращенья.
...Вон скрылся он за роцей дальней,
Тот поезд, не подвластный лени,
Не допуская промедлений
И избегая опозданий.
Неотвратимо, будто карма,
К каким-то поясам и зонам
Стремясь,
Исчез за горизонтом,

За край земли куда-то канул, —
В необозримость расстояний,
Туда, где никогда я не был.
...Всё пишется под хмурым небом
Сюита встреч и расставаний.

* * *

Я труд ценю и постарев...
Гуляя, с добрым чувством вижу,
Как строят дом на пустыре,
Как он вздымается всё выше.
Не благодуществую.
Но
Открыт я впечатленьям новым.
И этим будничным кино
По-настоящему взволнован.
Мне любопытны кадры те
Последовательных событий
Где возникают в пустоте
Фрагменты стен и перекрытий.
Здесь тот хозяйничает, кто
Предпочитает слову дело.
Здесь, мастера себе гнездо,
Союзничают дух и тело.
Здесь место действия людей,
Какие от забот не стонут.
...И дом растёт —
Изо дня в день —
Громадой железобетонной.

Корячатся вокруг леса.
Ногами утыкаясь в лужи.
И каменщики неуклюже
Карабкаются в небеса.

* * *

Памяти А. Ф. Лосева

Не я живу, а жизнь живёт во мне,
Себя являя, выявляясь мною.
Она — внутри меня,
А прочий мир — извне,
Со всей его личиностью земною.

Жизнь предстаёт в облики моём,
Соприкасаясь с жизнями иными.
Мы, лишь живя, о жизни узнаём,
Жизнь —
Наше всеобъемлющее имя.

ГОРОД И РЕКА

Грузный город — бетон и камень, —
В землю вкопанный на века.
Взбаламученная река
С белопенными гребешками,
Вдаль несущая мерно воды
Мимо сумрачных берегов,
Унося с собой мои годы,
И друзей моих, и врагов.

Разметало на бурном стрежне,
Разбросало всех вкось и врозь...

Но остались на месте прежнем
Древний город, что в землю врос,
Да, попутчица чьих-то странствий, —
Устремленная вдаль река,
Как протянутая рука,
Рассекающая пространство...

Людмила СЕМЁНОВА

/ Таллин /



*Людмила Викторовна Семёнова (1950). ljusemjonva@rambler.ru
Поэт, член Союза писателей России, ответственный секретарь и
руководитель поэтической секции Объединения русских литера-
торов Эстонии. Публикации в журналах «Радуга», «Балтика» —
Эстония, «Аврора» — Россия, «Литературная газета» (Москва),
«Связующее слово» (Москва, 2009–2012). Автор трёх поэтиче-
ских сборников: «Любви не бывает много» (2003), «Заколдован-
ные дали» (2009), «Подарок» (2015).*

МОЛЧАНИЕ СТЕНЫ

(Из цикла «Картинки старого Таллина»)

О, если б камни говорили,
То рассказать бы нам могли,
Какие здесь народы жили,
Какие тайны берегли.

Приоткрывает современный
Наш век истории покров,—
Что повидали эти стены
На протяжении веков.

Как плакали глаза-бойницы
Слезами плавленной смолы,
Как храбро здесь сражался рыцарь,
Как шли заморские послы...

С натугой отворяли стражи
Заслон дубовых тяжких врат
И пропускали экипажи
В ганзейский наш торговый град.

Мне видится, как утром ранним,
Лишь солнце над землёй взошло,
Везут купцы меха и ткани,
Пеньку, и кожу, и зерно.

Гул голосов, лязг наковален
В звон колокольный вплетены, —
Таким я слышу древний Таллин
В молчании седой стены.

ОДА ГЛАЗАМ

Глаза, мои глаза!
Фиалковой расцветки.
Они принадлежат
Отъявленной кокетке.

Так странно, что они
Меняются с погодой,
Хранилища любви
С малоизвестным кодом.

Глаза мои, глаза —
Зеницы, вежды, очи,
Могли б вы рассказать
О сумасшедшей ночи!

Как звёздами «стожар»,
Вы радостно блистали...
О, много вы, глаза,
На свете повидали!

Вобрав дневной эфир,
Загадочно-астральный,
Вы отражали мир
На радужке хрустальной.

Прозрачные глаза,
Сосуды моей доли,
Вскипала в вас слеза
От жалости и боли.

Вы видели враньё,
Гляделки и моргалки.
И алчное ворьё,
И человечьи свалки,

И выжженную твердь,
И сломанные стебли;
Рассматривали смерть.
О, как вы не ослепли!?

Вы пилились впотьмах,
Чтоб разглядеть, что дальше,
И направляли шаг мой
Мимо серой фальши.

Дарили каждый миг
Живой природы краски
Как вы мне помогли,
Мои родные глазки!

Я жгла вас вновь и вновь
Компьютерным экраном,
За стёклами очков
Вы скрыли свои раны.

А, сколько же вы книг
За жизнь перечитали!?
Я вас не берегла,
А вы мне всё прощали!

ДОЖДЁМСЯ

Дождёмся ль, когда повернёт на тепло,
Когда что-то дрогнет в природе?
Ведь зимнее время уже истекло,
И снег потихонечку сходит.

Берёт его талую воду земля,
Как кровь для своих капилляров.
Светлее последние дни февраля,
Открытые солнечным чарам.

Просеется день порошком золотым
Сквозь снежные рыхлые ткани,
И мы расстаёмся безжалостно с ним,
Как будто он снова настанет.

И время торопим: «Скорее, не стой!
Взыграйте, весенние марши!»
И всё забываем, что с каждой весной
Мы на год становимся старше.



Евгений КОСТИН

/ Вильнюс /

Костин Евгений Александрович — профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой Вильнюсского университета (1997–2006), ректор Международной Балтийской академии в Литве (2000–2008). Автор книг «Художественный мир писателя как объект эстетики» (Вильнюс, 1990), «Философия и эстетика русской литературы» (Вильнюс, 2010), «Шолохов forever» (Москва–Вильнюс, 2013), «Достоевский против Толстого: русская литература и судьба России» (Санкт-Петербург, 2015). Автор более 200 работ по истории русской литературы и культуры, эстетике и теории литературы.

«НЕ ТО ЧТОБ Я ТЮТЧЕВА ТАК УЖ НЕ ЛЮБИЛ...»

(Иосиф Бродский о Федоре Тютчеве)

Не скроем, что желание совместить, сопоставить эти два имени великих русских поэтов, которые с большой долей историко-литературной и, собственно, культурной обоснованности могут и должны быть соединены и осмыслены вместе, давно было в планах автора этой книги, ибо это как-то и понятно просвещенному гуманитарию. Что, кстати, и делается во многих работах о русском поэте XX века. Особый склад поэтической метафизики, растворение в лирике философского начала, онтологичность в восприятии и описании бытия и т.д. — все это позволяет уверенно говорить о следовании Бродским тютчевской «традиции», выражаясь старомодно с точки зрения современной литературной теории.

Однако стоит обратиться к одному лишь источнику прямых суждений Бродского о Тютчеве, как возникает нечто вроде культурологического столбняка. В данных заметках я буду опираться на содержательные во многих отношениях *Диалоги* Соломона Волкова с Бродским¹. Первое же упоминание в разговоре о русской поэзии имени Тютчева вызывает резчайшую реакцию нашего современника.

¹ Цитаты даются с указанием страницы внутри текста статьи по изданию: Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: «Независимая Газета» — 2000.

Бродский: «Не то чтоб я Тютчева так уж не любил. Но, конечно, Батюшков мне куда приятнее. Тютчев, бесспорно, фигура чрезвычайно значительная. Но при всех этих разговорах о его метафоричности и т.п. как-то упускается, что большого верноподданного отечественная словесность не рождала. Холуи наши, времен Иосифа Виссарионовича Сталина, по сравнению с Тютчевым сопляки: не только талантом, но прежде всего подлинностью чувств. Тютчев имперские сапоги не просто целовал — он их лобзал... Что до меня, я без — не скажу, отвращения — изумления второй том сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось бы, колесница мироздания в святилище небес катится, а с другой — эти его, пользуясь выражением Вяземского, «шинельные оды». Скоро его, помяните мои слова, эта «державная сволочь» в России на щит подымет...» [51].

Надо прямо сказать, что по искренности чувства это звучит достаточно сильно. Дальнейший поворот в рассуждениях о Тютчеве у Бродского связан с тем обстоятельством, что многие великие русские авторы жили и творили на Западе, за пределами России, о чем сейчас «мы благополучно забыли». Вот и Тютчев в этом ряду у Бродского получает как бы некоторое оправдание.

Правда, в дальнейшем, он опять возвращается к его имени через разговор об Анне Ахматовой, которая, по его мнению, почти не говорила о Тютчеве, за исключением одного случая. «Припоминаю, — говорит Бродский, — что о Тютчеве шел разговор в связи с выходом маленького томика его стихов с предисловием Берковского. Что ж, Тютчев, при всем расположении к нему, поэт не такой уж и замечательный... Мы повторяем: Тютчев, Тютчев, а на самом деле действительно хороших стихотворений набирается у него десять или двадцать (что уже, конечно же, много). В остальном, более верноподданного автора у государя никогда не было...» [230].

Интонация напоминает уничижительную критику Толстым Шекспира, близкую по тону и по существу. Как писал Толстой, ничто не годно у Шекспира — ни герои, ни идеи, ни сюжеты, но время от времени великий старец замечает: вот, правда, прелестная сценка вышла у Шекспира, и монолог очень хорош... Эта толстовская рецепция осмыслена в русской культуре.

Что-то иное, не художественное, заставляет Бродского и Толстого так резко и безапелляционно высказываться о своих великих предшественниках. Это тем более удивительно, что в *Диалогах* мы встречаемся почти с полной реабилитацией Тютчева Бродским.

Вот он рассуждает о любовных циклах в русской поэзии, в частности об ахматовском: «Это замечательные стихи (цикл «Шиповник цветет» — Е.К.). В них тоже есть это — Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома. Хотя, конечно, это скорее «Дидона и Эней», чем «Ромео и Джульетта». По своему трагизму цикл этот в русской поэзии равных не имеет. Разве что «денисьевский» цикл Тютчева» [248].

Однако вернемся к ключевому «обвинению» Бродского — «шинельность». Однако достаточно бросить беглый взгляд на томик стихов Тютчева, чтобы усомниться в правоте нобелевского лауреата, вспомним хотя бы «Из Микеланджело», «На смерть Николая I», или это:

Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растление душ и пустота.
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..

Ты, риза чистая Христа... (1857 год)

Думается, что нелицеприятные суждения Бродского объясняются все-таки не «шинельностью» творчества Тютчева, коей не так уж и много, если судить о ней, «шинельности», по «имперским» стихам поэта.

Думается, что причина в другом. Тютчев, интеллектуально взрослый на немецкой философии и разработанном в ней сложном способе суждения о бытии, творчески столкнулся с эпистемологической системой русского языка, которая, за исключением разве что языка Пушкина, не была способна (или была только беременна русским философствованием, разродившимся в итоге Достоевским и Толстым) к воссозданию метафизических сущностей в прямом виде.

Тютчев стоит у истоков русского поэтического философского языка. Эта же кристаллизация совершалась в творчестве Пушкина, но Тютчев в силу более протяженной человеческой и поэтической жизни сумел «зацепить» больший объем формирующихся в европейской культуре идей и философских систем, что привело к присутствию в его поэзии философского начала не как темы, но как внутреннего состояния образа, движения художественной мысли.

Однако главное отличие было определено по преимуществу Тютчевым. Пушкин только успел намекнуть, показать направление, куда бы он развивался в этом смысле — достаточно вспомнить стихотворение 1836 года «Отцы пустыnnики и жены непорочны». Русская художественная философия, которая в итоге и оказалась главным способом философствования в русской культуре, в России рождалась на пересечении метафизики и православия.

Собственно, самая суть определенной нами проблемы «философской неустречи» (именно философской, а не идеологической,

как кажется на первый взгляд) Тютчева и Бродского заключается в формулировании и понимании своеобразия восточнохристианского дискурса в его проявлениях в русской культуре XIX–XX веков.

Сошлюсь на мнение одного из крупнейших в разработке данной проблемы современных мыслителей — С.Хоружего, который утверждает: «Можно сказать условно, что из главной линии этого дискурса в активное достояние русского сознания патристика перешла гораздо менее чем аскетика; перешел «исихазм», но не перешла «рефлексия исихазма» <...> Это не значит, что восточнохристианский дискурс усвоен был без артикуляции, проработки созданием, в некоем сращенном виде — как известно, в ряде аспектов эта проработка была глубокой и тонкой, вносящей и новые акценты, и новое содержание; но работа рефлексии, идейно-концептуальная артикуляция, как равно и внедрение в общекультурный контекст, сюда не входили. В полном объеме они стали заданием русской мысли и начали активно осуществляться лишь на весьма позднем этапе» [2, с. 12].

Тютчев вместе с Пушкиным начал эту «проработку» рефлексивных особенностей русского языка, формулируя, по сути дела, философские основы дальнейшей метафизики русской литературы. Но при этом сохранял связь с исходным материалом, с неотчетливостью общих представлений о действительности, с большей эмоциональностью и чувствительностью русских эпистем, замешанных, если так можно выразиться, на православном мироощущении. Существенной частью этой формирующейся философской эпистемы было, в том числе, представление об особой роли государства для жизни всего общества и для нравственно-религиозных аспектов устремлений и идеалов отдельного человека.

«Это изначальное несоответствие, расхождение *языка мысли* — что то же, *самой мысли* — и *менталитета* (мироотношения, типа религиозности, мира ценностей...), своего рода несоответствие означающего и означаемого, стало... родовой травмой русской философии», — предельно точно резюмирует современный философ [2, с. 13].

Важно понять, что это расхождение, эта оппозиция («*мысль и менталитет*») не столь очевидны для исследовательского понимания, как, к примеру, организация того или иного языкового высказывания, структура мысли в западной и восточной традициях (дискурсах). Преодоление этой оппозиции не то что не закончилось, но только сейчас эта работа набирает темп, как можно судить по трудам современных мыслителей-богословов. Да и возможно ли оно в полной мере и в полном объеме?

Однако вернемся к противостоянию Тютчева и Бродского. Бродский, как и ряд других выдающихся русских мыслителей,

представляет собой блестящий пример проникновения западного дискурса в русский, во многом его перестраивая, меняя, и в то же самое время оставаясь в лоне основных западноевропейских эпистемологических границ. Конечно, разные группы крови культуры присутствуют в едином теле мировой цивилизации, и их несовместимость, как бы биологическая, не отменяет безусловного и бессмертного единства в метапространстве общечеловеческого духовного поиска.

Стоит в данном контексте сослаться на суждение другого великого деятеля русской культуры — Льва Платоновича Карсавина, во многом пытавшимся разрешить эту проблему культурной (философской) противоположности России и Запада. Карсавин решительно отметал предположение, что именно в европеизации может быть актуализирована русская идея и что именно в развитии в этом направлении и должна быть увидена будущность России и русского. Не может русская идея удобрять собой европейскую «культурную ниву». Он более чем категоричен: «... не в «европейских» тенденциях русской мысли, общественности и государственности надо искать эту идею» [1, с. 319].

Основанием русской мысли может стать, по Карсавину, исключительно православие. Он писал: «Православной мысли в высокой степени присуща интуиция всеединства... а интуиция всеединства непримирима с типичным для Запада механистическим истолкованием мира» (там же).

Определенный интеллектуальный урок, который мы можем вынести из того неприятия Тютчева Бродским, о котором было сказано до этого, в высшей степени ориентирован на современность. Нет неразрешаемых вопросов в сфере культуры, в сфере духа. Но понимание и диалог с «иным» начинается тогда, когда ты в полной мере осваиваешь содержание и специфику «своего». Сохранение «своего» в исторической ситуации рубежа двух веков для русской идеи в Европе гарантировано только с учетом этого глубинного погружения в «свои» — культуру, национальную психологию, религиозное сознание. Только тогда мы будем интересны и уважаемы для всех и всеми, тем более, что немного «ввысь», и здесь все — общечеловеческое, «всеединое», то есть «свое».

Литература

1. Карсавин Л.П. Россия, Запад и русская идея//Русская идея. М., — 1992.
2. Хоружий С.С. О СТАРОМ и НОВОМЪ. Санкт-Петербург, — 2000.

ПОЛИФОНΙΑ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДИАЛОГ М. БАХТИНА И А. ЛОСЕВА

На взгляд автора данной работы вопрос о взаимоотношениях двух крупнейших русских мыслителей является достаточно актуальным в аспекте понимания того направления, по которому развивается сегодня теоретическая мысль в русской философии и культурологии.

Сегодня уже откровенно говорится о так называемой «невстрече» двух гениев. «Невстрече» концептуальной. При этом соображения высказываются самого принципиального толка, вплоть до поисков и истолкования противоположных эпистемологических оснований теоретических построений одного и другого исследователя. Так или иначе речь идет о различных способах изъяснения действительности у обоих мыслителей, то есть существо различий их подходов кроется в различном логико-философском понимании бытия, а также в различных «технологиях» его объяснения.

В работе А.Ф.Лосева «Античный космос и современная наука» мы обнаруживаем подробное изложение понятия *диалектики* как основного способа мышления о бытии: «...*Диалектика есть логическое конструирование эйдоса*. Этим она отличается от всех других типов логического конструирования. И, прежде всего, отличается она от логики в обычном смысле слова, т.е. от формальной логики. Формальная логика есть логос о логосе, диалектика же есть логос об эйдосе... Основное различие между эйдосом и логосом, что первый есть цельный смысловой *лик* вещи, созерцательно и умственно осязательно данная его фигура, логос же есть *метод* смыслового оформления вещи, *задание* мыслить вещь, чистая логическая возможность и *закон* смыслового построения вещи. В то время, как в цельном лике мы находим слияние противоречивых признаков, органически претворенных в жизненно-бытийственный организм вещи, логос расчленяет и разъединяет все эти моменты, полагая каждый момент как нечто самостоятельное и дискретное...» [5, с. 69].

Такое суждение приходит к столкновению с определением схожих понятий у М. Бахтина. В своих записях 1970-1971 гг. М.Бахтин отмечал: «Диалог и диалектика. В диалоге снимаются голоса (раздел голосов), снимаются интонации (эмоционально-личностные), из живых слов и реплик вылуциваются абстрактные понятия и суждения, все втискивается в одно абстрактное сознание — и так получается диалектика» [2, с. 352].

Не на этом ли пересечении разного понимания *логоса* и *эйдоса* лежат причины «несходства-невстречи» столь значительных явлений как А.Лосев и М. Бахтин? Упрощая, можно заметить, что для А.Лосева вещь или явление, понятие *через* или при посредстве диалектики оказываются уже их реального бытия, меньше их целостности, которая никак не помещается и не объясняется только и исключительно диалектической логикой. А.Лосева заботило понимание «цельного

смыслового *лика* вещи», т.е. ее «эйдос» прежде всего, в то время как «логос» выступает как «метод оформления вещи», «задание ее мыслить». Разница, на наш взгляд между подходами двух философов более чем очевидна.

Замещение объекта исследования языком исследования или ввода формулу равновеликости его (объекта) аналитическому алгоритму истолкования всегда оставляет за скобкой ту часть бытийности явления, которая составляет главную характеристику его отличия от *других* бытийных, то есть данных в онтологическом ракурсе, объектов.

Нас же будет интересовать эта «невстреча» в рамках проблематики описания смеховой культуры. При этом будет браться во внимание только лишь теоретический, логико-онтологический ее аспект. Обратимся к прямому моменту полемики А.Лосева с М. Бахтиным, которая была обозначена в книге А.Лосева «Эстетика Возрождения». Обращаясь к творчеству Рабле, А.Лосев никак не может пройти мимо известной книги М.Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и культура средневековья и Ренессанса». Он пишет: «У Рабле... мы находим не просто отсутствие всяких идей в изображении телесного мира человека, а, наоборот, имеем целое множество разного рода идей, но идеи эти — скверные, порочные, разрушающие всякую человечность, постыдные, безобразные, а порой даже просто мерзкие и беспринципно-нахальные» [4, с. 589]. А.Лосев со всей определенностью заявляет о своем отношении к концепции М.Бахтина: «...Нисколько не связывая себя с теоретико-литературными построениями этого исследователя, которые часто представляются нам весьма спорными и иной раз невероятно преувеличенными» [4, с. 589].

И здесь необходимо несколько слов сказать о понятии *полифония*, которое теснейшим образом соотносится с идеями М.Бахтина. Надо откровенно сказать, что часто употребляемое по отношению к М.Бахтину понятие *полифонии* у самого исследователя подвергается нескольким смысловым истолкованиям.

Одно из самых определенных звучит в начале книги о Достоевском, где М.Бахтин замечает, что «мир Достоевского глубоко плюралистичен» [1, с. 45]. И дальше замечает уж совсем неожиданное для системы его доказательств: «Если уж искать для него образ, к которому как бы тяготеет весь этот мир, то таким является церковь, как общение неслиянных душ, где сойдутся и грешники, и праведники...» [1, с.45]. Это все же в большей степени образ, чем доказательство в духе М.Бахтина. Может быть, даже в такого рода суждении больше А.Лосева, чем самого М.Бахтина.

Позволю себе указать на несколько достаточно хорошо известных высказываний М.Бахтина в книге о Достоевском, что непосредственно имеет отношение к поднятой нами проблеме. Он пишет: «...Достоевский... попытался показать ... не что внутренне незавершенное в человеке» [1, с. 99].

— «Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому приникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя» [1, с. 101]. При этом «...диалогические отношения могут проникать внутрь высказывания, даже внутрь отдельного слова...» [1, с. 314].

Определяясь по отношению к главному пункту этой дискуссии, необходимо заметить, что понятие полифонии М. Бахтин применил прежде всего к характеристике художественного мышления. Более точное определение дано им в предисловии книги о Достоевском: *«Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского»* [1, с. 7].

Полифония для М.Бахтина возможна только лишь при наличии множества «неслиянных» голосов, то есть изображенных личностей, а сама эта личность, представленная индивидуальность, понята может быть исключительно при помощи диалектического «диалога».

Взглянем на то, как работает этот подход применительно к проблеме «смеховой» культуры. Вот одно из определений М.Бахтиным смеховой культуры в книге о Рабле: «Основная задача Рабле — разрушить официальную картину эпохи и ее событий, взглянуть на них по-новому, осветить трагедию и комедию эпохи с точки зрения смеющегося народного хора на площади» [3, с. 485].

Методология М.Бахтина балансирует на грани между строго очерченными логическими понятиями о соединении «отдельных неслиянных голосов» в полифонию сложного взаимопроникающего диалога и сложной целостностью более высокого уровня, в данном случае — «смеющийся народный хор на площади».

А.В.Михайлов в этой связи справедливо отмечал: «Разрабатывавшаяся М.М.Бахтиным и блестяще продолженная идея «смеховой культуры», по всей видимости, обладает <...> свойствами плодотворного научного мифа, позволяющего продвинуться вперед в постижении и описании конкретного языка средневековой культуры» [6, с. 455]. Внимание обращает именно это определение Михайлова — *научный миф*.

Анализируя, размышляя над «невстречей» А.Лосева и М.Бахтина, необходимо, скорее всего, обратиться к анализу сути их исследовательских стратегий. Заметим, кстати, что в беседах с В.Дувакиным (Беседы В.Д.Дувакина с М.М.Бахтиным. М. «Прогресс». 1996), М.Бахтин называет А.Лосева «классиком», не расшифровывая, впрочем, это определение.

Можно предположить, что философско-методологическая основа деятельности М.Бахтина значительно отличалась от того, что мы находим у А.Лосева. Для более широкого горизонта понимания привлечем еще одну точку зрения, еще один взгляд на данную проблематику.

Любопытно сравнить карсавинское определение личности в интерпретации С.Хоружего с тем, что мы обнаруживаем у А.Лосева: «...Не только индивидуальный человек есть несовершенная личность, включенная в единую личность космоса, но и все промежуточные ступени от индивидуума до космоса — собрания, совокупности индивидуальных личностей и даже области природного мира, живого и неживого (коль скоро все они в некоей мере вовлечены в историю и обожение) представляют собой (пускай лишь несовершенно, в задатке) самостоятельные личности. Такое соборное, сверх-индивидуальное «личностное образование» Карсавин называет *симфонической личностью*. Всякая такая «личность» включает в себя, вообще говоря, целый ряд индивидуальных личностей, однако и сама, в свою очередь, входит в разнообразные «высшие», «более крупные» симфонические личности — в частности, в симфоническую личность тварного мира в целом.

В итоге мир представляется в виде сложной иерархической структуры. Он есть симфоническая личность и одновременно — иерархия взаимовключающихся симфонических личностей. Вершина этой иерархии — космос как единое целое; основание — индивидуальный человек, последний предел саморазъединения несовершенного триединства, «атом» личного бытия...

Концепция симфонической личности, лежащая в основе всего описания здешнего бытия у Карсавина, далеко не является его индивидуальным измышлением и философской новацией. У нее несомненные и прочные корни как в церковно-патристической традиции, так и в русской культуре» [7, с. 93–94]. Расхождение с концепцией М.Бахтина относительно субъектности сознания представленной в культуре человеческой индивидуальности более чем заметное.

Наша мысль о несхожести идей А.Лосева и М.Бахтина конечно же не связана только лишь с различной интерпретацией ими смеховой культуры средневековья и Возрождения. И не связана также с различной оценкой этих периодов: безусловно трагической и в некотором отношении имеющей многие признаки заблуждающейся для А. Лосева и преодолевающей ложную серьезность официальной культуры и торжествующей над нею в виде карнавального смеха у М.Бахтина.

Это расхождение носят более глубокий характер, и связано оно прежде всего с различным представлением о внутренней структуре личности, и шире — с общим видением человека в культуре. Если, с одной стороны, для М.Бахтина анализ и Рабле, и Достоевского были различными частями одной логико-философской системы овладения материалом и описания человека в художественном творчестве во всех его бытийных и свободных проявлениях, то, с другой стороны, для А.Лосева, и это особенно ярко выявлено в его книге об эстетике Возрождения, этот ренессансный период развертывания свободных человеческих сил, уравнивание человека в правах и возможностях

с Богом, прямо называется им «сатанинским», как у Рабле. Где у М.Бахтина видится движение и цель, у А.Лосева объясняется как тупик и заблуждение¹.

Но и это не все. А.Лосев и М.Бахтин онтологически различны в своих подходах в понимании культуры и способов ее истолкования. Они работают в стратегически различных теоретических дискурсах. Если М.Бахтин исходит не просто из идеи торжества человеческой индивидуальности в ее самостоянии перед безднами бытия, и Достоевский явился через М.Бахтина столь убедительно разъясненным, потому что человеческая монада понималась им как предельная субъективность, как фигура равновеликая по крайней мере самому автору, что типологически, между прочим, воссоздает культурологическую ситуацию Ренессанса, то у А.Лосева звучат иные мотивы и дается иное обоснование культуре. Он писал: «...Артистический человеческий индивидуум как принцип имеет гораздо больше оснований быть поколебленным, чем исходные принципы других эпох и культур. Ведь совершенно ясно, и это было ясно с самого начала, что изолированный человеческий индивидуум вовсе не является такой уж твердой и надежной основой для культурного строительства» [4, с. 450]. «Я» как новый миф, «абсолютизированный субъективизм» [4, с.428] — вот что является тупиковой дорогой для культуры по мнению А.Лосева.

«Материально-телесный низ» представленный в книге Рабле и с таким блеском проанализированный М.Бахтиным, для А.Лосева это оборотная сторона эстетики Ренессанса, обозначающая его гибель. Поэтому иначе как «сатанизмом» [4, с.592] он не называет реализм Рабле.

Как мы стремились показать в ряде своих работ, смех онтологически снимает проблему индивидуальности, он помещает ее, эту индивидуальность, как ущербную и неполную, в определенном отношении, внутрь смеховой ситуации без особых прав на индивидуализированное действие.

Продолжая рассуждения о «смеховом сознании», не могу не сослаться на суждение о.Павла Флоренского, который писал о гносеологии подобных явлений: «Все дело в объективности этого мышления: не путями и доказательствами конструируется предмет познания, и потому не из них он постигается, как это бывает в мышлении субъективном, но, напротив, сам он, хотя и не анализированный, с самого начала служит упором мысли, и пути намечаются из средоточия» [8, с.120].

¹ Примечательно следующее признание А.Лосева о своем отношении к Бытию: «В моем мировоззрении синтезируется античный космос с его конечным пространством и — Эйнштейн, схоластика и неокантианство, монастырь и брак, утончение западного субъективизма с его математической и музыкальной стихией и — восточный паламитский онтологизм...» (А.Ф. Лосев. Письма. Вопросы философии. 1989. №7. С. 153)

Понятие *Диалога*, которое присутствует в заглавии данной статьи, на самом деле есть эмблема некоего существенного расхождения, каковое складывалось в умах и в идеях русских мыслителей на протяжении всего XX века. Если не принимать во внимание идеологизированный дискурс официального говорения по поводу гносеологических систем в советское время, если процесс понимания был в принципе возможен, то в самом общем плане можно сказать, что русская теоретическая мысль пребывала между двумя крайностями. С одной стороны, перед нею была развившаяся и изоциренная возможность западного (в широком смысле слова) способа говорения и мышления о бытии, определяемого установкой на всепонимающее и всеизясняющее индивидуализированное сознание, с другой, в лоне отечественной *органической* традиции прорастала, никуда не исчезая, установка на иной тип мышления, который опирался не только на субъективность и формулировал свои опорные конструкции на иных основаниях.

Об этом также отчетливо писал о.Павел Флоренский, называя эти подходы «иллюзионизмом» и «реализмом»: «Иллюзионизму противопоставляется реализм. Реальность не дается уединенному в здесь и теперь точечному сознанию. Закон тождества, применяется ли он в зрении (перспектива) или в слухе (отвлеченность) уничтожает бытийственные связи и ввергает в самозамкнутость. Реальность дается лишь жизни, жизненному отношению к бытию; а жизнь есть непрестанное ниспровержение отвлеченного себе-тождества, непрестанное умирание единства, чтобы прозябнуть в соборности. Живя, мы собою сами с собой — и в пространстве и во времени, как целостный организм, собираемся воедино из отдельных взимо-исключающих, — по закону тождества, — элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр. и пр. Подобно, мы собираемся в семью, в род, в народ и т.д., собираясь до человечества и включая в единство человечности весь мир» [8, с. 343].

Эти процессы мысли являются разнонаправленными, один из них устремляется внутрь индивидуального человека и ищет там «нечто принципиально незавершаемое» (М.Бахтин), другой исходит из человека и поднимается до соединенности всех со всеми, до «соборности» (о.Павел, А.Лосев), чтобы разомкнуть границы самодовлеющего индивидуализма и включить в себя весь мир.

Крайне убедительно звучат размышления С.Хоружего, который углубился в данную проблематику. Он пишет: «По многим причинам сложилось так, что язык теоретического мышления, язык понятий не был востребован из восточнохристианского дискурса, хотя и имелся там, будучи развит в патристическом и паламитском богословии, а отчасти и в аскетической антропологии.<...> И в результате эта ведущая, стержневая линия православного сознания оказалась почти всецело в сфере так называемой «низовой культуры». Она жила в фор-

мах народной религиозности и монашеской практики, и в мире культуры отражалась лишь косвенно и подспудно. *Пути русского православия и русского просвещения разошлись*» [7, с.12].

Заметим, что смеховая культура по сути репрезентирует «низкую культуру», во многом идентичны семантические объемы этих понятий. Можно бесконечно спорить о том, какая из линий развития русской теоретической мысли в исследовании культуры оказалась более востребованной и более жизнеспособной. И никоим образом данное противопоставление не является суждением, сталкивающим «плохое» с «хорошим»; в культуре невозможно достичь результата (приблизиться к истине), опираясь на один подход, необходимо исходить из самых широких мировоззренческих, а также онтологических соображений, не отбрасывать другой взгляд и позицию, считая их ненужными или неполноценными.

Именно так и мыслили М.Бахтин и А.Ф.Лосев, не отказываясь, впрочем, от своих глубинных мировоззренческих постулатов, сформировавших их неповторимый облик мыслителей и великих деятелей русской культуры.

Автору работы думается, что этот спор между титанами русской мысли еще не закончен, что главные открытия еще впереди, а итоги их деятельности будут связаны с тем путем, по которому пойдет Россия в духовном смысле, что она изберет в качестве эпистемологической доминанты. Как ни странно, но очередная развилка предстала перед русским сознанием именно сейчас — в текущей, горячей современности.

Литература

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Издание третье. М., — 1972.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., — 1979.
3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., — 1990.
4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., — 1978.
5. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука//А.Ф.Лосев. Бытие. Имя. Космос. М., — 1993.
6. Михайлов А.В. *Послесловие* к книге: Й.Хейзинга. Осень Средневековья. М., — 1988.
7. Хоружий С.С. О старом и новомъ. Санкт-Петербург, — 2000.
8. Флоренский П. Соч. В 2-х томах. Т.2: У водоразделов мысли. М., — 1990.



Эльвира ПОЗДНЯЯ

/ Вильнюс /

Родилась в России, в Приморском крае, в семье военного лётчика. Волею судьбы проехала весь Советский Союз от Тихого океана до Балтийского моря. Живёт в Литве с 1985 года. Член Международной ассоциации писателей и публицистов. Награждена дипломом Департамента национальных меньшинств «За активное творчество, обогащающее наследие русской поэзии в Литве», обладатель диплома «Золотое перо» Европейской академии литературы и искусства, кавалер Почётного нагрудного знака «Виленец один в поле — и тот воин» Организации ветеранов Вильнюсского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО «За высокий вклад в русскую поэзию». Автор трёх сборников стихов и прозы и пяти брошюр лирических стихов. Стихи публикуются в изданиях Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии, России, Белоруссии. На её стихи музыкантами разных стран (Литва, Россия, Польша, Казахстан, Великобритания) написаны песни и романсы. Некоторые стихи вошли в трилогию «Опалённые ложью» калининградского журналиста В.Вахрамеева (Россия), и в соавторстве с ним выпущена книга памяти поэта В.Петровского «Я не хотел бы всех печалить...» (Калининград, Россия).

ВИЛЬНЮС

В ночных огнях Зелёный мост,
Где транспорт, как ночной фотограф,
Спешит оставить свой автограф,
Бросая вспышки на помост.
А вольнодумная Нерис¹,
Венцом огней украсив воды,
Несёт их к берегам свободы,
Вещаю миру свой каприз...

¹ Нерис — река в Вильнюсе.

ТАМ, ЗА ОКОЁМОМ...

Как не пороть горячки, когда опять в сезон
Не наскрести заначки на пляжный пансион.
И бедность, как зараза, в Отечестве моём.
С тоскою краем глаза смотрю за окоём.
А там, за окоёмом, покоятся уже
Райкомы и парткомы в прозрачных неглиже.
И видится, как смело взъерошенный народ,
Спасая чьё-то дело, шагнул на эшафот.
Под злобный вой картечи покорнейше привык
К словам картавой речи трофейный броневик.
Там дяденька усатый тебя, он, как червя,
Давил коварной лапой, зашторив лагеря.
А ты в кусочек неба горланил в честь вождя:
«Даёшь отчизне хлеба!», «Даёшь стране угля!»
И ту Отчизну эков за веру в коммунизм
Толкал на стройки века голодный альтруизм.
А рядом ждал, по пояс в гэбэшенской крови,
Тот легендарный поезд на запасном пути.
И зажимались пломбы на игрищах судьбы.
И наливались ромбы в петлицах, как клопы.
По штабелям всё выше взбирался Исполин,
А выжить, иль не выжить — решал адреналин.
Казалось, только в схватке вершились все дела.
Казалось, без оглядки в ней молодость жила.
Там, веря в призрак веры, на битву каждый шёл...

И... тянет в пионеры, и тянет в комсомол...

МЕТЕЛЬ

За ночь сосны
под тяжестью спелой зимы
Опустили до доли
мохнатые лапы.
Сотню лет не видала весна
кутерьмы,
Как апрель шёл походкой своей
косолапой.
Всё бело и свежо,
И слепит мне глаза —
Захотелось их спрятать за тёмные
стёкла

И не думать, что вспять отойдут
чудеса,
А за ними — на стол
лишь картошка да свёкла...
Под весенним зонтом
устремляюсь в метель
Для вселенского поиска сытного
хлеба,
Но летит вороньё,
как на запах «Шанель»,
И в испуге земля опустилась
на небо.
Покачнулся
растерзанный шарик земной,
Удивляясь нелепости разума
века...
А метель замечает
апрельской весной
Все надежды
на светлые
дни
человека...

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

На кованной бронзе пятнистый налёт
Рисует живую ткань времени.
Насытившись соками, лист упадёт
В преддверии зимнего тления.
В часы отрешённости ворох листвы
Ржавеет и ждёт отпевания.
И, в тайне, напрасно стараешься ты
Отсрочить минуты свидания...

СИЛУЭТ

Завоет псом осенний день,
Зализывая раны рваные.
Мой силуэт вдали, как тень,
Пройдёт вчерашними бульварами.
Осенний лист умерит дрожь.
Зима остудит страсть отщепенца.
И ты когда-нибудь придёшь
В свой Судный день
просить прощения...

КОРАБЛИК

Кораблик мой бумажный в луже
Плывёт по серым облакам.
А ночь — всё шире, день — всё уже,
И крохи лета где-то — там.
И там — скупые недомолвки
И откровенности — чуть-чуть...
О, эти мерзкие уловки
Поры осенней давят грудь!
А день — всё уже, ночь — всё шире.
Лукавой осени дожди
Душе моей в пустой квартире
Наивно шепчут: «Лета жди...».
Ах, лето, лето... Мой кораблик
Плывёт в реальные миры,
Где греюсь я, как птичка зяблик,
И оживаю...
до поры...

* * *

Фикусы в прошлом...
Перрон и вокзал.
Мёртвое дерево торчит в ресторане.
Нервно жужжит провожающий зал.
Чайная ложка трепещет в стакане.
Хочется час расставанья продлить,
Чай остывающий мерить глотками.
Хочется молча с тобой говорить
Неуловимым движеньем губами.
Стрелки часов — словно гончие псы.
Фото на память — в твоём телефоне...
И под ресницами — капли росы —
Скрытая боль в полутёмном вагоне...

ХУТОР

С горки в хутор мы упёрлись лбом.
Здесь поэты собрались на сходку.
Старый сруб. За срубом — дым столбом
Предвкушал шашлычную находку.
«Новый Будда» в доме — Боже ж мой! —
Восседали с ухмылкой молчаливо,
А бескрылый ангел за спиной

Пил «Кагор» молдавского разлива.
Закусью накрытые столы
В садик выносились аккуратно
И под взрывы бешеной грозы
Заносились те столы обратно.
Пили за стихи и меж едой
Чокались стаканами крест-накрест.
Рядом с женской рифмой и мужской
Ёрзал от смущения анапест.
От излишней водки бронзовел
Новый член СП, всем тыча фигу.
И в углу от горя захмелел
Падший ангел, выронив мотыгу.

* * *

А может быть, остановиться
И суетный умерить бег?
Пусть лучше тихо на ресницы
Кладёт свои снежинки снег,
Воспрянуть Снежной Королевой
Со льдом бесчувствия в груди
И на исходе птицей белой
Коснуться Млечного пути...

Александр БЛЫТУШКИН

/ Клайпеда /



Судовой механик рыбопромыслового флота в Атлантическом океане, списавшийся на берег, чтобы, не изменяя флоту, заниматься судоремонтом. Второе его увлечение — стихотворчество. Автор двух поэтических сборников: «Клайпедские стихи» и «Бархатный сезон». Публиковался в периодике и литературных альманахах Туркменистана, Литвы, России. Член Клайпедского литературного клуба «Среда». Член Международной ассоциации писателей и публицистов.

КРЕСТЫ. НАЧАЛО XX ВЕКА (1914–1918)

Кресты не всегда — наградные.
Несут вахту-память кресты:
Покрытые мхом, вековые
И новых историй посты.

Кошунства крестовых походов:
Господь говорил: «Не убий!»
Под Господом, ради доходов,
Всегда убивали людей.

Крест — символ пути человека,
Под сенью его нам видны:
Начало двадцатого века,
Безумство Великой войны.

Делить мировые угоды —
В верхах жажда ночью и днём,
А мы, кто из простонародья,
Лишь «пушечным мясом» сльвём.

Солдатские души, достойно
Убитую плоть заменив,
Вам скажут: «Всемирные войны —
Позор для прекрасной Земли».

Сова прокричит песню смерти,
Решив на кресте отдохнуть,
Иль голубь — Святой Дух, поверьте,
Желает нам в сердце вдохнуть...

Фемида богатства из рога
Разделит, законы — просты:
Кому-то распяты от бога,
Кому — наградные кресты.

Пусть символом птицы летящей
И смысла летящих людей
Становится крестик звенящий
В душе, во Вселенской моей!

МАЛАЯ РОДИНА

Всюду снег. Дальний лес за сугробами,
Если сидя в санях, не видать.
Лишь церквушка достать небо пробует.
Дремлет малая Родина-мать.

Всё покрыто. В сенях припорошено.
Колер — белый и синь-голубой.
Зима нынче выходит хорошою
И даёт насладиться собой.

Тишина. От дверей скрип доносится,
Чи-то валенки снегом шуршат,
И соседская разноголосица, —
Как бальзам, щебетанье девчат.

Мысли могут прийти похоронные,
Только лучше, чтоб жить да любить.
Здесь возможно гнать мысли греховные,
С милым другом виниться и пить,

От погони остыть, успокоиться,
Посудачить, открыться душой.
Пусть щемящее чувство покоится
В ожиданье удачи большой.

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН (Три Спаса)

Раисе Ластовкиной

Наступает бархатный сезон.
Льнянка отцветёт и пчёлы знают:
Вереск даст последний медогон,
И леток на зиму залепляют.

В эти дни Россия поднялась,
Переждав три Спаса у порога.
В Спас медовый крестим Русь, молясь,
В яблочный — преображение Бога.

На холсте лик божий — Спас ржаной.
Ласточки в три Спаса отлетают.
И Фоме, чтоб верил, пояс свой
Приснодева Марья оставляет.

Уж грядёт уборка конопли.
Бабье лето греет желтизною.
Друг мой, нынче будь нетороплив,
Незачем спешить перед зимою.

На пороге Жизни мы слабы,
На дороге к Вечности — субтильны.
Не сбивай последние столбы:
Пусть о нас заботится Всесильный.

Пребывая в здешней кутерьме,
Обратимся к небу, хоть разочек,
Ведь не зря апостолу Фоме
Сбросила Мария поясочек.

ПЕЛАГЕЯ

*Пелагее Григорьевне
Блытушкиной (Юдиной)*

Дом наш деревенский вспоминая,
Пребывая в здравии пока,
Бабушку мам-Полю поминая,
Пригублю я коньячок ВэКа.

Дом для жизни нужен, он — машина,
Мудрость эту знает весь Китай,
Дом — причал, надёжная фашина,
Связка в жизни для семейных стай.

Пусть заря сменяется зарёю,
Пусть летят с возвратом журавли,
Пусть стоит, сроднившийся с землёю,
Этот дом надежды и любви.

Так соседи наши говорили,
В новоселье освещая дом.
Поп, качая ладаном в кадиле,
Уповал о самом дорогом:

О семейных узах, о потомстве,
О любви, что к ближнему храним...
В бытие и жизненном упорстве
Был согласен с ним наш дед Аким.

Посещая церковь и говея,
Наравне всё с мужем разделив,
Мужиков рожала Пелагея,
Мама Поля, род наш сохранив.

Догорала тонкая лучина,
Освещая избу перед сном.
Семерых родить была причина:
Для войны и для трудов потом...

Стынь и голод — жуткая картина,
Долг военный род наш подкосил,
Но остаток от войны — три сына —
Изо всех за жизнь цеплялся сил.

Мой отец, оставив нас, на Север
Угодил, на Кольский. «Там «Клондайк», —
Говорил вербовщик, сивый мерин,
Жестом пальцев выставляя «лайк».

Стар да млад, да сено и мочало
Оставались, да ещё — сверчок,
А отец, чтоб меньше причитала,
В отпуск привозил ей коньячок.

«Батя твой, Сашок, что ветер в поле», —
Пригубив лишь каплю на язык,
Чтоб на год хватило, баба Поля
За икону ставила «родник».

Пела, грея ноги мне босые,
Причитаний этих нет милей:
«Ой, какие ноженьки худые,
Брысь на печку — косточки погрей».

Жизнь была такая и сякая...
Разделив и вновь семью собрав,
В небесах деревни дух витает:
Нет домов среди высоких трав.

Мой отец, о лучшем разумея,
Нас возил на Запад, на Восток ...
Косточки мам-Поли нынче греет
Туркестанский жёлтенький песок.

Разделяет разные погосты
Частокол границ и бытия,
Душам родственным теперь не просто —
В разных странах Поля, батя, я.

Дом наш, крытый тёсом, вспоминая,
Пребывая в здравии пока,
Бабушку мам-Полю поминая,
Пригублю я коньячок ВэКа.



Владимир ИЛЛЯШЕВИЧ

/ Таллин /

Владимир Николаевич Илляшевич (1954). Таллин, Эстония. Секретарь союза писателей России (СПР, Москва) и председатель Эстонского отделения СПР (ЭО СПР, Таллин), член Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов (МСПС, Москва). Автор 15 книг историко-биографической публицистики и художественной малой прозы. Печатается в литературной периодике Эстонии и России с конца 1980 годов, в т.ч. «ЛГ», журналы «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Культура», «Форум» и др.

24 АПРЕЛЯ — 81 ГОД «ВЕСЕННЕМУ БАЛУ ПОЛНОЛУНИЯ» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»)

Прообразом известного «бала сатаны» в книге Булгакова стал вечерний приём чрезвычайного и полномочного посла США Уильяма Буллита в СССР от 24 апреля 1935 года в московской резиденции американского посольства — бывшем особняке банкира Второва. Весьма экстравагантный американский разведчик и дипломат, встречавшийся лично с Лениным в 1919 году в рамках т.н. «миссии Буллита» по неудавшемуся урегулированию Гражданской войны в России, сумел к 1935 году добиться заключения первого торгового соглашения между США и СССР. Этому выпускнику Йельского университета импонировал сам опальный Троцкий. Именно при нём в качестве резиденции посла США в Москве был выбран особняк близ храма Спаса на Песках и оттого получивший у янки ласковое, хоть и несколько неуместное для русского человека прозвание «Спасо-Хаус». Скажем здесь, что построен был этот памятник неоклассической архитектуры в 1913–1915 годах по заказу крупнейшего предпринимателя России Н. А. Второва, прозванного за деловую хватку «русским Морганом», по проекту В.Д. Адамовича и В.М. Маята на месте бывшей усадьбы князей Лобановых-Ростовских.

Амбициозный дипломат и человек с большими причудами Буллит дал свой официальный прием для столичной советско-государственной элиты и представителей всех зарубежных дипломатических миссий в Москве. Для этого праздника сотрудник посольства Чарльз Тейер добыл в зоопарке медвежонка, несколько горных коз, белых петухов и много птиц. Был сооружен вольер для фазанов, маленьких попугайчиков и сотни зябликов, также позаимствованных у зоопарка. Для полноты ощущений рабочие соорудили искусственный лес из десяти березок, выкопанных накануне. Были приглашены 500 «самых влиятельных» в Москве деятелей, включая всё высшее советское руководство. Кроме самого Сталина. Ведь Иосиф Виссарионович был... «всего лишь» генеральным секретарём ЦК ВКП(б). Ну и напрасно... Об этом красноречиво говорят дальнейшие события. А именно: в июле-августе 1935 года в Москве прошёл Седьмой конгресс Коминтерна с участием почти всех компартий мира. Приглашение и приезд коммунистов США во главе со своим секретарём Эрлом Браудером вызвало бурю негодования в США, где это сочли грубым вмешательством во внутренние дела Соединённых Штатов, так как по поводу «не вовлечения американских коммунистов» якобы существовали договорённости между народным комиссаром (министром) по иностранным делам Литвиновым (Макс Валлах) и Рузвельтом. Тем более что коммуниста Браудера, как на зло, избрали в президиум коминтерновского конгресса. Между прочим, того самого, который приходится дедушкой нынешнему американскому крупному бизнесмену, британскому гражданину и не очень-то чистому на руку дельцу Биллу Браудеру, организовавшему через конгресс США сегодняшний антироссийский и русофобский «список Магницкого» (в отместку за то, что Кремль преобольно дал ему по излишне шаловливым и липким пальчикам)...

В общем, с того апрельского 1935 года бала начинается завершение успешной доселе миссии Буллита в Москве, его отрешение от каких-либо контактов со стороны советского руководства и, наконец, отзыв из страны. Нет, не случайно мы имеем массу признаков, говорящих о том, что сэр Буллит послужил прообразом булгаковского Воланда... Да и Сталин как-то совершенно необъяснимо для всех благоволил Булгакову и защищал того везде, где мог. Даже от РАП-Па, когда вернул рапповскому Авербуху его же ябеду на Булгакова, что мол, писатель-то — «белогвардейский», да ещё с резолюцией, дескать, может, Булгаков и «белогвардейский», но он «...лучшее, что у нас есть». «Бал Сатаны» или приём в американском посольстве, куда с демонстративной оскорбительностью не пригласили Сталина, и прообраз Воланда в лице американского посла Буллита оказались для Булгакова не случайными, уместными в глазах высшего руководства страны и, стало быть, весьма удачными с точки зрения литературных достоинств и писательской карьеры. Впрочем, Булга-

ков не оригинален, если вспомнить известную сатирическую «анти-расистскую» поэму об американских богатеях «Мистер Твистер» за авторством Самуила Маршака в 1933 году: *«...Мистер Твистер, /Бывший министр,/Мистер Твистер,/Делец и банкир,/Владелец заводов,/ Газет, пароходов,/Решил на досуге/Объехать мир...»*. Именно в 1933 году была завершена блокада СССР со стороны США и установлены дипломатические отношения. Именно тогда Буллит приехал в СССР.

В особняке посольства «Спасо-Хаусе» собралось более 400 гостей. Писатель Булгаков тоже пошёл во второвский особняк. Супруга его, Елена Сергеевна, оставила запись в дневнике: *«Однажды мы получили приглашение. На визитной карточке Буллита чернилами было приписано: «фрак или чёрный пиджак».* Миша мучился, что эта приписка только для него. И я очень старалась за короткое время «создать» фрак. Однако портной не смог найти нужный чёрный шёлк для отделки, и пришлось идти в костюме. Приём был роскошный, особенно запомнился огромный зал, в котором был бассейн и масса экзотических цветов».

История с фраком в романе «Мастер и Маргарита» нашла своё воплощение: *«Да, — говорила горничная в телефон... — Да, будет рад вас видеть. Да, гости... Фрак или чёрный пиджак... Елена Сергеевна писала: «Я никогда в жизни не видела такого бала. Посол стоял наверху на лестнице, встречал гостей... В зале с колоннами танцуют, с хор<ов> светят прожектора, за сеткой, отделяющей оркестр, живые птицы и фазаны. <...> Ужинали в зале, где стол с блюдами был затянут прозрачной зелёной материей и освещён изнутри. Масса тюльпанов, роз. Конечно, необыкновенное изобилие еды, шампанского».*

По установившейся традиции в США послами этой страны за рубежом назначали людей богатых, состоятельных и зарплата им выплачивалась, в общем-то, мизерная. Так, что счёт за необыкновенный бал суммой свыше семи тысяч долларов (тогда это была очень большая сумма) оплатил лично Буллит, происходивший из влиятельного семейства филадельфийских банкиров. В том числе оплатил и расходы за доставленные самолётом из Хельсинки тысячи тюльпанов, потом брошенных на зелёный войлок для «лужайки», как концерт и гастролировавшего в Москве оркестра из Праги. *«Мы устроили так, чтобы множество берёзок распустились до срока в столовой»*, — сообщил посол Франклин Рузвельту.

Булгаковский «Весенний бал полнолуния» Воланда навевает флёры «весеннего фестиваля» Буллита и необычного пространства «Спасо-Хауса». Сравним дневниковую запись жены писателя с текстом романа: *«...Маргарита поняла, что она находится в совершенно необъятном зале, да ещё с колоннадой, тёмной и по первому впечатлению бесконечной. <...> Невысокая стена тюльпанов выросла*

перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и чёрные плечи фрачников... В следующей зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз... Били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трёх бассейнах».

В «Булгаковской энциклопедии» тоже говорится о сочетании деталей «Великого бала у Сатаны» с реальными приметами обстановки резиденции американского посла.

Жена писателя добавила в дневнике: *«Отношение к Мише очень лестное. Посол среди гостей — очень мил...»* Потом Булгаков шутил: *«Я как Хлестаков — английский посланник, французский посланник и я».*

Гидом и переводчиком при Буллите был в то время Борис Сергеевич Штейгер, сын барона Сергея Эдуардовича фон Штейгера и родной брат известного поэта русской эмиграции первой волны Анатолия Штейгера. Только вот был он не прибалтийского происхождения, как утверждают некоторые авторы-исследователи творчества Булгакова, а швейцарского, предок которого получил баронский титул от прусского короля в начале 18 века, а в Российской империи род был признан в баронском достоинстве и сопричислен к дворянским собраниям в Малороссии и Новороссии. В любой стране, ясное дело, такого рода служащие при столь важных иностранных персонах связаны со спецслужбами страны пребывания. Ничего необыкновенного в этом нет. Вот и в «Мастере и Маргарите» он, штатный сотрудник и офицер ОГПУ-НКВД Борис Штейгер, работавший в 1920–1930-е годы в Москве под прикрытием должности уполномоченного Коллегии Наркомпроса РСФСР по внешним сношениям, по предположению некоторых авторов, выведен под именем барона Майгеля. Признаться, в это предположение верится с трудом. Работа над романом была завершена к 1937 году. Во второй половине 1937 года же был репрессирован и погиб Борис Штейгер. Вряд ли Булгаков решился бы вывести карикатурный образ достаточно влиятельного чекиста, действующего под прикрытием должности в гражданском ведомстве, связанном с внешней деятельностью государства («под прикрытием» действовали и действуют поныне во всех странах специально подготовленные, способные и достаточно опытные штатные сотрудники служб разведки контрразведки). Впрочем, среди прообразов называются также действительно прибалтийский барон — комендант Петропавловской крепости Егор Иванович фон Майдель, ранее послуживший также прототипом коменданта барона Кригсмута из романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (этот Майдель отличался демонстративным равнодушием к заключённым), а также ленинградский литературовед Михаил Гаврилович Майзель, написавший в начале 1930-х годов ряд критических статей о творчестве Булгакова и назвавший писа-

теля представителем «новобуржуазного направления». Майзель, еврей по национальности, хоть и не был бароном, но, по мнению литературного критика Золотоносова, Булгаков издевательски присваивает своему литературному персонажу Майгелю баронский титул с намёком на еврейскую баронскую фамилию Ротшильд. Во время же известного литературного «великого» бала во второвском особняке Булгаков predetermined судьбу «наушника и шпиона»: «...что-то негромко хлопнуло как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет».

В дневниковой записи жены Булгакова есть также упоминание о фуршете в американском посольстве, где присутствовал «французский писатель, только что прилетевший в Союз» и что «Писатель, оказавшийся кроме того и лётчиком, рассказывал о своих полётах. А потом он показывал и очень ловко — карточные фокусы». Французом-лётчиком был корреспондент газеты «Пари-суар» Сент-Экс, известный нам, как Антуан Сент-Экзюпери, которого Буллит, знакомый с ним с парижских времён, пригласил в Спасо-Хаус.

Итак, Александр Эткинд в своём «Толковании путешествий» утверждал, что посол стал одним из главных героев «Мастера и Маргариты»: «Визит Воланда в Москву совпадает по времени с пребыванием Буллита в Москве, а также с работой Булгакова над третьей редакцией его романа. Как раз в этой редакции прежний оперный дьявол стал центральным героем, воспроизведя характерное для Буллита сочетание демонизма, иронии и большого стиля. Дьявол приобрёл человеческие качества, которые восходят, как представляется, к личности американского посла в её восприятии Булгаковым: могущество и озорство, непредсказуемость и верность, любовь к роскоши и цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите. Буллит также был высок и лыс и обладал, судя по фотографиям, вполне магнетическим взглядом. Известно ещё, что Буллит любил Шуберта, его музыка напоминала ему счастливые дни с первой женой. И, конечно, у Буллита был в посольстве глобус, у которого он мог развивать свои геополитические идеи столь выразительно, что, казалось, сами моря наливаются кровью; во всяком случае, одна из книг Буллита, написанных после войны, так и называется «Сам великий глобус».

Философский же смысл булгаковской «диаволиады» исследовал П. Фалиевский: «Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь тьмы, к тому, кто сознаёт честь, живёт ею и наступает... Работа его разрушительна — но только среди совершившегося уже распада».

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ. ЗАГАДКА «РЕВЕЛЬСКОГО СНЯТКА»

Казалось бы о великих деятелях литературы и искусства известно все. Об их творчестве и жизни написаны тома. В этом ряду не составляет исключения гениальный русский писатель мировой славы Федор Михайлович Достоевский. Однако, порой, все же обнаруживаются обстоятельства, неведомые даже специалистам. Так случилось и на международном симпозиуме, состоявшемся в декабре 2001 года в Москве и собравшем достоеведов из 17 стран. Форум был посвящен 180-летию со дня рождения писателя (30 октября 1821 — ст. стиль). Мне привелось участвовать в его работе и вести секцию «Достоевский в реальном историческом контексте». Небольшой доклад о ревельских страницах жизни и творчества Достоевского вызывал неподдельный интерес присутствующих. Позднее выяснилось, что эта тема оказалась мало знакомой и для любителей литературы в Эстонии. Тем временем, великий писатель не просто посещал Ревель и по несколько месяцев гостил у своего брата Михаила, но и немало трудился здесь. Некоторые произведения были написаны полностью в главном городе Эстляндской губернии. Например, «Господин Прохарчин». Многие здешние знакомые стали прообразами будущих героев выдающихся произведений Достоевского более позднего периода. Так, ревельский пастор Хуун послужил первым толчком к созданию романистом собирательного образа Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых» (см. В.Илляшевич. «Достоевский и Ревель», «Советский писатель», М., 2001).

Есть в воспоминаниях современников писателя упоминание о литографической газете «Ревельский сняток», издававшейся при Военно-инженерном училище в Санкт-Петербурге аккуратно в годы обучения Федора Михайловича. Более того, будущий писатель упоминается в качестве редактора этой, надо полагать, своего рода студенческой газеты. Увлеченность литературой была присуща целой группе учащихся. Надобно отметить, что к этим занятиям досуга своих подопечных училищное начальство относилось весьма благосклонно. Дежурный офицер Александр Иванович Савельев, к воспоминаниям которого мы обратимся, часто скрашивал службу беседами с кондукторами Григоровичем и Достоевским, которых находил «весьма образованными юношами, с большим запасом литературных сведений из отечественной и иностранной литературы». Достоевского интересовали лекции истории и словесности Турунова и Плаксина более, нежели интегральные исчисления, пишет в своих воспоминаниях Савельев. Кстати говоря, этого офицера, отдавшего училищу около 30 лет службы, тоже увлекала работа над словом. Будущий генерал-лейтенант (1884) трудился за время своей военной карьеры

также в «Военно-энциклопедическом словаре», он стал автором множества трудов в области истории и лексикологии военно-инженерного дела. Гуманитарные увлечения воспитанников военно-инженерного заведения не были поверхностными. Не случайно же «сам Достоевский был редактором литографированной при училище газеты «Ревельский сняток» (А.И.Савельев. Воспоминания о Ф.М.Достоевском).

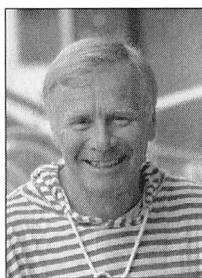
Неправда ли, любопытно название частного издания в Санкт-Петербурге с указанием наименования эстляндского города Ревеля? Почему именно к Ревелю отсылает название газеты? Тем временем, как известно, в Ревеле находилась Инженерная команда, в которой служил брат Достоевского после того, как не смог поступить в училище, так сказать, на очное отделение и ему была предоставлена возможность учебы в той форме, которую в наше время принято называть «заочной». Ревельская инженерная команда занимала определенное место в цепи инженерных учреждений военной системы на северо-западе российской империи. Предположительно, здешняя инженерная команда была связана и с Военно-инженерным училищем в Санкт-Петербурге. Отчасти ее можно считать одним из базовых действующих учреждений для практических занятий будущих военных инженеров того времени.

Однако же не менее озадачивает в названии литографической газеты слово «сняток». Вряд ли кто-либо из исследователей уделил этому вопросу серьезное внимание. Поверхностное отношение же ведет к казусам.

Многие иностранные исследователи перевели слово «сняток», на мой взгляд, неверно как снеток или сняток (*Peipsi tint — эст.*) — по названию рыбки, которые отлавливали рыбаки в Чудском озере. Например, именно так толкует это слово американский исследователь Йозеф Франк в своем труде «Dostoevsky. The Seeds of Revolt. 1821–1849» (Princeton University, New Jersey. 1979), при этом обоснованно считая название «Ревельского снятка» в таком контексте странным. С мнением американского ученого по поводу странности можно было бы вполне согласиться. Ведь в известном «Толковом словаре великорусского живого языка» В.И.Даля тоже упоминается снеток, сняток — «рыбка — вандыш, ... ловимая в Белозере и других».

Однако в Словаре Даля имеется и другая ссылка. В части глагола «снимать, снять» обнаруживается понятие «снятки», то есть густые сливки, верх, верхи, «кои не сливаются, а сымаются, устою ложкою». Как известно, сливками называются также и высшие слои общества. Исходя из приведенного было бы вполне корректным допустить, что в училищной газете слово «сняток» носит смысловое значение «сливок или верхов общества». Это куда более приемлемо для названия газеты — в порядке несколько ироничной рефлексии из жизни Ревельского высшего общества. Кстати, именно «студенче-

ской» газете вполне пристало быть веселой, юмористичной. Тем более, что впоследствии Достоевский в своих записных книжках сделал такую заметку о намерениях написать роман на ревельскую тему «Рассказ о неловком человеке» или «Фон Картузов»: «Ревель, город немецкий и имеющий претензии быть рыцарским, что почему-то очень смешно (хотя он действительно был рыцарским)!». Редактор самодеятельной газеты и будущий офицер-инженер Достоевский тесно общался с русским офицерством Ревеля, которое вполне можно было отнести, так сказать, к «высшему свету» провинциального города, несмотря на то, что отношения между офицерами и местным бюргерством, немецкой знатью вряд ли отличались близким дружеским общением. Как бы то ни было, но при таком толковании обстоятельств исчезает и ощущение «странности» в названии литграфической газеты «Ревельский сняток»: и ссылка на город Ревель была оправдана и рыбка-снеток здесь оказывается не при чем.



Владлен ДОЗОРЦЕВ

/ Рига /

Поэт, прозаик, драматург, публицист, киносценарист документального и художественного кино. В годы перестройки возглавлял литературный журнал «Даугава». Был депутатом двух парламентов Латвии. Автор поэтических книг «Автострада» (1965), «Гон» (1972), «Печаль свободного полета» (1979), «Двухтысячный год» (2000), «В ожидании Суда» (2007), «Персональный код» (2011), повестей «Речь неопита при погребении овцы», (1967) и «Объезд» (1986), романа «Одинокый стрелок по бегущей мишени» (1982), пьес «Последний посетитель» и «Завтрак с неизвестными», поставленных во множестве русских и зарубежных театров в середине восьмидесятых годов. В соавторстве с Раймондом Паулсом создал десятки песен.

РИТМ

Иди по берегу, взвинчивая шаг
То махом рук, то выброю стопы.
Пока бубнеж ритмический в ушах
Не обретет значение строфы.

Еще ни слов, ни рифмы и скорей
Незрим предмет и смысл еще далек.
Как я люблю вышагивать хорей —
Его нажим на каждый первый слог!

Под стуки стыков рельсовых и рамп,
Под пульса учащенного балдеж
Как я люблю четырехстопный ямб
Скандировать печатями подошв!

На каждый стих протоптана тропа
На этой полосе береговой.

То выдаст дюн примятая трава,
То заблестит булыжник роговой.

И даже в дымной комнате паркет
(Точнее, лак его, его эмаль),
Не отражая потолочный свет,
Протерт во всю свою диагональ.

ДАУГАВЕ

Счастлив город, впадающий улицами в реку.
Подрумянив щеки закатом или восходом,
Он кричит с трех башен кукареку
Водоплавающим — теплоходам.

Вообще, вода, рассекающая пополам
Человеческий каменный беспорядок,
Отвечает колокольням и куполам,
Что в виду людей протекать ей в радость.

Как в торговом устье вода молода,
Зазывая в море умельцев местных!
Далеко глядят купцы-города
С красных крыш — черепичных, зеленых — медных.

Город игрек ганзеет и город икс,
Отражаясь в реке делового цвета.
Если только эта река не Стикс.
Если эта река не Лета.

ИМЯ

Я не любил себя за склепанное имя
Из имени вождя — из трех его колен.
Как съезживался я, когда со всеми с ними
Я должен был идти на окрик Владилен!

Я коротил его. Я бритвочкой старинной
Вцарапывал в него другие имена.
Я был накоротке с красавицей Сталиной,
Учившейся тогда в квартале от меня.

Не то, чтобы молчать, родителей жалея,
Но я не затевал вопросов на ответ.

Страна еще жила, кремлясь и мавзолея.
И, может, имена могли укрыть от бед.

А может, и всегда была такая мода —
Так вождельть вождя, именовать намеки.
Я был лишь имярек восточного народа.
И ничего тогда я изменить не мог.

Что имя! Что оно! Наколочка и только,
Набитая на нас, когда мы не вольны.
Но как я понимал еврейского Адольфа,
Рожденного еще в Берлине до войны!

ЧЕТВЕРГ В ПАЛАНГЕ

В Паланге зимний день короче летней ночи.
Но любят здесь легко. Как дети — тамагочи.
Играючи, когда охота есть.
Бросаючи, когда игрушка надоела.
Раз я тебя доел. Раз ты меня доела.
Себя не надо есть — себе не надоесть.

Здесь на двоих жилье дешевле и теснее.
Телесное люблю словесного честнее.
И неуместна речь под крышей чердака.
В том смысле, что она напыщена частично,
тогда как сумма тел возлюбленных антична.
И на дворе — не средние века.

Их среднюю мораль, как и мораль всех басен,
мы делим на дробя, как делят восемь на семь.
И платим за чердак помощнику ксендза.
Он говорит, барыш его, конечно, бросов.
Но ксендз, он говорит, не задает вопросов
о статусе жильцов. Но он, конечно, за.

Мы не впадаем в пыл сердечных описательств.
Кто выдумал налог подушных обязательств
на теплую постель, тот и любовь отверг.
В конце концов, тогда ввели хотя бы льготу —
безгрешную среду, прощеную субботу,
или хотя бы вот беспошлинный четверг.

В один из этих дней, могло бы так случиться,
я уточнил бы смысл глагола обручиться —
он не от *обручей*, от *об руку* возник.
И если так, то мы обручены в Паланге.
Тем более, что нас один литовский ангел
почти благословил, поскольку просто вник.

ИЗ ГРУЗИИ

Нарежем сыр. Нарежем просто сыр,
Слезящийся солоноватым соком
Из слойных недр, из самых сырных дыр.
Поробуем дырявый этот мир
В его предназначеньи невысоком,

В съестном, где голод зол, но утолим.
И жажда сушит губы, но не смертно —
Не так, как нам изображает мим,
Когда он гибнет, жаждою томим.
Тем паче, на столе вина — несметно.

Такой букет: сыр, пури и вино.
Рассядемся, но не чинясь, а просто
По старшинству, как тут заведено.
Попробуем роскошествовать, но
Безжествуя, не затевая тоста.

Тифлисских дворики домашний бог
Меня поймет и не осудит строго.
Теперь, переступаячи порог
Застольников, он смотрит вниз и вбок
И несколько потеряно для бога.

И русский гость, надламывая снедь,
Старается при нем не делать крошек.
Об общем прошлом лучше не шуметь.
А, перебравши, что-нибудь уметь
Про то, как много девушек хороших.

Грузинских вин большие имена
Теперь горчат неосторожной ссорой.
И если даже знаешь, чья вина,
То все равно, чем кончилась война:
Ты слышишь в музыке сирену скорой.

С кем, кто, когда, за что и кто герой —
Так горестно сидит в твоей подкорке,
Что в саклях, вознесенных над Курой,
Ты видишь не позднекартлийский крой,
А разве что террасные подпорки.

В одеждах женщин отмечаешь цвет.
Он черный сплошь, поскольку будни серы.
В том, что уже не отключают свет,
Ты ищешь наступление примет
Еще одной послевоенной эры.

Но в старом городе уже поют.
У ресторанов. Для гостей. И между
Руинами, погребшими уют.
И если гости певчим подают,
То подают, как подают надежду.

* * *

Год выдался особенно грибной.
Как в сорок первом. В августе. Під Рівной.
Что все же вряд ли связано с войной
Ползучего рубля с падучей гривной.

Скорее, с тем, что августовский лес
Готовится к холодной и бессрочной
Зиме. Быть может, не во всем ЕС,
Но точно — за чертой его восточной.

Грибы не попадают, а прут.
Как будто предугадывают голод.
Есть у природы мрачноватый труд —
Предчувствовать. Его не знает город.

Тогда земля с избытком подает
То злаки, то грибы, то мед — что может.
То теплым снегом укрывает лед.
То мальчиков новорожденных множит.

И грибнику, вступающему в бор,
Тревожно от внезапного приплода.
Он медлит. Он придерживает взор.
Он говорит: что знаешь ты, природа?

И если бы не этот хищный нож
В его руке, способной к интересу,
То кажется, грибник согнулся все ж
Не срезать гриб, а поклониться лесу

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

1

Вдоль кладбища, где ты погребена,
Раз в полчаса идут составы. С нефтью —
С тем, чем живет транзитная страна.
Жизнь вообще соседствует со смертью

Забор в забор. Не приглушая звук.
С чего бы ей переходить на шепот
Вблизи крестов! Раз в полчаса на круг
Слоны цистерн свой совершают топот

За вожаком. Тягач, беря подъем,
На стыках рельсов содрогает почву.
На глубину могил. Так слышно днем.
Представить ли, как это будет ночью.

2

Живые не приходят по ночам
На кладбища. Но могут быть под вечер.
И в черноте ночной то тут, то там
Оставленные догорают свечи,

Выхватывая отблески камней
С нехитрыми словами сострадания.
Деревья спят. Но щупальца корней
Уже воспринимают содроганье

Песка, передающего во тьме
Издалека послание такое,
Что даже тем, кто навсегда во сне,
Раз в полчаса не суждено покоя.

3

Живые говорят глаза в глаза.
И не отводят собственного взгляда

От встречного, когда хитрить нельзя
И (или) ничего скрывать не надо.

И говоря с тобой, уже на треть
Чужой, ничьей, украденной судьбою,
Я все-таки ищу, куда смотреть.
Где то, что называется тобою?

На камне имя? Бугорок? Свеча?
Вода в гранитной раковине просто?
Колеблемая ходом тягача.
Раз в полчаса. В двух метрах от погоста.

ПОСТЕР

Полковник постарел. Трофейное авто.
Тут ржавчина взяла, там подрихтован китель.
В моторе клапана стучат уже не то.
И в бывших галифе пора менять глушитель.

Гараж его жилья напоминает склад
Житейских запчастей, не стоящих и полки.
Но в лучшем из углов висит телесный взгляд
Раздетой в Сен-Тропе мулатки иль креолки.

За ней — ее гараж: бассейн, шезлонг, бокал,
Аттическим плющом задернутая стела.
Что до нее самой — салют! восторг! вокал!
Бельканто наготы и страсти а капелла!

Сам постер пожелтел, местами обветшал:
Красавица давно снимает этот угол —
С тех пор, когда вдовец покойной обещал,
Что он ушел в себя, как бы из части убыл.

Ей — надцать с чем-то лет. Ее нескромный рот
И трехакцентный торс еще как будто зреют.
Вся мерзость бытия, идущего на шрот,
В том, что ее черты с годами не стареют.

Там — солнце и лазурь, тут — серотень и дождь.
Но фотосутенер Ривьеры иль Бискайя
Так зацентрил зрачки, что если ты идешь,
Они скользят вослед, твои не упуская.

Быть может, оттого полковничий каблук
Чуть тверже, чем всегда, стучит на поворотах,
Ремень скрипит, как пол, нож режет хлеб, как плуг,
И бритва, как палач, линчует подбородок.

Когда приходит ночь, он обнажает след
Афганского кукри на подреберной складке.
Мальчишеским щелчком он выключает свет.
И втайне от нее — креолки иль мулатки,

Которой в темноте как будто в доме нет,
Выстреливает в рот из запасной облатки
Свой нитроглицерин. Который думал швед
Отнюдь не для того, чтобы гасить припадки.

ПИСЬМО СЕРГЕЮ РАХЛИНУ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Я по-прежнему в Юрмале. Вот я бегу, корежа
Икроножную мышцу, отталкиваясь стопой.
Если против солнца бежать, Сережа,
Этот шар мы раскручиваем с тобой.

Я кручу на севере, ты на юге.
Кто из нас в это время вниз головой,
Видит только луна на своем полицейском круге.
Да не слышит хрип горловой.

Пышноовато звучит? Но иначе заставить жилы
Каждый день упираться в песок и лед
Невозможно. Видимо, тем и живы,
Что язык забирает выше, чем глаз достает.

Помнишь глобус на Турайдас угол Йомас?
Медный клепаный шар на моем берегу —
Тот, к которому все со своими халоймес¹.
Вот по нему и бегу.

ВРЕМЕНА

Перестань поносить времена. Лучше сделай ремонт.
Никогда не бывало никаких этих лучших времен.
Что ни век, то свинцов и ременн. Так и жили.

¹ Халоймес — на иврите — «пустяки, ерунда».

Назови хоть один. Времена — это войны идей.
Никогда ничего не менялось в повадках людей.
Человек из двуногих, но не было зверя лютей
И животного лживей.

Если начал ворчать, значит, ты постарел, нездоров.
Лучше драить матчасть, чем хотячить от века даров.
Лучше выштопать кожный покров, раз изношен.
Где ты видел другой, подающий влюбленному, век?
Только тот и обрел, кто купец и абрек.
Ради нимфы своей даже мраморный грек
Вынимал нож из ножен.

Век, в который попал ни за грош — агрохим и физтех —
Все равно он хорош, все равно самый лучший из всех.
Обрекает ли душу на грех, милосердно ли судит,
Пересолен ли хлеб и горчит ли живая вода.
И сказать, почему он хорош, не составит труда.
Потому что за ним у тебя никогда
Никакого не будет.

Ирина ЗИНОВЧИК

/ Рига /



Родилась в Риге. Окончила Институт инженеров гражданской авиации. Работает бухгалтером. Член Рижского Союза литераторов «Светоч». Лауреат Международного конкурса в Австрии «Литературная Вена». Публиковалась в Латвийской антологии «Русская поэзия Латвии», в альманахах Латвии «Светоч», «Письмена» и др. Живёт в Риге.

КОГДА...

Когда последний из нас
нарисует на небе «прощай»;
когда из облака выплывет
призраком мертвое солнце;
когда закроют навечно
дороги, ведущие в рай,
тогда зачтется нам, говорю,
все сразу зачтется —

на пепелище оставшийся
сруб, что зарос лебедой;
пустое эхо, что прячет свою
одичалость в колодце.
Куда вернемся, когда нас
потянет вернуться домой?
Кого дождемся мы, говорю,
когда он дождется?

СЛОВО

Расползался над кладбищем липкий туман,
погребая под саваном солнечный свет —
может, души сочились из вырытых ям;
может, день испарялся за душами вслед.

Еле видный, украшенный звуками, храм
заглушал невеселые крики ворон;
и окрест раздавалось его «не отдам...»,
и взлетала надежда со дна похорон.

Небо, словно размокший от влаги плакат,
непрозрачной бумагой ложилось на крест.
Прежний текст исчезал, без вины виноват,
и читалось нечаянно слово «воскрес».

КАРТИНКА

Ночь кончилась, выдохнув утро;
горчит остывающий кофе,
крупинки вращаются в мутном
растворе. И муха не сдохнет

никак между стёкол оконных,
борясь с наступившей зимойю.
Что толку? Такие законы.
Я тоже, бывает, заною

над пыльным несбывшимся хламом,
пытаясь природу оспорить...
О чём я? Ах, да, я о главном.
О главном, всегда, априори:

вот люди ненужные — вышли,
когда стали лишними страсти;
вот дождик пролился на крышу
и плачется, стар и несчастлив,
заброшенный дом на отшибе,
где запах таится полынный...

И Бог, даже спящий, всё видит.
Во сне. Но не правит картину.

ГОРОДСКАЯ ЗАРИСОВКА

На расстоянии и выше,
на расставание и дальше
летит листва — как будто дышит
всей грудью дерево. Вчерашний

окончен день. Его кончина
вполне оправдана природой;
вот только грустью беспричинной,
возможно, вызванной погодой,

наполнен воздух в старом сквере,
где по дорожкам ходят дамы,
чей внешний вид вполне манерен
для иллюстрации программы

«кому за тридцать...» и «за сорок...»,
и дальше, дальше, по наклонной
до невозможности. Как долог
путь увядания... Шаблоном

ложится круг привычных связей,
обычных мест, стандартных текстов.
Все будет так, как было; разве
найдется та, что станет вместо

судьбой положенного «lento»
переходить на «очень живо»,
встречая гром аплодисментов
людей, вдыхающих под пиво

чесночный воздух в местном баре.
И станет юная девчушка
в конкретном женском экземпляре
искать себя, пытаясь слушать

веселый говор старой клячи,
перебиваемый гитарой;
и станет думать: «все иначе...»,
и — «никогда не буду старой».

БЕЛЫЙ СОН

А вчера мне приснился сон —
за окном моим белый день
плачет белым снегом, а в нём
белым призраком пляшет тень;

то не призрак — то белый конь
высотой в два этажа;
протянула ему ладонь,
испугался конь, задрожал

и рассыпался на снега,
заметая в домах людей,
в небе белые облака,
а во мне целых семь смертей.

Белой шалью накрыл судьбу,
что назначена мне была,
поцелуем затих на лбу...
Я проснулась — ночь умерла...

УХОДЯЩАЯ НАТУРА РИЖСКОГО ВЗМОРЬЯ

Покрытый вечной изощренностью плюща
и проседающий под тяжестью былого,
совсем состарился, внезапно отощал —
наш летневременный приют, теперь прощай...
Какое странное и злое слово...

В останках дома чья-то добрая рука
рисует видимость обыденных деталей:
еще хранят тепло каминовы бока,
и дым от шишек снова рвется в облака,
и дюнный берег — лучше всех италий;

прибрежный воздух полон сырости морской,
и вяло-сохнувшие полотенца где-то
за нескончаемой дворовой листвой
вновь наполняются и влагой, и тоской
по уходящему в июле лету...

Рассаду мха рассыпав щедро по крыльцу,
холодный ветер вырывается на волю;
морщин добавивший и дому, и лицу,
надрывно шепчет, что давно идет к концу
все, что считалось данностью живою.

Сосна-соседка спрячет старые глаза,
прикрыв их искренность покровом светлой грусти.
Но вдруг покатится янтарная слеза,
и, нить последнюю со вздохом развязав,
сосна уставший дом в последний путь отпустит.

Галина ОРЛОВА

/ Вильнюс /



Галина Григорьевна Орлова. Литва, Вильнюс, г. р. 1961. Филолог, преподаватель, поэт, переводчик. Языки — русский, литовский, польский, украинский, французский. Интересы — культура, философия, социология, филология, педагогика, ботаника, флористика, народная медицина, музыка, поэзия.

ОСЕНЬ

Я знаю, знаю, дух — бесплотен,
Но в том саду, где я живу,
Свет тициановских полотен
Листвой ложится на траву.
И те, что нас хранят незримо,
И те, что навсегда ушли,
Проходят мимо, мимо, мимо —
И не касаются земли.
О, как застенчиво печальны
Их души — ветви без коры, —
И тех, что правы изначально,
И тех — неправых до поры...
Мой сад не умер, просто спит он
Под брань крикливую ворон.
Здесь воздух разумом пропитан,
И горизонт — со всех сторон!

Я СЛУШАЮ ДЖАЗ

Так день начинался нескладно...
Любимая чашка — об пол!
Сумятица, будь ей неладно,
И с улицы кот не пришёл.

Свалил, непутёвый, отчалил...
А я загадала на Вас:
Сегодня не будет печали —
Сегодня я слушаю джаз!
Дрожат, рассыпаясь, синкопы,
А всё остальное — потом:
Упрёки, наветы, поклёпы,
Морока с гулящим котом,
Потом — кто виновен и грешен,
Университет и ликбез,
А ныне — божественный Гершвин,
И присно — лишь «Порги и Бесс».
В квартире, в эфире, на сайте —
Прошу вас, хотя бы на час, —
Застыньте! Уймись! Растайте!
Умрите! Я слушаю джаз.

ПОБЕДИТЕЛЮ

За Вашу чушь, за Вашу блажь,
За Ваши небыли и были,
За язычок змеиный Ваш
Давно ли Вас наотмашь били?
Они старались как-нибудь
Из Ваших глаз слезинку выжать,
Как будто в этом — жизни суть,
И им без этого не выжить.
Вам предрекали наперёд
Огонь костра, позор распятыя...
Теперь заглядывают в рот,
Сменив проклятья на объятья.

ПОДАРОК

Красивый, такой красивый...
С трудом нахожу слова.
Но всё-то в тебе вполсили,
Но всё-то едва-едва:
И взгляд твой ленивый, томный,
И выверенная речь...
Какой-то ты весь никчёмный,
Тебе ли меня зажечь!
От тлеющей головешки
Недолго до уголька,

И только мои насмешки
Тебя тормозят слегка.
Не благодари, не надо,
Дарю тебе от щедрот
Немного пчелиного яда,
А всё остальное — мёд.

АПОКАЛИПСИС

Здесь растёт чертополох,
Лебеда и конский щавель.
Здесь был братом предан Абель,
И от боли мир оглох.
Он готов не слышать слов,
Чтоб уже не слышать крика.
Кровь? Рубины? Земляника —
Меж отрубленных голов?
Здесь убитых чувств тела
Неопознанные жутки.
Их безумцы ради шутки
Разберут на чучела.
Мир безмолвия, камней
И бессмысленных парабол.
Твой сверкающий корабль
Здесь не спустится ко мне.
Прорастает лебеда
Сквозь плакат: «Все люди — братья!»,
И багряная вода
Заливает междурядья.

ТВОРЧЕСТВО

Стыдиться, скорбеть, призывать эвтаназию,
Ночами не спать, изнывая от муки,
Не верить в себя, уповать на оказию,
В бессилье безмолвно заламывать руки,
Молиться и плакать, и снова молиться,
Чтоб в трепетных строчках остаться, продлиться.



Геннадий ВЕРЕЩАГИН

/ Пярну /

Геннадий Васильевич Верещагин (1955), город Пярну, Эстония. Член Союза писателей России (Эстонское отделение) и Объединения русских литераторов Эстонии. Печатается с 1996 года в литературной периодике Эстонии и России.

* * *

Раскинулось небо бесстыдно,
Доступность манит и зовет,
Вдали только облачко видно
И птиц одинокий полёт.

Послушно рука потянулась
Погладить небесный чертог,
Но вдруг подо мной колыхнулась
Земля, уходя из-под ног.

И вот, я лечу над планетой,
Как древко покинувший стяг,
И сыплются наземь монеты,
Ненужные в этих краях.

Чем выше — тем небо чернее,
Тем злее неласковый свет,
Он губит и жжёт, а не греет,
В объятиях ярких тенет.

И я прозреваю: доступность
Всегда превращается в прах,
Поэтому правит преступность
В науке, в любви и в мечтах.

ПЁС-ТУМАН

Стемнело, и туман лохматый,
Как будто одичавший пёс,
Схватил за шиворот горбатый
Испуганный, облезлый мост.

И потрепав его, устало
У каменных свернулся ног,
Потом и там его не стало:
Он, видно, в подворотне лёг.

В рассвете, отдохнув немножко,
Оставил спутавшийся клок
Мохнатой шерсти: ветер-кошка
Его куда-то уволок.

А пёс пошел в туманной дымке
К реке разглаженной испить
Воды прозрачной невидимку,
Чтобы исчезнуть и не быть.

* * *

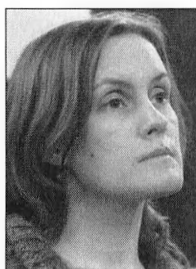
Звёздный дождь упал на облака,
Руша мир загаданных желаний,
И в туман одетая река
Дышит холодком воспоминаний.

Ты в своём всё варишься соку,
А я время мыслю как потерю.
Кто же остановит на скаку
Боль разлуки, в лучшее поверив?!

За окном всё чаще листопад,
Всё красней кудрявая рябина,
Почему ж я осени не рад?!
Почему не рад купели синей?!

Видно мне теперь милей снега,
Где на белизне неистребимой —
Слово правды вечного врага
И святая жалость нелюбимой...

17.08.2011



Татьяна ГРАУЗ

/ Москва /

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

комментарии к рассказу Ильи Оганджанова
«Опустевшая планета»

«Кто попытается представить себе это грядущее искусство, тот должен прежде всего отказаться от идеи «неслыханного», «невиданного» новаторства, ломающего переворота, опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новшеством, за небывалым, за «потрясающим» или «головокружительным» есть проявление духовной смуты».

Иван Ильин

История воскресного папы, который проводит с маленьким сыном несколько часов в неделю, плюс история непутёвого соседа, так и не женившегося и прожившего до седых волос с матерью, рассказаны прозаиком (равно же и поэтом) Ильей Оганджановым в небольшом трёхстраничном тексте «Опустевшая планета» удивительно лёгким и пластичным языком. Казалось бы, всё здесь просто и понятно, только непонятно почему эта простота завораживает? Почему переживания отца, возвращающегося с сыном после воскресной прогулки, становятся такими щемящими и мучительными, будто это твои собственные переживания, будто твоя собственная жизнь пошла наперекосяк и разрушается...

«Улицу перекрыли, и пришлось ехать в объезд.

Я обернулся и сдал назад. Ты сидел в своём детском креслице, плотно пристёгнутый, и смотрел в окно, за решётку ограждения. К проржавелой решётке проволокой была криво прикручена помятая жестяная табличка «Ремонтные работы. СУ-21».

«Вот экскаватор, — хотел сказать я. — Он роет траншею, чтобы прокладывать трубы для нового дома. По трубам в дом потечёт вода. А дом этот будет выше нашего, того, где живёте вы с мамой. Сейчас все дома строят выше нашего». Но ничего не сказал. Тебя интересовал только экскаватор»¹.

¹ Все цитаты из рассказа И. Оганджанова «Опустевшая планета».

«Опустевшая планета» — это рассказ о любви, об одиночестве, о потерях, о том, как человек пытается хоть как-то «разрулить» (пришлось ехать в объезд¹) мучительные трудности жизни. И это движение «в объезд» — одно из основных движений рассказа. Это рассказ о том, как человек оборачивается и... останавливает себя в своем так до конца и не проговорённом диалоге с «другим», а, может, с самим собой? (*Хотел сказать... но так ничего и не сказал.*) Рефлексия и само-рефлексия protagonista, ироничная горькая на-смешливость над ненужными и бесполезными «взрослыми» знания-ми, которые ничего не меняют и ничему не помогают в этой мгно-венно пролетающей жизни, в которой только и есть эти странные передышки в бесконечных «пробках», когда появляется возмож-ность посмотреть на то, что происходит там, за окном твоей допол-нительной «оболочки» — машины. Протагонист рассказа в этих ос-тановках оказывается не только один на один с собой и со своими воспоминаниями, но и один на один с «другим» — со своим ребён-ком, тихим и созерцательным, каким был и он, вероятно, когда-то. Но сейчас у главного героя рассказа остался только пепел бесполез-ных слов, осыпавшийся на эту мелькающую перед глазами реаль-ность (*экскаватор, трубы, траншеи, кузов «КамАЗа, застывшие ка-чели, лилипутские домики, деревянные лошадки с отбитыми хвоста-ми*²). Герой пытается говорить о жизни что-то самое простое и гово-рить об этом самыми обыкновенными словами. С помощью этих слов он пытается упорядочить хаос жизни, превратить свою «опустевшую планету» во что-то охранительное (охранное) для своего сына, с ко-торым ему мучительно хочется обрести трудноуловимое и хрупкое взаимопонимание. (*Я хотел сказать тебе, что вот сейчас горит крас-ный свет — значит ехать нельзя, а потом загорится жёлтый, а сле-дом — зелёный, и тогда снова можно будет ехать.... На прощанье я собрался сказать тебе что-то дежурно нравоучительное: чтобы ты не шалил и не огорчал маму — но всё это было невыносимо скучным и ненужным.*) А его маленький сын смотрит на мир отца из своего блаженного созерцательного покоя, из своего ещё нетронутого рас-падом и разрушением детства, и разговор их происходит на какой-то особой, цепляющей, как заноза, печальной ноте. Естественная орга-ничность сюжетных линий и «простой» разговор о жизни, сосредото-ченный, правда, на неожиданно серьёзных и существенных вещах — вот, пожалуй, то главное, на чём строится рассказ Ильи Оганджано-ва «Опустевшая планета».

¹ Курсивом выделены цитаты из рассказа И. Оганджанова «Опустевшая планета».

² Перечень того, что видит герой рассказа И. Оганджанова «Опустевшая планета».

«Из траншеи вынырнул ковш с хищными зубцами и холмиком сыпучей земли, проплыл через тротуар и завис над кузовом «КамАЗа». У края траншеи хмурыми валунами притулились на короточках двое рабочих. Они тоже следили за экскаватором, исподлобья, и курили, выпуская изо рта густые сизые облачка.

— Экскаватор, — с придыханием прошептал ты и сощурился, от удовольствия или от солнца».

Каждая деталь рассказа — это и очень конкретная, ясная, достоверная деталь современной городской жизни и в то же время переживание этой реальности как реальности метафизической. Все эпитеты указывают на особый градус переживания человеком простых будничных явлений. *Хищный ковш; сыпучие холмики; рабочие, напоминающие хмурые валуны* — это мир, каким его видит взрослый человек (*хищный, сыпучий, хмурый*). Это мир не только психологически окрашенной реальности, но и реальности, уводящей за грань психологии: *рабочие, напоминающие хмурые валуны*. Это не только сравнение, но (в контексте повествования) сквозь эти сравнения и эпитеты просвечивает какой-то странный (тяжёлый и мучительный) мир, который никогда не дан как явный, но показан как мучающий человека и подступающий к человеку в самые, казалось бы, будничные минуты жизни. А взгляд сына — чист и не замутнён. Мир сына полон «надмирной» синевы и покоя. Ребёнок щурится от удовольствия и привыкает к словам, за которыми он созерцает то особое («блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»), что его отец, вероятно, уже утратил.

«Я свернул на бульвар. Цвела сирень, и тяжёлые гроздьи тускло светились в закатных лучах, словно подёрнутые пеплом. На бульваре было оживлённо. Стайки подростков, собачники, мамы с колясками, бегуны, велосипедисты, на лавочках — старики и влюблённые... Ты смотрел на кусты сирени и людей. Пристально, неотрывно. И казалось, мысли твои уносятся куда-то далеко-далеко, где ни людей, ни сирени, и мне туда за тобой не угнаться.

Мы остановились на светофоре. Я хотел сказать тебе, что вот сейчас горит красный свет — значит ехать нельзя, а потом загорится жёлтый, а следом — зелёный, и тогда снова можно будет ехать. Мне хотелось рассказывать тебе обо всём вокруг, чтобы ты не выглядел таким беззащитным. Как будто мой опыт мог уберечь тебя от чего-нибудь. Но ты ещё не различал цвета по названиям, у тебя всё было «синее» — и небо, и лопатка, и огни светофора».

Протагонисту кажется, что он может уберечь ребёнка от серого пепла, которым «подёрнуты» для него все явления жизни. *Цвела си-*

рень, и тяжёлые гроздья тускло светились в закатных лучах, словно подёрнутые пеплом. Иногда ему кажется, что с помощью слов можно этот разрушающийся на его глазах, распадающийся «внешний» и «внутренний» мир заговорить и охранить своего сына от той опасности, которую эти два мира («внешний» и «внутренний») в себе тают. Но взгляд ребёнка гармоничен, взгляд его иконичен и не нуждается в «заговорах».

Однако гармония ускользает. Катастрофа уже произошла. Имя ей — маята будней.

«Справа, между домами, виднелся детский сад. Тёмные безжизненные окна, застывшие качели, деревянные лошадки с отбитыми хвостами, аляповато раскрашенные лилипутские домики, песочница, лесенка, горка. Было похоже на опустевшую планету из какого-нибудь голливудского фильма катастроф. Когда-то я ходил сюда. Сейчас это невозможно представить. Точно в какой-то иной жизни. Ты, наверно, тоже скоро пойдёшь в этот детский сад — с разменом пока ничего не получается. И, скорее всего, затянется надолго».

А вот ещё один разворот (поворот) повествования: мы погружаемся на глубину, в прозрачные и призрачные, похожие на лёгкий тополиный пух, воспоминания главного героя (отца).

«Я тоже стал рассматривать тополь. Его посадили пионеры на субботнике. Они дружно копали ямки под наблюдением насупленного молодого вожатого. Вытаскивали из грузовика и волокли по земле тощие саженцы с взъерошенными корнями. Вкапывали их, притаптывали, поливали из переполненных ведер и подвязывали тонкие стволы к вбитым в землю колышкам. Я тогда болел ангиной и, привлечённый весёлыми детскими криками, вылез из-под одеяла, забрался на подоконник и с завистью глядел на пионеров, на всю эту озорную суету, на торчавшие из земли голые саженцы, точно побитые морозом, неживые».

И эти огненно лёгкие как *ручейки пламени* воспоминания — яркие и безутешные. Воспоминания эти прерываются ещё одной (как бы параллельной, «объездной») сюжетной линией. Перед читателем разворачивается грустная и безысходная история соседей, матери и её взрослого сына. История вечных «других». Тех, кто живёт рядом с каждым из нас, кого мы встречаем на лестничной клетке, на узких улицах нашей жизни, о ком мы говорим самые обыденные слова. И эти придуманные истории о другой (соседской) жизни кажутся нам всегда достоверней того, чем те,

«другие», на самом деле живут. Но чаще всего истории наших «соседей» являются нашими смутными мыслями о себе, которые мы проецируем на тех, кого толком и не знаем. Вот женщина, поздно родившая сына и потерявшая мужа. Вот сын, у которого никак не получается обрести независимость от матери. А вот пластинки-голограммы, прозрачные и призрачные, которые этот сын показывает ученикам в школе.

В своей прозе Илья Оганджанов создаёт для читателя своеобразные голограммы тихих человеческих драм. Одна из них называется «история соседа Алексея».

«Однажды на выходные я встретил его на бульваре. Был такой же чудесный майский вечер. Солнце садилось, и воздух был, точно позолоченный. Становилось прохладно, но я, не обращая на это внимания, слонялся по бульвару в рубашке нараспашку, полный смутных будоражающих предчувствий. Впереди были выпускные экзамены, бескрайняя неизвестная взрослая жизнь, и в кармане моих новых джинсов лежали два билета на последний сеанс. Алексей шёл навстречу. В костюме, в накрахмаленной белой рубашке и туго повязанном полотом галстук лопатой. Сияющий, бодрый, с несмелой мученически-блаженной улыбкой на бескровных тонких губах. Рядом семенила девушка. Наверно, его студентка или аспирантка. Блѣклая блузка, полинялая коричневая юбка. На плече жидкая косичка. Маленькое меловое личико. Потерянный, обречѣнный взгляд. И поодаль, тенью, за ними следовала Екатерина Фѣдоровна...»

Оганджанов строит драматическую канву своего рассказа на контрасте двух почти смежных цветов: *накрахмаленная белая рубашка* Алексея и *блѣклая блузка* девушки; её *меловое личико* (то есть почти уже неживое). Вначале повествования, как мы помним, мы попали в пепельные сумерки заката. А здесь, в середине рассказа, мы оказываемся в золотистом воздухе юности. Здесь ещё нет той тягучей тяжести, которой пронизана атмосфера начала «Опустевшей планеты». Мы опять возвращаемся. (Помните, это движение «в объезд», которое было задано первой строкой рассказа). И мы видим соседа Алексея, проживающего не свою, а «чужую» жизнь, будто он доживает, «донашивает» жизнь своего отца. И не только метафорически, а буквально. (*Алексей был поздним ребёнком, рано потерял отца и долго донашивал за ним вещи: каракулевую шапку-пирожок, серый двубортный пиджак, лоснящийся на локтях, мешковатое драповое пальто, таскал в школу старый кожаный портфель, будто изображая умершего.*)

Но здесь, в золотом сечении рассказа, воздух точно позолоченный и полон тревожащих предчувствий юности. Перед нами мерцает мученическая и блаженная улыбка Алексея, и томительное предчувствие взрослой жизни протагониста рассказа. Илья Оганджанов разворачивает тихую драму своего рассказа на небольших контрастных сдвигах. *Бескрайняя неизвестная жизнь и потерянный и обречённый взгляд*. Ощущение удивительной шири и полноты, которая разлита в воздухе первой любви, прозрачный вечер, окутавший маленькое меловое личико подруги Алексея, и мучительная обречённость всего этого будоражащего и ускользающего счастья. И вот он — последний поворот: *«Алексей оглянулся. Впалые глаза остановились на нашей машине. Он на секунду он застыл в напряжении, чуть подался вперёд, но тут же обмяк и рассеянно смахнул со лба непослушную седую прядь»*. Обречённый взмах ладонью. *Непослушная прядь*. Никогда, никогда эта напряжённая непослушная струна не зазвучит в нём больше. Всё обмякнет, покроется седым пеплом, и опустеет милый сердцу сад. *Потерпи немножко*. Слышим мы простую, самую обыденную фразу отца маленькому сыну, который нетерпеливо бормочет что-то на детском своём языке и ждёт, когда же выйдет мама и заберёт его домой. *Потерпи немножко*, так бы мог сказать и Чехов своим трём сёстрам.

Илья Оганджанов мастерски создает прозрачные словесные голограммы, через тонкую нюансировку эпитетами, через тихие контрасты, почти незаметные, пуантилистические прикосновения, когда два цвета (две разные, но часто близкие по оттенку краски) кладутся рядом в угрожающей зыбкой пустоте. И в этой мучительно невесомой пустоте возникает естественная и органичная картина. Без нажима, без взбудораженной напряжённости, без гнетущей всеохватности, без распадающейся постмодернистской придуманности или конструктивисткой нарочитости, — ничего этого в прозе Ильи Оганджанова нет. В «Опустевшей планете» всё естественно и просто. Здесь есть только то, что художественно необходимо для исполнения творческого замысла, то, что через внешнюю форму естественно и органично выявляет глубинное содержание, которое открывается человеку в самые непреднамеренные и тихие мгновения жизни. Именно эта органичность прозы Ильи Оганджанова и завораживает, как завораживает колышущийся на ветру осенний лист или уснувший на твоих руках ребёнок.

В заключение хочется сказать об особой, восходящей и к Юрию Казакову, к его прекрасным рассказам «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», и к прозе Ивана Алексеевича Бунина интонации Ильи Оганджанова в «Опустевшей планете», её щемящей безысходно-грустной ноте.

ОПУСТЕВШАЯ ПЛАНЕТА¹

Улицу перекрыли, и пришлось ехать в объезд.

Я обернулся и сдал назад. Ты сидел в своём детском креслице, плотно пристёгнутый, и смотрел в окно, за решётку ограждения. К проржавелой решётке проволокой была криво прикручена помятая жестяная табличка «Ремонтные работы. СУ-21».

«Вот экскаватор, — хотел сказать я. — Он роет траншею, чтобы прокладывать трубы для нового дома. По трубам в дом потечёт вода. А дом этот будет выше нашего, того, где живёте вы с мамой. Сейчас все дома строят выше нашего». Но ничего не сказал. Тебя интересовал только экскаватор.

Из траншеи вынырнул ковш с хищными зубцами и холмиком сыпучей земли, проплыл через тротуар и завис над кузовом «КАМАЗа». У края траншеи хмурыми валунами притулились на корточках двое рабочих. Они тоже следили за экскаватором, исподлобья, и курили, выпуская изо рта густые сизые облачка.

— Экскавайтор, — с придыханием прошептал ты и сощурился, от удовольствия или от солнца.

Я свернул на бульвар. Цвела сирень, и тяжёлые гроздья тускло светились в закатных лучах, словно подёрнутые пеплом. На бульваре было оживлённо. Стайки подростков, собачники, мамы с колясками, бегуны, велосипедисты, на лавочках — старики и влюблённые... Ты смотрел на кусты сирени и людей. Пристально, неотрывно. И казалось, мысли твои уносятся куда-то далеко-далеко, где ни людей, ни сирени, и мне туда за тобой не угнаться.

Мы остановились на светофоре. Я хотел сказать тебе, что вот горит красный свет — значит ехать нельзя, а потом загорится жёлтый, а следом — зелёный, и тогда снова можно будет ехать. Мне хотелось рассказывать тебе обо всём вокруг, чтобы ты не выглядел таким беззащитным. Как будто мой опыт мог уберечь тебя от чего-нибудь. Но ты ещё не различал цвета по названиям, у тебя всё было «синее» — и небо, и лопатка, и огни светофора.

Справа, между домами, виднелся детский сад. Тёмные безжизненные окна, застывшие качели, деревянные лошадки с отбитыми хвостами, аляповато раскрашенные липипутские домики, песочница, лесенка, горка. Было похоже на опустевшую планету из какого-нибудь голливудского фильма катастроф. Когда-то я ходил сюда. Сейчас это невозможно представить. Точно в какой-то иной жизни. Ты, наверно, тоже скоро пойдёшь в этот детский сад — с разменом пока ничего не получается. И, скорее всего, затянется надолго.

¹ Рассказ «Опустевшая планета» впервые опубликован в журнале «Знамя» 2014, № 9.

Мы ехали медленно. Машин было много. Все возвращались с дач. Наконец, я свернул во двор и остановился у подъезда.

— Папа сосем не умеет пайковаться, — заученно повторил ты очевидно чужую фразу.

Я отправил эсэмэску, что мы внизу. Воскресенье заканчивалось, и нам пора было расставаться.

На прощанье я собрался сказать тебе что-то дежурно нравоучительное: чтобы ты не шалил и не огорчал маму, — но всё это было невыносимо скучным и ненужным. И потом так хорошо было сидеть с тобой в тишине, слушая шелест листвы за окном. Ты зачарованно смотрел, как ходит, шевелится под ветром густая крона тополя и как дрожат и трепещут его широкие маслянистые листья. И я боялся пошевелиться и спугнуть какую-то таинственно завладевшую тобой мысль, пришедшую к тебе из неведомого мне далека.

Я тоже стал рассматривать тополь. Его посадили пионеры на субботнике. Они дружно копали ямки под наблюдением насупленного молодого вожатого. Вытаскивали из грузовика и волокли по земле тощие саженцы с взъерошенными корнями. Вкапывали их, притапывали, поливали из переполненных ведер и подвязывали тонкие стволы к вбитым в землю колышкам. Я тогда болел ангиной и, привлечённый весёлыми детскими криками, вылез из-под одеяла, забрался на подоконник и с завистью глядел на пионеров, на всю эту озорную суету, на торчавшие из земли голые саженцы, точно побитые морозом, неживые. Когда тополя подросли, жильцы не знали, куда деваться от пуха, и на чём свет ругали пионеров. Но нам с приятелями пух очень нравился. Мы поджигали его и с азартом следили, как разбегаются по двору огненные ручейки. Сколько всего утекло с тех пор...

По переулку от автобусной остановки возвращались домой соседи сверху. Мать и сын. Екатерина Фёдоровна и Алексей. Наверно, с дачи, с электрички. Она шла медленно, тяжело переставляя под ветхой юбкой отекавшие ноги. И тянула за собой прихрамывающую на оба колеса сумку-тележку. Он подлаживался под её шаг, мелко перебирая длинными худыми ногами в парусящихся штанинах и размахивая такими же длинными и худыми руками. Голова чуть вскинута. Редкие, нестриженные волосы растрепались на ветру. И вся его нескладная высокая фигура грозила вот-вот переломиться.

Мама всегда ставила их семью в пример. «Как дружно живут. До чего интеллигентные люди. Оба преподаватели. Сын прекрасный вырос, послушный, отличник. И между прочим, не болтается с шалопаями по подворотням». Алексей был поздним ребёнком, рано потерял отца и долго донашивал за ним вещи: каракулевою шапку-пирожок, серый двубортный пиджак, лоснящийся на локтях, мешковатое драповое пальто, таскал в школу старый кожаный портфель, будто изображая умершего.

Потом, уже студентом, приходил к нам на продлёнку демонстрировать младшеклассникам оптические «фокусы»: голограммы. Сбивчиво объяснял принцип действия, гасил в классе свет, включал настольную лампу и доставал из потёртого портфеля стеклянные пластины, и в их прозрачной глубине чудесным образом возникали изображения башен Кремля, рубиновые звёзды, профиль Ленина.

После смерти мужа Екатерина Фёдоровна перестала здороваться с соседями. Но мама говорила, что мне всё равно здороваться надо — воспитанный человек обязан быть вежливым. Вечерами, возвращаясь из музыкальной школы, я встречал Екатерину Фёдоровну на автобусной остановке или на лавочке у подъезда, она терпеливо ждала сына с работы, теребя тесёмку выцветшего платья. По утрам выходила на балкон проводить своего Алёшеньку и долго махала вслед, пока он не исчезал за поворотом. Порывистый, угловатый, он всё время куда-то спешил, подавшись вперёд всем телом, словно рвался убежать.

Однажды на выходные я встретил его на бульваре. Был такой же чудесный майский вечер. Солнце садилось, и воздух был, точно позолоченный. Становилось прохладно, но я, не обращая на это внимания, слонялся по бульвару в рубашке нараспашку, полный смутных будоражащих предчувствий. Впереди были выпускные экзамены, бескрайняя неизвестная взрослая жизнь, и в кармане моих новых джинсов лежали два билета на последний сеанс. Алексей шёл навстречу. В костюме, в накрахмаленной белой рубашке и туго повязанном полосатом галстуке лопатой. Сияющий, бодрый, с несмелой мученически-блаженной улыбкой на бескровных тонких губах. Рядом семенила девушка. Наверно, его студентка или аспирантка. Блёклая блузка, полинялая коричневая юбка. На плече жидкая косичка. Маленькое меловое личико. Потерянный, обречённый взгляд. И поодаль, тенью, за ними следовала Екатерина Фёдоровна...

Тополь тебе наскучил. Ты заболтал ножками и стал нетерпеливо повторять:

— А скойо мама пидёт?

Екатерина Фёдоровна и Алексей прошли мимо нас. Я по привычке кивнул в знак приветствия.

— Мама сейчас придёт, сынок. Потерпи немножко.

В боковое зеркало было видно, как они подошли к подъезду. Екатерина Фёдоровна набрала код на домофоне. Потянула за ручку двери. И когда её сумка-тележка исчезла в дверном проёме, Алексей оглянулся. Впалые глаза остановились на нашей машине. Он на секунду застыл в напряжении, чуть подался вперёд, но тут же обмяк и рассеянно смахнул со лба непослушную седую прядь.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И.А. Савкин

Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Издательство
«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 26.04.2016. Формат 66х88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 22,3. Печать офсетная. Заказ 83
Тираж 500 экз.

KRESCHATIK #72

П Е Р Е К Р Е С Т О К

www.kreschatik.kiev.ua

www.magazines.russ.ru/kreschatik

Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный в
ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...

